



ЮНОСТЬ



Л. РОЙТЕР.
Мастер спорта
Ольга Абрамова.



По залам выставки
произведений
художников
Л. Ройтера
и М. Ройтера.



М. РОЙТЕР.
Велогонщики.

Из серии
«Москва
спортивная».

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



6

[265]

ИЮНЬ

1977

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Аллаберды

Хандов



Лежащие под барханами

Здесь бой гремел,
Летели под откос
Бойцы, и на дыбы вставляли кони.
Здесь белой банде отрубили хвост,
И все ж она укрылась от погони.
Живые вдели ноги в стремяна,
И нони над могилой заплясали.
Своих друзей погибших имена
Живые на бумаге записали.
Ушел отряд за бандою вдогон,
И снова за песчаною горою
На выстрел отвечал короткий стои,
И вновь на землю падали герои.
Среди погибших был и тот солдат,
Кто записал в лотрепанной тетрадке, —
Еще неполный день тому назад, —
Фамилии погибших в первой схватке.
Никто не знает имена бойцов,
Десятилетия слящих в Каракумах,
Под белыми надгробьями песков,
От века равнотушних и угрюмых.
Идет чабан с отарою овец,
Не ведая о том, что под барханом
Во глубине земли лежит боец,
Который радость подарил дехканам.
Но только пусть людей моей земли
Не мучит то, что время непреклонно,
Что их отцы и деды не смогли
Героев тех запомнить поименно,
Что памятиик возносит над собой
Не каждая могла и поньше,
Что ветра раскаленного разбой
От глаз людских
Героев скрыл в пустыне!
Поснольку весь наш труд,
Вся наша жизнь,
Все то, что создаем мы и строим,
Есть самый лучший в мире обелиск
Лежащим под барханами героям.

Незабываемое

Ты думаешь когда-нибудь о том,
Как много жертв востребовано веком,
Чтоб каждый из родившихся детей
Сегодня стал счастливым человеком?
Чтоб рос здоровым, чтоб не голодал,
Чтоб бедность его душу не колола,
Чтоб непременно были у него
Учителя, учебники и школа?
Чтоб он не видел, как иная мать

Перед другою унижаться готова,
Чтоб он не видел, как иной отец
Готов пред всеми унижать другого?
Как звали друга, помним ие всегда,
День именин любимой забываем...
Да мало ли что можно позабыть?
Мы иногда рассеяны бываем.
Но этот подвиг, эти имена,
В которых наше счастье, наша слава,
Забуть не может память, не должна!
Забуть не может: не имеет права.
Сейчас мгновенья тех великих дней
И мелочи огромных тех свершений
Становятся все ближе и ясней
Для наших благодарных поколений!
Бессмертный, незабвенный подвиг тот
Не переходит в прошлое с годами —
Величественнее из года в год
Становится пред нашими глазами.

В пустыне

Застыли, как волины, барханы,
Слегна нанлонившись вперед.
Лишь коршуи
Круги неустанно
Над белым безмолвьем ведет.
Петляет и вьется дорога —
О жизни неточная весть.
Но что это — рейки, тренога...
Тан, значит, топографы здесь!
Ложбины, барханы, такыры
Отметят на плотных листах
И свяжут строкою пунтира
Разведчики жизни в лесках.
Да вот их палатка. Машини,
Пронзительно пахнет мазут.
Ветра
Сладкий запах бензина
В другие пески унесут.
Чтоб жизнь здесь царила отныне,
Вершится топографов труд,
Как солнце,
Они по пустыне
Идут все, идут да идут.

Клен

Спасителем хочу тебя назвать!
Коль солнце пышет жаром с небосклона
И начинает воздух раскалять,
Над улицей —
Как щит, густая кроица.
И горьковато пахнет в этот час
Твоя листва, иа солнце ие сгорая...
Ты труженик. Ты трудишься для нас,
Все глубже норни в землю простирая.
Чтоб мы прохлады вдосталь напились,
Чтоб в полдень не стояла пыль степною,
Ты все растешь, ты все стремишься ввысь,
Шумишь-шумишь своей листвою резною.
Ты мускулы свои напряг,
К борьбе
С палящим вихрем снова приготавься.
О, клен! Российский богатырь, тебе
Туркмен-садовник кланяется в пояс.
Наш русский брат
Из северной земли
Привез не только мудрые машины.
И — саженицы! Чтоб людям помогли
Своей заботой нлеиы-исполины.

Перевел с туркменского
О. ДМИТРИЕВ

Иосиф
ГЕРАСИМОВ



МИГ ЕДИННЫЙ

РАССКАЗ

Рисунки
В. СКРЫЛЕВА.



Ничего я не узнавал в этом поселке, но ничего и не осталось здесь от тех давних довоенных лет: деревянные постройки и бараки снесены, воздвигли блочные, панельные да из белого кирпича здания. Я с большим трудом отыскал, где стоял прежде наш обшитый почернелым тесом, украшенный наличниками, скособочившийся на кирпичном фундаменте одноэтажный домишко. Теперь там разбили небольшой сквер; я определил, что это именно то место, когда увидел неподалеку характерную излучину пруда, которую в детстве наблюдал из окна. Припомнилось: в десяти минутах ходьбы должна быть проходная завода; так оно и оказалось, только при заводская площадь, управленческое здание и сами проходные — все, все было перестроено, все обрело современный бетонно-стеклянный вид. И еще мне показалось — в скверике сохранились два куста сирени, что росли у нас во дворе подле дровяника, но, может быть, только показалось...

Мы жили в большой светлой комнате. Судя по всему, у старых хозяев этого дома — то ли торгашей, то ли мещан, а возможно, и заводских служащих, теперь уж я не помню, но тогда говорили, кому прежде принадлежал дом, — была гостиная, а затем эта комната в порядке стала значиться как жилая площадь с добавлением — проходная; эпитет этот указывал, что через бывшую гостиную могли проходить по любой надобности и в любое время жильцы соседних двух комнат. В одной из них обитала семья Тарутиных из трех человек: Степана Тимофеевича, квадратного, крепкого и молчаливого мужика с загадочной для меня по тем временам профессией — вальцовщик, его жены «тети Надн» и самого вредного на свете существа — их дочка Лидуни, которая норовила каждый день сотворить мне какую-нибудь гадость, сунуть мимоходом ледяную сосульку в ноги под одеяло или же кинуть на голову котенка. Прodelывала она это так ловко и незаметно, что родители мои лишь вздрагивали от испуга, не понимая, почему я просыпаюсь с таким криком. А в другой комнате, вернее, в комнатухе, похожей на чулан, но с окном, жила Елена — мой праздник и моя первая в жизни тоска...

По утрам я ждал мгновения, когда скрипнет на несмазанных петлях высокая, с облупившейся белой краской дверь и в розовой сорочке, спортивных синих рейтузах, перекинув через плечо вафельное по-

лотенце, сжимая в руке мыльницу и зубную щетку, Елена ступит в нашу комнату, осененная распущенными золотистыми волосами, и, сморщив небольшой, вздернутый вверх нос, воскликнет: «С утренняя приветом!» — и сожмет левую руку в кулачок «по-спартаковски», как делал это живший на второй половине дома немец Вальтер.

Елена задерживалась на какое-то время у порога, и мне хорошо было ее видно. Если это происходило зимой, то на нее падал яркий свет электрической лампочки, висевшей на грязно-сером проводе под потолком, а если летом — то ее освещали обильные лучи утреннего солнца, которые текли в окно. Елена казалась мне легкой, чудилось — она может взмахнуть вафельным полотенцем и взлететь, и взгляд ее синих глаз был легкий. Первым делом она подмигивала мне, а потом уж кивала отцу, матери и быстро шла через комнату на кухню, где находилась умывальная раковина. Мать провожала ее мягким, близоруким взглядом, а отец словно бы очерчивал глазами упругую фигуру, и мне становилось неловко, потому что я уже начинал понимать такие взгляды.

Все население нашего дома по утрам, с гудком — тогда еще были у заводов свои гудки, наш отличался низким тембром и особой хрипотцой, будто норовил все время откашляться, — уходило на завод, кроме матери, которая шла на трамвайную остановку, чтобы ехать в больницу, где она работала медицинской сестрой. И в доме оставались две враждующие стороны: я и Лидуна, — но проходило время, мы собирали свои книжки и тетрадки и чинно направлялись в школу, в один и тот же класс. Едва калитка оставалась за нашими спинами, как лицо Лидуни делалось каменным и невозмутимым, она старалась идти на полшага впереди меня, чтобы со стороны могли подумать, что я ее провожаю, — так, по ее мнению, должны были двигаться по улице воспитанные мальчик и девочка, и, видимо, от осознания этого лицо ее обретало некую святость.

С той поры сохранились в моей памяти вот эти утренние сборы: в доме да еще запахи вкусной еды в выходные и праздничные дни, которые доносились из большой, общей для всех жильцов кухни, и среди этих запахов особо выделялся аромат жареных, из кислого теста пышек, считавшихся в те времена, вместе с «постным» сахаром, настоящей праздничной едой. И еще помню летние вечера на берегу пруда, где собирались группами рабочие, рассаживались по травяным откосам и играли на деньги в лото, и в игре этой бойчее всех вели себя женщины, мужчины же азарт проявляли редко, но играть любили. Наверное, если постараться, то многое можно вспомнить, хотя здесь прошла лишь часть моего детства, но что никогда не исчезало из памяти, приютившись где-то в дальнем уголке ее, — страшная и не разгаданная во многом история с Еленой, или, как называла мама ее, «Ленушкой». И когда мать произносила это имя, то мягко пришепetyвала...

Возможно, были у нас дни, когда мы подолгу оставались вместе, даже обязательно были, и я что-то припоминаю, как ходили в кино, как добродушно приставали в клубе к ней парни, а она, смеясь, отмахивалась, и слышалось за Ленушкой презрительное «недотрога», а мне это нравилось, и гордился, что я рядом с ней. Но хорошо помню только тот морозный день марта, когда мы оба остались в доме — я по болезни, а она по каким-то своим причинам, — и поначалу Ленушка все ходила по нашей проходной комнате, скрестив руки на груди — у нее была такая привычка, — и с тоской поглядывала за

широкое окно, где застыли под солнцем проклюнувшиеся от теплых ветров, а ныне прихваченные морозцем ручьи, где чернел лед пруда — он всегда у нас был черным, как и пролежавший несколько дней снег, — и где сияло яркое небо. И от этого ее хождения мне становилось тревожно, потому что прежде ее такой — ушедшей в себя — я не видел.

Я сидел за обеденным столом, покрытым старой клеенкой, на которой остались следы несмываемых чернильных пятен, круги от кастрюль и сковородок, и пытался что-то рисовать в альбоме, как вдруг услышал за спиной раздраженное: «Да кто же так рисует!.. Ох ты, господи, и карандаша-то как следует держать не умеет. Тоже мне, пролетарий всех стран!»

Злость не шла ей, исказила ее лицо, глаза потемнели, губы стали косыми, и я невольно отшатнулся, словно испугался, что Ленушка может ударить, и она это сразу почувствовала, пригасила раздражение в себе, и, чтобы, видимо, сгладить неловкость, потянулась к моей руке, и еще грубовато сказала: «Дай-ка!» — и взяла карандаш. — Смотри!.. Вот как линию вести надо».

Она склонилась надо мной, ее золотистые волосы коснулись щеки, и сразу отступило все остальное, я только следил за ее рукой, как вела она линию по бумаге, и чувствовал Ленушку рядом, и было мне от этого хорошо.

«Вот так рисуют, так...» — сказала она и откинула карандаш, и только тогда я разглядел ее руку по-настоящему; может быть, я и раньше обращал внимание на ее пальцы, но не вглядывался в них, а хорошо рассмотрел их только сейчас. Это были длинные, гибкие пальцы, иссеченные зарубцевавшимися садинами и следами от порезов и ожогов, на них словно бы была вторая кожа — местами грубая, заскорузлая, — и сквозь нее проглядывала другая — нежная, даже холеная. Очень мне запомнились эти руки...

В какое-то мгновение она порывисто прижала мою голову к себе, и я чуть не задохнулся от теплого и сладкого запаха ее тела. «Милый ты мой шкет, — пробормотала она. — Ох, как тошно-то мне, тошно... Помру я скоро. А как же не хочется...»

Я оттолкнул ее, заглянул в лицо, но она не плакала, глаза были строги и обращены куда-то за окно, в солнечную и грязно-синюю даль. Что она там высматривала?.. Длилось это недолго, Ленушка вдруг рассмеялась, и смех вовсе не был нервным или вызывающим. Я проследил за ее взглядом и увидел, как стоит посреди застывшей темно-синей лужи Митяй — наш поселковый пьяница — в стареньком, затертом пальто и дырявой шапке-ушанке и пытается сделать шаг, да никак не может, ноги его оскальзывают, и сам он шатается, но не падает — получалось нечто вроде ходьбы на месте. И мне тоже стало смешно, и я расхохотался, а Митяй, будто услышал смех, сжал грязный кулак, погрозил в сторону нашего дома и тут же решительно шагнул на твердую дорогу. Это нас еще больше развеселило, и Ленушка сказала: «Ну их всех к черту, шкет. Давай чай пить. Хочешь, я постного сахара наварю?»

Спустя некоторое время мы сидели за столом и блаженствовали, откусывая от серых сладких кусков, запивали их чаем, и Елена говорила со мной, она говорила так, словно я был взрослым парнем, и это-то больше всего мне нравилось.

«Что же дальше? — спрашивала она и склоняла голову, как бы прислушивалась. — Нет, вот ты только подумай и прикинь: что же дальше?.. Это каждый

должен спрашивать себя. Ты сейчас сидишь, пьешь чай, а должен думать: чего же мне в этой жизни еще надо, и чего хотел бы добиться?.. Ты, когда подрастешь, что собираешься делать?» И я отвечал: «На завод пойду».

Я отвечал искренне, потому что в это твердо верил, и не только из-за того, что отец мой был заводским рабочим и у нас в поселке, кто ни рос, все считали, что дорога у них одна — через проходную, за большую кирпичную стену. Кроме этого, завод был для меня понятием необыкновенным, о нем говорили в нашем доме большей частью как о существе живом, и машины воспринимались мной как существа живые — ну, видимо, как лошади или быки, — а там, подле этих живых существ, шла загадочная и заманчивая для меня жизнь, которую я еще своими глазами не видел.

Елена поморщилась. «На завод, на завод, — пробурчала она. — А почему обязательно на завод?.. Других мест, что ли, нету?.. Мир такой большой, а у тебя он с версту, да и только».

«Но ведь ты же пошла на завод».

«Конечно, — кивнула она. — Но мне это надо было... Понимаешь, мне, не какому-то там дяде Пете, или ячейке, или комитету — мне самой. Сама выбрала, сама и пошла, а не пошла бы, уважать себя перестала...»

«Ну, и я сам».

«Нет, — покачала она головой, — ты не сам, ты, как все... Вот в чем штука, шкет...»

Наверное, еще мы о чем-то говорили, ведь у нас был по-настоящему серьезный разговор, может быть, даже первый в моей жизни, и я запомнил Ленушкин строгий и требовательный, совсем нелегкий, как казалось мне прежде, взгляд и то, что за окном стоял синий, с морозцем день...

А потом — скорее всего, это было в конце марта, когда опять налетели на поселок теплые ветры, потнали по мостовым ручьи, и засверкали, залучились в колдобинах лужи, и я бежал через них, возвращаясь то ли из школы, то ли с кружка, домой, и уж достиг было калитки, как меня окликнули: «Эй, Уголек, погоди-ка!»

Я обернулся на голос и заметил человека, стоящего на припекке возле тесовой стены нашего дома. Он был в кожаной заливхватской кепке, в сером полупальто с боковыми карманами — в них незнакомец глубоко засунул руки, — и еще из его одежды бросались в глаза мягкие, падающие гармошкой хромовые сапоги. Он был не наш, не поселковый, я бы мог поручиться, что не наш, хотя поселковые модники носили такие же полупальто, и кепки, и сапоги, но у этого они были как бы на два-три порядка повыше качеством. Лицом он загорелый, с серыми, веселыми глазами, и сразу мне чем-то понравился, стоял небрежно, перекатывая в губах длинную, крепкую папироску. Я было подумал, что он обознался, никто меня «Угольком» не называл, и только позднее понял, что придумал он эту кличку на ходу, увидев мои черные волосы.

Я подошел, и тогда он, не меняя позы, спросил: «В этом доме живешь?»

«Ага!»

«Елену знаешь?»

«Ага!»

Он помешкал, потом нехотя, будто это доставляло ему больших трудов, откинулся от стенки, вынул из карманов руки — они были обтянуты тонкими, черными перчатками, — снимать он их не стал, а достал из бокового кармана записную книжку, карандаш, быстро что-то начеркал на бумаге и, вырвав листок, протянул мне: «На-ка, снеси!»

«Да ее дома нет», — сказал я, потому что знал: со смены наши придут еще только через час.

«Дома, — уверенно ответил он. — И пусть ответ напишет. Я вон там буду... Во-он возле пруда, где дерево корявое, понял?.. Ну, так пш-шел!» — подогнал он.

Как-то у него все это ладно получалось, и я с охотой, чтоб угодить ему, рванулся с места, и влетел в кухню, и там увидел Елену, она сидела за столом и возилась с варенной в мундире картошкой, осторожно снимала с нее кожицу; картошка, видимо, еще была горяча, и Ленушка, дуя на нее, перебрасывала с руки на руку.

«А ты и вправду тут! — воскликнул я. — Чего так рано?»

«Так пришлось», — ответила она неопределенно.

Тогда я поспешил, почему-то веря, что должен доставить ей своим сообщением радость, протянул записку, сказал: «А вот тебе письмецо от одного дяденьки».

Она отбросила картошку, так и не откусив от нее, взяла у меня записку, развернула, прочла, и у нее остановились глаза — другого сравнения я подобрать не могу, они именно остановились, словно замерли на одной точке, и в них на какое-то время образовалась пустота, потом они ожили, снова лихорадочно пробежали по тексту. Елена смяла записку и сунула ее в огонь шумевшего примуса.

«Это же надо, — сказала она, глядя на меня, — надо же... чтоб именно ты-то ее принеси».

«Он ответа ждет», — предупредил я.

«А пошел!..» — вдруг резко сказала она и быстро вышла из кухни. Я не знал, что делать, смотрел ей вслед, но, так и не решив, бежать ли за ней, сел к столу и принялся за картошку.

Елена не выходила из своей комнаты, а через час стали возвращаться со смены жильцы дома, и он наполнился разнообразными звуками: кряхтением, стоном, стуком посуды, перекличкой голосов...

А парня в кожаной кепке я встретил во второй раз, в тот же вечер возле клуба... На этой площадке, освещенной фонарями под металлическими абажурами, похожими на эмалированные миски, в которых подавали кашу в заводской столовой, сосредоточивалась вечерняя жизнь поселка. Здесь был не только клуб, а стояли ларьки, торговавшие вивом, газетами, деревянные столы со скамейками, врытыми ножками в землю, здесь бойкие бабки предлагали семечки, а летом — вареных раков и соленую рыбешку, и еще сидел на этой площадке хмурый, как ворон, с большим крючковатым и вечно простуженным носом дядя Арсен — чистильщик сапог; работы у него было мало, поселковые жители чистили сапоги сами, и только по праздникам кто-нибудь из модников взгромождался на высокий стул, как на трон, и высокомерно поглядывал на толпу: он был горд, потому что в этот день он себе позвонил.

И вот вечером на стуле чистильщика я увидел того самого человека, который остановил меня около дома, он сидел без всякой гордости, ссутулившись, перекатывая папироску в губах, и лениво смотрел, как старается дядя Арсен. Я не понимал, для чего этому человеку чистить сапоги, ведь стоит ему сделать несколько шагов, как не миновать лужи. Я смотрел на него, и мне начинало казаться, что его загорелое, усмешливое лицо давно мне знакомо, а когда чистильщик закончил свое дело и парень вскинул голову, зачем-то сняв при этом кепку, и на мгновение стали видны его рассыпчатые русые волосы, я вздрогнул: чем-то похож на Ленушку, только я никак не мог определить, чем именно. Он сунул деньги дяде Арсену, наверное, уплатил ему хорошо, потому что чистильщик даже припод-



нялся со своего места и несколько раз поклонился парню, но тот уже легко прыгнул со стула, зашагал, и в самом деле, через лужи, к пивному ларьку.

Он увидел меня, но ничем особым не выказал этого, подошел, взял легко за плечо, и я сразу понял его жест, поддался ему, и так мы вместе подошли к ларьку.

«Тебе что-нибудь взять?» — просто спросил он. Я молчал. «Налейте кружку пива и стакан крем-со-ды», — сказал он продавцу.

Я удивился и обрадовался, потому что и действительно любил крем-соду, мне казалось, она пахла далекими, далекими странами, где растут и цветут небывалые деревья и травы; я ведь ничего не сказал этому человеку, а он угадал мое желание. Мы стояли рядом и наслаждались каждый своим напитком; он отхлебнул из кружки несколько раз, стер с верхней губы белую пену и неторопливо спросил:

«Что же ответа не принес?»

«А она не написала... Закрылась у себя, и все». «И все», — повторил он с насмешкой и опять отхлебнул несколько глотков пива, а потом уж снова спросил: — К ней парни-то ходят?»

Я понял, о чем он. Если бы это спросил другой, или же он сам, но не с той беспечной легкостью, придавшей его словам полную бесхитрость, может быть, я бы смутился или надерзил в ответ, но тут сказал искренне:

«Не-е-т, не ходят».

«Значит, совсем никого и не завела?»

«Вот и наши все в доме удивляются... Мама и то говорит: «Такая девушка, а никого у нее нет».

«Бывает», — согласился парень. Он допил пиво, поставил кружку на прилавок и, кивнув мне, сказал: «Пока». И пошел в сторону клуба в своих хорошо начищенных сапогах, презирая мартовскую грязь и лужи... Потом, сколько я ни пытался вспомнить: насторожило ли меня что-нибудь в этом человеке или же вызвало неприязнь? — не смог, знал только: всем он мне понравился, и я с интересом и сожалением, что так коротко было с ним общение, смотрел, как он исчезал за чертой света уличных фонарей.

А вот с Ленушкой нашей что-то случилось, она, видимо, не спала в эту ночь. Я проснулся, чтобы пойти на двор, а может быть, меня разбудил какой-то посторонний звук, но когда встал, то услышал возню в ее комнате, увидел из-под двери узкую полоску света — электричество у нас выключали после двенадцати, и скорее всего там горела керосиновая лампа или свеча. А утром, лишь скрипнула на несмазанных петлях высокая белая дверь и впустила в нашу проходную комнату Ленушку, я увидел, как та осунулась. Она была хмурой и не сказала своего: «С утреним приветом!» — а только кивнула и торопливо прошла на кухню. Мама посмотрела ей вслед и, покачивая головой, вздохнула: «Не заболела ли девочка?»

Вечером Ленушка со смены домой не пришла, не пришла она и на второй, и на третий день, а на четвертый по поселку разнеслась страшная и неправдоподобная весть: Ленушку нашли убитой подле пруда в березовой роще. И тут же передавались подробности: ей нанесли в спину несколько ножевых ран... Слух этот подтвердили милиционеры, пришедшие к нам в дом, — они все обшарили в Ленушкиной комнате и унесли с собой какие-то вещи...

После того, как я узнал о ее смерти, со мной стало происходить нечто странное. Я воспринимал мир так, словно он был отделен от меня некоей стенкой, и из-за нее до меня доносились слабые сигналы жизни, будто в полусне я отвечал на вопросы милиционеров, которые что-то записывали сначала у нас дома, а потом вызывали меня с от-

цом в казенное, холодное помещение, где стены были окрашены в тяжелый зеленый цвет... И в тот день, когда происходила в клубе гражданская панихида, и Ленушка лежала в гробу, оббитом красным, и над ней висело красное полотнище, и тошнотворно пахло хвоей, — вот только этот запах отчетливо ощущался мною, а все остальное тоже казалось отъединенным, происходящим по ту сторону моего сознания, поэтому я помню лишь какие-то отрывки из речей, произнесенных сначала в клубе, потом на кладбище у открытой глиняной могилы, и в этих речах Ленушку называли «ударницей», «авангардом» и другими мало мне понятными в то время словами и говорили, что пала она жертвой ненавистного врага.

Я так и двинулся по земле в полузабытьи, и таким же — с одеревенелой головой и душой — вернулся со всеми домой, где пахло чесночными котлетами, их принесла из столовой тетя Надя, а дома «дожарила» на большой сковородке. Она ждала нас, не ходила на кладбище, готовила стол, потому что решено было всеми жильцами дома устроить поминки.

Стол накрыли в нашей комнате, а не на кухне, все-таки эта комната была самая большая, и на скатерть, кроме котлет, поставили прямо в тазу свекольничьий внегрет с селедкой и несколько бутылок водки. Когда все расселись, поднялся квадратный Степан Тимофеевич, сдвинул прямые черные брови и некоторое время молча держал граненый стакан, который казался хрупким в его расплюсченной ладони. Его попросили сказать первым, потому что он работал вместе с Ленушкой в цехе, который все называли на заводе «новым», и, стало быть, должен был знать ее лучше других. Он подержал стакан, потом крякнул и произнес:

«Помянем убитую, погибшую от гидры контрреволюции», — и так сжал стакан, что показалось, он хрустнет в его ладони, а потом откинул назад квадратную голову и, резко взмахнув рукой, выпил водку одним глотком.

И тогда все выпили за столом, стали заботливо пододвигать друг другу котлеты и накладывать внегрет.

Рядом со мной сидел рыжий немец Вальтер, я не знаю, какая у него была фамилия, его так все и звали в поселке «немец Вальтер». Он родом был из Германии, попал в империалистическую в плен, а потом участвовал в гражданской на стороне красных, да так и остался в нашем поселке, женился на тихой женщине, она была такая тихая, что я и не запомнил ее. Он работал на заводе мастером, и все относились к нему с почтением.

Он вертел стакан перед моими глазами пухлой, белой, с коричневыми конопущами рукой и говорил задумчиво о Ленушке, он говорил с акцентом, столько лет прожил у нас в стране, а все говорил с этим ужасным акцентом, вставляя свои «бнн», «унд», «мнт» и другие словечки, и не всегда можно было разобрать, что же именно он хочет... Не так давно на Урале я встретил нескольких немцев, которые остались у нас после плена, обзавелись семьями, состарились, вырастили детей, и меня удивило, что не только они, но некоторые из их сыновей и дочерей, хотя матери были русскими, сохраняли пусть легкий, но акцент, — вот как это живуче... Немец Вальтер говорил спокойно, весело, а мы все слушали о том, как жестока и сложна классовая борьба, как не сдается враг даже после того, если он опрокинут и раздавлен, все норовит ужалить своим отравленным ядом, и вот мы все стали свидетелями такого печального примера: была комсомолка Ленушка, боролась с летунами и лодырями, возглав-



ляла ударную бригаду раздирищиц, и оказалась бельмом на глазу врага, и он решил ее убрать со своей дороги... Немец Вальтер говорил убежденно, все кивали головами, все ему верили и, когда он предложил тост, чтобы враги были разгромлены, согласно выпили.

После этого за столом стало оживленней, и тетя Надя, вытирая от пота рыхлое лицо полотенцем, рассказывала, что бабы болтали, будто убийцу хоть и не нашли, но найдут его непременно, потому что приезжали из Москвы врачи и другие специалисты и сделали снимок «по глазу». Сначала никто не понял, что это за снимок такой, но тетя Надя объяснила: когда человека убивают, то в глазу остается изображение того, кого видел покойный в последний раз, а потом это изображение переснимают на настоящую карточку, и по ней не так уж и сложно поймать преступника, ведь не за горами же он — в нашем поселке или в городе. И опять все согласно кивали и верили: убийцу найдут, раз взялись искать, то обязательно найдут...

Вот здесь, за столом во время поминок, и произошел со мной срыв, будто опрокинулась стена, отделявшая меня от остального мира, и скопившийся в душе после убийства Ленушки ужас словно бы прорвался и хлынул наружу... В какое-то время я почувствовал, что по моей спине сползает нечто скользкое и колючее, и тут же заметил хитрые глаза Лидуньи и понял: она сунула мне что-то за шиворот. Я выдернул рубаху и достал из-под нее полуобглоданный кусок селедки, некоторое время я смотрел на него, потом с силой запустил в Лидуню, но попал в глаз немцу Вальтеру и тогда кинулся, сжав кулаки, на эту настырную девчонку...

С этого момента я впал в забытие и, говорят, находился в нем долго, но я ничего из того не помню, мама мне рассказывала: я вцепился в Лидуню так, что меня не могли от нее оторвать, я царапал ей лицо, бил ногами в живот, и только Степан Тимофеевич, применив силу, оттащил меня...

«А то бы неизвестно, что и было бы,— говорила мать.— И откуда что взялось в хрупком теле...»

Я провалялся несколько дней в жару и бреду, мать сутками дежурила подле меня, и потом несколько дней был так слаб, что не мог вставать с постели. Когда я немощно пришел в себя, Лидуня с исцарапанным лицом боязливо подходила к моей постели и клала на табуретку тетрадки с задачками, чтобы я не отстал от школы. Надо сказать, что с этих дней она очень изменилась ко мне и, когда я поднялся и оправился окончательно, шла со мной в школу не на полшага впереди, а на полшага позади, дома всячески старалась угождать, и я слышал, как в школе говорила подружкам: «Его лучше не тронь, он бешеный...»

Когда болезнь моя кончилась и я пришел в себя, отец, видимо, по настоянию матери, спросил: что бы я хотел получить к Первомайским праздникам, какой подарок?

«Ничего, батя, не надо... Вот, если бы ты меня на завод сводил...» Они переглянулись с матерью, и я увидел, как мать кивнула в знак согласия, и тогда отец сказал: «Ладно, пойдешь со мной завтра...»

Только не надо представлять дело так, будто я просился у отца на завод, как в некий храм, в фанатичном порыве поклонения перед тем огромным и главным, чем жил наш поселок. Просто в мальчишеской голове возникла странная фантазия: надо побывать в том месте, где работала Ленушка, может быть, там что-то осталось от нее... Что может остаться — я не знал, но верил: обязательно отыщутся ее следы.

И наступил день, когда мы прошли с отцом через проходную и очутились на широком, мощном бу-

лыжниками дворе, а навстречу нам поднимались бурые, черные, белые дымы, и за высокими окнами закопченного здания гудело пронзительно красное пламя, и по мере того, как все далее углублялись мы в этот двор, свист и грохот тесней окружали нас, заглушая шаги и голоса.

«Так куда тебя вести?» — спросил отец.

И я, не задумываясь, ответил:

«В новый цех»...

Он понял, в чем дело, кивнул, и мы свернули направо и вскоре вышли к длинному кирпичному зданию, вошли в него через высокие ворота... Поначалу я отпрянул от летящих мимо раскаленных листов металла — они разбрасывали искры, и те падали на пол, шипя и пригасая; здесь было парно, как в бане, и жарко; мы обходили стороной, чтоб не получить ожога, небольшие — а по нынешним временам даже крохотные — прокатные станы, где каталось кровельное железо, и у одного из этих станов я увидел Степана Тимофеевича. Он строго восседал на высоком металлическом сиденье, держа руки на рычагах, и наблюдал, как из печи летели прямо на него раскаленные листы, но к себе он их не подпускал, поворачивал рычаг, и листы жестко обжимались двумя блестящими вальками. Степан Тимофеевич заметил нас, но даже не кивнул, не обернулся в нашу сторону, он невозмутимо делал свою работу, а у стены, на скамеечке сидели двое рабочих и, лениво покуривая, переговаривались о чем-то своем, наконец один встал, пригасил окурки и пошел к Степану Тимофеевичу, и тогда тот уступил ему место...

«Пойдем, покажу», — строго сказал Степан Тимофеевич и повел нас к площадке, где тянулось несколько длинных столов, обитых жестью, и возле них работали женщины, они работали попарно, стоя одна против другой... Я сначала не понимал смысла их труда, их движения мне казались похожими на танец с саблями — я видел в кино, как танцевали казаки; женщины взмахивали широкими, как тесаки, ножами, вонзали их в нетолстую пачку металлических листов, а потом, откинув эти ножи, одновременно склонялись к листам и, ухватив их брезентовыми рукавицами, растягивали в разные стороны, и листы отъединялись друг от друга, над ними струился горячий воздух, и когда они расщеплялись, взлетала вверх бело-серая пыль. Мы подошли поближе, и я увидел, как напрягаются женщины, согнувшись вперед, краснея от натуги, и пот струится по их лбам, и вся схожесть с танцем исчезла...

«Листы-то спрессованные из-под стана выходят», — объяснял Степан Тимофеевич, — вот их и надо раздирать... Отсюда и «раздирищица». Между прочим, мужики такой работы не выдерживают. Одни женщины... — и, словно оправдываясь, сказал: — Так у нас получилось: цех новехонький, станы — одна красота, техника... А тут вот инженеры и не додумались...»

Я смотрел на тяжкую работу женщин, у которых лица по самые глаза были закутаны в платки, наверное, чтобы не дышать горячим воздухом и пылью, пытался представить на этой работе Ленушку и не мог... Сейчас на заводе нет бывшего «нового» цеха, его снесли как устаревший и поставили современный стан, катающий автолист; это широкий цех с высокими пролетами, и операторы работают в особых помещениях, возле красивых, мигающих лампочками пультов, наблюдая сквозь широкие стекла за движением стальной полосы, и в операторских помещениях поставлены кондиционеры. Так сейчас, но тогда... Впрочем, ведь то была тоже новая техника, и цех-то называли «новым», а профессия раздирищицы на заводе просуществовала долго — всю войну — и

исчезла только где-то в шестидесятые годы... Но я слышал в детстве, как тот же Степан Тимофеевич, выпив рюмку, говорил тете Наде о женщинах, работавших у столов с тесаками в руке: «Бедные бабы, как же они рожать-то будут, им на живот-то по сколько тонн нагрузки падает». Правда, на это тетя Надя отвечала: «А тебе-то какое дело?.. Не тебе рожать-то». А Степан Тимофеевич хмурился: «Мне не мне, а поколение растить надо...» И вот тут уж у тети Нади ответа не находилось.

...Теперь я бродил по обновленному поселку, среди кубообразных домов и думал: все, что кажется нам сейчас таким современным, по прошествии времени, может быть, и не такого длительного, увидится безнадежно устаревшим, как угас, исчез тот быт, который окружал меня в детстве; и те люди, что жили в нашем деревянном домишке, умерли, каждый своей смертью, одни в войну, другие еще до нее... И тут я подумал: «А Лидуня?»... Поначалу мне решилось: ее-то и искать не стоит, бесполезное это занятие, мало ли, какие перемещения могут быть у человека за минувшую огромную эпоху... Ну, а нашлась она легко и просто. Ни в коей мере не надеясь на успех, я запросил справочное бюро — где могу отыскать Тарутину Лидию Степановну? — и мне тотчас выдали справку: живет в поселке, адрес такой-то, телефон... Я позвонил. Ответил молодой женский голос:

— Мама на работе.

— А где работает?

— На заводе, — недоуменно ответили мне и тут же пояснили: — В лаборатории механизации и автоматике...

И я направился туда. Искать пришлось недолго, поднялся по широкой лестнице серого здания, с огромными стеклянными пролетами, и на одной из дверей нашел табличку с нужной мне фамилией, постучался, не ответили, но я слышал за дверью раздраженные женские голоса, постучал еще раз, и тогда до меня донеслось недовольное:

— Да открыто же! Кто там еще, господи!

Я вошел и увидел в узкой комнате трех женщин, стоящих возле чертежной доски, на которой закреплена была какая-то схема, все трое повернулись ко мне, хотя доска, как некий магнит, еще притягивала их. Двое были молоды, одна взобралась с коленями на стул, опираясь руками о спинку, и сверкала обтянутыми в кожаные блестящие штаны ягодицами, вторая щурила глаза от дыма сигареты, а между двух девушек стояла в синем халате, в распах которого виднелась белая блузка, женщина лет пятидесяти. У нее были ровные, несколько высоко поднятые плечи, а лицо, хоть и покрыто редкими конопущками, но ухоженное, с дерзко вздернутыми вверх уголками губ, с крутой складкой меж тонких бровей, идущей стрелой по высокому лбу, волосы подкрашены в медно-рыжий цвет и уложены в пышную и в то же время строгую прическу, — все это я разглядел, потому что свет из окна хорошо освещал ее. Женщина не сошла с лица раздраженного выражения, и я сказал:

— Мне нужна Лидия Степановна.

— Ну, я, — ответила она, и тотчас я увидел, что Лидия Степановна по-прежнему ждала объяснений, и девушки ждали, не меняя своих поз, в глазах их не было любопытства, скорее всего они смотрели на меня как на помеху, от которой надо побыстрее избавиться.

— Простите, пожалуйста, если вы так заняты... Я зайду позднее, вы только назначьте время...

Тогда она заинтересовалась:

— По какому вопросу?

Ну, как я мог объяснить, зачем пришел, да, соб-

ственно, у меня никакого «вопроса» и не было — вот осталась в живых она одна из всех, кто когда-то населял домишко моего детства, и хотелось на нее взглянуть, ну вот и взглянул — ничего похожего из того, что запомнилось мне, не было сейчас в этой женщине. Я никогда бы ее не узнал, встретив случайно, как сейчас не узнавала она меня; даже если бы произошел такой невероятный случай и она все бы эти годы оставалась той девочкой, то я сейчас тоже ее не узнал бы — память не может столько лет хранить в себе лица. И от неумения объяснить свой приход и еще от растерянности я ответил:

— По интимному...

Та, что была с сигаретой, прыснула, а другая, в кожаных штанах, не меняя своей вызывающей позы, теперь с любопытством посмотрела на меня.

Ответ, видимо, озадачил Лидию Степановну, и она, тоже растерянно, спросила:

— Это надолго?

Ответил не я, ответила та, что была с сигаретой:

— Может, на всю жизнь!

Девушки рассмеялись, и та, что была в кожаных штанах, спросила:

— Вы откуда?

— Из Москвы...

Тогда Лидия Степановна рассердилась на них:

— А ну выметайтесь отсюда! Потом договорим, — и, взглянув на ту, что взобралась коленями на стул, прикрикнула: — А ты как стоишь! Стыда в тебе нет... Быстро, быстро освободьте помещение!

К моему удивлению, девушки безропотно, не возразив ни единым словом, направились к двери.

— Извините, ради бога, — чувствуя себя неловко, забеспокоился я.

Она села к письменному столу, решительно вынула оттуда пачку с сигаретами, достала из них одну и кинула пачку через весь стол в мою сторону.

— Изобретаем велосипед. Подождет, — кивнула она на чертеж. — Тут еще думать да думать. — Выпустив струйку дыма, она устала на меня.

Тогда я начал объяснять, что когда-то в детстве мы жили вместе в одном доме, и наши родители были дружны меж собой, а мы ходили в оди класс. Когда я, наконец, закончил, она сбила пепел с сигареты и спросила строго:

— Ну, и что?

И я тут же подумал: а в самом деле — «ну, и что?». Но ответить на этот вопрос не мог...

Она помолчала еще немного, потом сильным движением пододвинула под собой кресло, может быть, для того, чтобы быть ко мне поближе, и живо спросила:

— Тебя как, на «вы»? Или на «ты» можно?

— Как удобней...

— Ну, так слушай... Если тебе что нужно тут на заводе... достать или на прием к начальству быстро, то ты говори прямо, не юли. Понимаю, бывает так — прижмет, и не только детство, грудной возраст вспомнишь... Так ты мне лучше сразу, открыто, без подхвостца... Договорились?

— Да не надо мне ничего, — взмолился я. — Просто узнал, что вы живы, — я так и не мог с ходу перейти на «ты». — И вот решил на вас взглянуть, а то ведь все остальные умерли. Вспомнил, как убита была Ленушка, ну, и все во мне всколыхнулось...

Она опять сбила пепел с сигареты и, недоверчиво прищурив глаза, спросила:

— Ты что — лирик?

— Может быть.

— Интер-ресно... — протянула она и задумалась, потом с неожиданной тоской произнесла: — Ленушка?.. Это Баулина, что ли?.. Ну, да я не забыла, в



березовой роще убили... И тебя вспоминаю. Вредный такой парнишка рос... Дрался. Еще, помню, то ли за палец меня укусил, то ли за ухо... Очень был вредный. Значит, ты?

Я усмехнулся про себя — каждый из нас помнит другого по-своему! — и кивнул ей в ответ.

— Значит, ты.

Тут она вдруг улыбнулась, вздернутые кверху уголки ее губ распрянулись и обнажили ровные, крепкие зубы, и на лице ее растопилась твердость, оно сразу сделалось приветливым.

— Это же надо, а-а? — протянула она. — Смешно.

Лидия Степановна закурила еще одну сигарету: видимо, что-то ее все-таки растревожило.

— А знаешь, — задумчиво сказала она, — Ленушка эта вовсе и не Баулина оказалась... Там какая-то серьезная история была... Что-то вот никак не могу припомнить. Только это открылось не так уж давно, лет десять, а то пятнадцать назад. Когда дом наш рушили, там то ли бумаги какие-то нашли в тайнике, то ли... Эх! Все из памяти вышибло... Как же это так... А я ведь сама удивлялась. Думала: история какая интересная. — И тут же она вдруг воскликнула: — Постой! Да это же Томка знает! — и сразу же объяснила: — Подружка моя. Не помнишь? Ну, конечно. Она уж мне после войны подружкой стала. Вот она все помнит. В строительном управлении работает. Она наш домик и рушила... Сейчас-ка я ей... — Лидия Степановна торопливо набрала номер телефона, но в трубке послышались гудки занятости, она безнадежно бросила трубку на рычаг. — Разве ей сейчас дозвонишься! — Она снова на мгновение задумалась, потом вскинула голову: — Знаешь, приходи-ка вечером ко мне домой. Я ее туда притащу... А что? И в самом деле, посидим, повспоминаем. Запиши адрес...

— У меня есть.

— Так значит, в семь. А я сейчас с этими инженерами разберусь, — кивнула она на чертеж. — Простую задачку решить не могут. За всем глазом да глаз... Понимаешь, эту самую лабораторию сделали вроде мусорной ямы. Поналихали людей из цехов — кому кого не надо, кабы избавиться. И такой кадровый состав образовался, будь здоров. Получается, эта лаборатория только для «птички» существует. А между прочим, столько сможет задачек решить. Ого! Да меня саму сюда вроде бы как на покой кинули. Хватит, мол, в цехе торчать, радикулит и другие болячки заработала, ну и иди на тихое место. А тут такое, я тебе должна сказать... Ворочать, не переворочать... Ну, ладно, так договорились, приходи в семь. Только не лижонь, коньяка не покупай. Постой, если тебе куда надо, я скажу, чтоб подвезли... Нет? Ну, ладно, до вечера!..

В тот день я долго бродил по поселку, удивился, увидев, что березовая роща цела, правда, к ней вплотную подступили дома, и в глубь ее вводили асфальтированные аллеи, но в общем-то она была такой же, как и в годы моего детства. Стоял облачный день, солнце то проглядывало в синие просветы, то исчезало, но в воздухе ощущалась зябкость — нынешнее лето утомило своими холодами и дождями, теперь оно было на исходе, но травы возле рощи еще стояли ярко-зеленые, сочные, да и листья на березах были такими, какими бывают только в начале лета, еще не опаленные лучами, не почерневшие от копоти и пыли, и от этих листьев, трав, чистеньких стволов и влажного запаха становилось бодрее на душе...

«Странно, что здесь могли убить женщину, — думал я. — Так все здесь уютно и свяжо, а вот поди ж ты — свершилось убийство... И нет никакого следочка...»

И тут я вспомнил, что примерно об этом же размышлял однажды в подмосковном лесу, где с приятелем собирал грибы: был тихий день, густо пахнущий хвоей и мхами, и, когда вышли мы к лесному круглому озеру, на дне которого застыли пышными сугробами облака, приятель мой стал рассказывать, что в этом месте окружен был немцами отряд студентов-добровольцев, и только он сам и еще двое его друзей остались живы, так как были тяжело ранены и лежали на дне оврага, может, потому немцы не спустились туда, чтобы их добить; густо поросло это место травой и ягодой, зарубцевались военные шрамы, и мало кто знает, сколько молодых жизней завершили здесь свой путь, и ходят по травам люди, любуясь небывалой красотой леса... Недаром же говорят: «Все травой порастет...» И тогда я понял: эта тяжкая мысль давно уж не дает мне покоя, она-то и погнала меня в этот поселок...

Лидия Степановна жила неподалеку от центральной площади. Она открыла сама, и едва я переступил порог, как почувствовал вкусный запах жареных пирожков и мяса; протянул ей пакет с вином и водкой, она взяла его, пробурчав: «Вот это уж зря»,— и повела меня через узкий коридорчик в большую комнату, стеклянные двери которой были растворены настежь.

— Ну, вот, Тома, знакомься,— сказала Лидия Степановна, подводя меня к плюшевому дивану в золотистых розах, на котором сидела полная, просто-вато причесанная женщина, с насмешливым взглядом темных глаз под толстыми, видимо, очень сильными стеклами очков в массивной мужской оправе,— это и есть мой школьный дружок, Мы его Чижиком дразнили.

— Нет,— сказал я, пожимая руку Тамаре Савельевне — так назвалась эта женщина,— никогда меня Чижиком не дразнили.

— Ну, тогда другого, какая разница,— махнула рукой Лидия Степановна,— а вот мамина радость — дочечка моя, Зинаида... Хорош ребеночек, а?

Это уж было обращено в сторону молодой женщины, которая входила к нам из соседней комнаты, она улыбнулась мне, будто мы и раньше были с ней знакомы.

— У тебя-то дети есть? — спросила меня Лидия Степановна.

— Конечно,— кивнул я.

— Это хорошо. Только я вот свою никак замуж выдать не могу. Говорит: «Мне одной лучше...»

— Многие так живут,— сказала Тамара Савельевна, она произносила слова плавно, растягивая их, и ее певучий голос звучал как бы в диссонанс резкому голосу Лидии Степановны.— Обычное явление, и никто не жалуется...

— С нами ужинать будешь? — спросила Лидия Степановна Зинаиду.

— Не-е-е,— протянула она.— Я на кухне пирожков похватаю и побегу...

— Долго-то не загуливайся.

— Ага! — кивнула она и опять улыбнулась мне.

Мы сели за стол, выпили за встречу, закусили, и, когда задымили сигаретами, Лидия Степановна сказала, обращаясь к Тамаре Савельевне:

— Ну, расскажи ты ему, что там с этой Баулиной было. Я все вспоминала, да ничего как следует и вспомнить не могла. Помню только, очень захватывающая история...

— А чего там было? — певуче протянула Тамара Савельевна, ее округлое лицо раскраснелось, стало открыто приветливым.— Когда стены ломали, в каморке тайничок нашли. Каморка небольшая, в ней не жил давно никто, вроде бы кладовку там сдела-



ли. Я потом справлялась вот у Лидиноного отца, он еще на инвалидной коляске по поселку разъезжал. Он мне и сказал, что в той каморке Баулнна последней жила... В тайничке ничего особенного не было, только маленькая, правда, дорогая иконка, драгоценными камнями усыпанная, и бумаги. Из этих бумаг и получалось, что она вовсе не Баулина, а Баташева... Вот! — теперь торжественно пропела Тамара Савельевна.

— Ясно дело? — спросила Лидия Степановна.

Но мне было неясно. Ну и что же, что не Баулина, а Баташева, другая фамилия, и все, и в этом еще ничего нет чрезвычайного.

— Эх ты, — укоризненно покачала головой Лидия Степановна, — а еще местный, поселковый... Баташев-то наш заводчик был, хозяин. Это вот моя Зинка может не знать, а ты должен.

— Да, да, я что-то помню, — кивнул я.

— Ну, вот и ладно, — согласилась Тамара Савельевна. — Мне теми делами временн не было заниматься, отдалн мы все, что нашли, в исполком, а оттуда уж отправили куда-то... Я смутно помню... Ну, в общем, у Баташева была одна дочь, вот эта самая Елена. Когда революция случилась, ей тогда четыре исполнилось. Баташев стал за границу пробираться, и то ли в Крыму, то ли в Одессе застрел и погиб. А уж каким путем его дочка выжила: в детском ли доме росла или у каких людей — не знаю. Но факт тот, что сюда она приехала и на отцовский завод поступила работать.

— Ну, а убили-то ее за что? — волнуясь, спросил я.

— Вот это уж и не знает никто, — протянула Тамара Савельевна. — Давно было... Кто же будет теперь давнее убийство расследовать? Да и кто ее убил?

— Я его видел, — сказал я и стал им рассказывать о том парне, что дал мне записку для Ленушки.

— Ну, и что? — пропела Тамара Савельевна. — Может, и не он убил, мало ли какие совпадения бывают... Вот Лидин отец такую версию придумал: мол, эта Ленушка что-то знала про баташевские капиталы или ценности... Наверно, потому ее убили, чтоб она про них не проговорилась. Ведь если эта девчонка от своих отреклась и на самую тяжелую работу пошла, то от нее и другого ожидать можно было... Но опять же, это все домыслы, а как на самом деле, теперь никто и не узнает...

— Да и не нужно никому узнавать, — сказала Лидия Степановна. — Просто какое-то «дело Артамоновых», да и только...

«Вот как все повернулось», — думал я... Убили молодую женщину много, очень много лет назад, и за ней обнаруживалась сложная, трагичная история, до нас долетело лишь слабое эхо ее. И в памяти моей снова возник тот, исчезнувший ныне цех, и женщины, работающие с тесаками в руках у столов, раздражающие спрессованные горячие листы, а потом мелькнуло гибкое тело Ленушки в синих рейтузах и фиолетово-черной футболке — на волейбольной площадке в спортивном городке — и взмах ее рук, когда стояла она на выгнутой доске вышки, с которой прыгали заводские спортсмены в воду... Она была обычной девушкой того времени, начала тридцатых годов, и ничем особенным нельзя было отличить ее от других работниц завода, и пела одни песни со всеми, ходила на демонстрации и была ударницей, но в то же время таила от людей нечто главное для себя, может быть, даже что-то сломала в себе, что-то победила в душе, чтобы казаться такой, как все...

— Почему никому не нужно? — спросил я.

— Сейчас выпьем, скажу.

От водки Лидия Степановна не краснела, напротив — кожа ее лица делалась бледнее, и резче на ней обозначались конопущки, глубже становилась продольная складка на высоком лбу.

— Так вот, — сказала она, сжимая губами сигарету. — У каждой бабы моих лет судьба покрепче, чем у той Баташевой... Ну и что, что дочка заводчика? Эка невидаль! Работала она и работала. Все тогда так... Наступило время, чтоб дармоедов не было, вот и пришлось. А я тебе скажу, нам досталось, так досталось. Мы в Челябину с заводом приехали, как война началась. Хочешь не хочешь, а завод разворачивай. Землю кострами отогревали, бетон уклады-вали и прямо на бетон, под открытым небом, станки набрасывали. Как электричество дали, так и заработали. В пургу детали точили, в мороз. По цеху поземка метет, а мы вкалывали. Стронтели стены начали возводить, а мы под звездами головки для снарядов точим. В рукавичках станочек не наладишь. Кожу как металлом прихватит... А куда денешься? Фронту снаряды нужны. Тебе бы порассказать, сколько там нашего брата у этих самых станков... Кто сосчитает?... А ты вот на Томку взгляни. Это она сидит тут перед тобой такая тихая, уютная, вся из себя пышная. А пусть она рубаху снимет да тебе спину покажет... Не красней ты, Томка, свой мужик, вместе в школе учились. Так у нее граната над спиной разорвалась. Она снайпером была... Да ты сам, небось, все это знаешь. А потом? Что тут только на заводе не было, по восемнадцать часиков вкалывали, только б цехи план давали. Если все это помнить да в голове держать, то не голову надо иметь, а ЭВМ с хорошей домну объемом... Человеческих жизней много, миллионы, да каждая из них, как миг единый, а вот вместе они — эпоха. Ради этого самого и живем...

— Ради чего живем? — спросил я.

— А вот ради этого самого, — ответила Лидия Степановна.

Тамара Савельевна тем временем несколько раз пересекла комнату, уставленную новой матовой мебелью — немного под старину. Шаги ее скрадывались мягким, в желтых цветах ковром, она остановилась у приоткрытых дверей балкона и, взглянув на улицу, пропела:

— А вон Зинка целуется.

— Какая Зинка? — вскинулась Лидия Степановна.

— Да дочка твоя, — засмеялась Тамара Савельевна.

— С кем же целуется? — настороженно спросила Лидия Степановна.

— Да вроде бы с Димкой из соседнего подъезда... Константин Семеновича сынок, начальника литейного...

— Ну, с ним пусть, — спокойно сказала Лидия Степановна. — Может, в дом приведет.

— А если не приведет? — спросила Тамара Савельевна.

— Все равно пусть целуется. Женщина молодая, энергичная. А то еще как жизнь у нее сложится. Ты отойди от окна, не стой, не завидуй!

— Я свое отзавидовала, — рассмеялась Тамара Савельевна.

— Ну, не скажи, — хитро усмехнулась Лидия Степановна. — На тебя еще кое-кто и заглядывается. Ничего ведь она, как считаешь, однокашничек?

— Ничего, — улыбнулся я.

— Ну, вот, — согласно кивнула Лидия Степановна и тут же опять заговорила резко: — Чтобы с твоей лирикой покончить, я тебе по-честному скажу: нам оглядываться некогда. Мы всю жизнь, как заведенные, и если в бытие каждого влезать, то ни черта и разобрать в этой жизни не сумеешь... Вон

у меня, что ни день, то проблема. Сейчас с лабораторией расхлебываюсь, и получается: двадцать процентов работников вкалывают, а остальные за их счет живут. Я бы эти двадцать и оставила, зарплату бы им повысила за счет остальных. А я ни одной бездельной единицы уволить не могу. И все, понимаешь, из-за таких, как ты, лириков. Больно много всяких переживальщиков стало, ой как за казенный счет попричитать любят. А какие бы у нас с тобой переживания ни были, все равно их ветром разнесет, ничего от них не останется... Вон,— кивнула она в сторону окна,— завод останется, цехи останутся, все, что настроили, останется.

— Ну, уж ты, матушка!— с усмешкой протянула Тамара Савельевна.— Эка хватило... Да никакие твои цехи не останутся. Отработают свое, да и снесут их, другие поставят. На нашей-то памяти сколько их поносили, да машин новых навезли. Техника быстрее человека старится, а сейчас особенно...

— Так что же тогда останется?— вызывающе спросила Лидия Степановна.

— А дети останутся,— певуче сказала Тамара Савельевна,— внуки останутся, ну и души в них наши... если они есть, конечно, души-то...

— Э-э-э, да что с вами спорить,— махнула рукой Лидия Степановна,— давайте еще по маленькой...

Лидия Степановна повернулась теперь к Тамаре Савельевне и заговорила о делах своих в лаборатории:

— Ты бы посоветовала мне, сама вон как своих держишь.

И стала объяснять ей какие-то подробности своего дела, и Тамара Савельевна ей отвечала, некоторое время я следил за их разговором, потом перестал понимать его, они увлеклись и будто забыли обо мне. Я встал, подошел к балконной двери и увидел Зинаиду, стоящую под широкой, развесистой липой в обнимку с высоким парнем. Моросил мелкий дождь, он шуршал по листве, но, наверное, эти двое не замечали его, запах влажной свежести втекал в приоткрытую дверь... И я вспомнил кухню в нашем деревянном домишке, вспомнил, как собирались в ней в день полочки мужчины, покупали поллитровку, устраивали совместный ужин и, немного выпив, пели: «Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбились...» — и больше всех старался рыжий немец Вальтер, у него был хороший голос, но он безбожно перевирал слова, а потом жаловался, что совсем не понимает этой песни, просил, чтобы пели: «Белая армия, черный барон...» Выпив еще, они начинали спорить и спорили о том же, о чем только что рассуждали Лидия Степановна и Тамара Савельевна: что останется после них?.. Степан Трофимович говорил — останутся цехи, заводы, домны, не даром же их строят, а отец мой и немец Вальтер все норовили объяснить что-то о душе... Извечен этот бесхитростный спор, и всегда, наверное, люди искали и будут искать в нем простые и ясные ответы... Целовалась Зинаида под липой с высоким парнем, и шел мелкий, неторопливый дождь.

Юрий Адрианов



Воспоминание о Балатоне

Ветер листья сентябрьские,
Как листья капеидарие, гоит,
Тишина голубая на голубом Балатоне.
В полдень осени даль
Вслыхнет кратким огнем, словно яхонт.
Поредели сады,
Паруса поубавили яхты.
И на пляжах промокших
Сегодня произительно пусто.
Обнажились густые леса,
Обнажаются чувства...
И брожу я с мадьяром,
Веселым лосольским шофером:
«Может, в горы поедем!»
И правда, отправиться в горы!
— Тамаш, нет, не поедем:
Проводим остывшее лето,
Есть в венгерских почвах
Листопадов завожских приметы.
Снова лесии, воскресив,
усталое сердце задела:
Не случайно поэт затворился сегодня
в отеле,
И забились слова в сердце,
как теллоходы в затоны...
Может, Сигулды осени пригрезилась
на Балатоне!
Снова строки встают
и стучат, словно лальцы в окошко.
Наш отель задремал домовитою, доброю
кошкой.
Осень — огненный стих,
Что врывается, лапая тревожа.
Осень — время надежд,
Если мысли становятся строже.
Лето —
шумный и бойкий
продавец торопливых эстампов.
Осень — это стихов нелюбой, где луна,
как настольная лампа!



Лицо Светлова,
Голос Смелякова —
Укор суровый, шутка, смех подчас:
Учителя ко мне приходят снова
И в утреннюю раю
И в поздний час.
Рылеикова звучат слова густые
О жизни, жизни, жизни... о стихах.
Я вижу вас, далекие, седые,
Чьих строф высоких не коснулся прах.



Феликс ВЕТРОВ

Дебютировал в № 1 «Юности» за
1974 год повестью «Сигма-Эф».
Сейчас ему 29 лет.

СТЕНА

РАССКАЗ

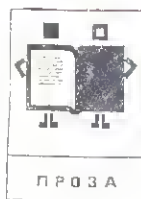


Рисунок
Е. МАЦИЕВСКОГО.

Н а окраине Москвы, скрываясь летом в густой зелени старых лип и тополей, а зимой проглядывая за черными стволами и ветками, стоят несколько желтых трехэтажных зданий. За ними — как океанские лайнеры среди неказистой портовой мелочи — зыбятся новые белые корпуса. А вокруг забор. По вечерам над забором вспыхивают прожектора, и тогда уже ничего не различишь в их ровном, немигающем свете. Но и в желтой таинственности старинных зданий и в непроницаемости забора каждый видит одно — посторонним вход сюда закрыт.

...Утро. Часы-компостер. Талон пропуска в дырочках цифр 08.17. Это я прохожу через хромированную вертушку и, миновав комнаты переговоров, будки телефонов, оказываюсь на территории института. В третьем корпусе, на одиннадцатом этаже — ОНТИ, отдел научно-технической информации.

Скоростной лифт возносит к небесам. По длинному коридору, окрашенному какой-то бесцветной мутной краской, под сонно жужжащими люминесцентными трубками иду в свой отдел мимо обитых дверей. Наша дверь уже распахнута, на пороге — Генка Творожников, его рыжая борода так и полыхает в луче солнца.

— Привет!

— Привет!

Раньше на нашей двери висела скромная и лаконичная, каллиграфически вырисованная табличка — «ГО». И все знали, что это значит — «графическое оформление», здесь обитают художники. Но замдиректора по общим вопросам Буркин, лысый приземистый старикан с быстрыми глазами, прозванный кем-то «Чернобуркиным», разорался: «Вы что — шутки шутить? У вас тут что — штаб гражданской обороны?! Как дети малые! «Гэ — О», понимаешь! Забываете, где работаете!..»

Ну и так далее, в том же духе.

Пообещали все исправить. На следующий день на двери красовалась новая табличка, еще более скромная: «Г».

Провисела она с неделю, вызывая всеобщее веселье, кривотолки и предположения. Но пришел Буркин и, сколько мы ни убеждали его, что так даже лучше, все опошил. И остались мы вовсе без таблички, но не сломленные морально.

— Порядок, — говорит Генка. — Дядьки до обеда не будет. Звонил — в Комитете стандартов.

— Ясно. Ты один пока?

— Как видишь.

Значит, се еще нет, и можно не заглядывать в комнату... А «Дядька» — это наш руководитель группы Сева Сеславин — интеллигентнейший, утонченнейший Сева — изящный, гибкий, с узкой спиной и прической под Алена Делона. Сева — классный промграфик, работает он весело и лихо, но время от времени из-за его стола доносится тихое постанывание. Это Дядька Сеславин снова «комплексует», сокрушаясь о своем засыхающем на корню таланте.

— Эхе-хе... — бормочет он тогда. — Эхе-хе... Сидишь на этой даче — не жизнь, а тоска тошная.

Но Дядька безбожно врет. Попробовал бы день прожить без этого одиннадцатого этажа, с которого видна вдали вся Москва, без своего широкого стола и без нас!.. В конце концов нашему Дядьке всего тридцать один, и Дядькой он стал с тех пор, как отпустил свои ротмистрские усы.

— Он велел тебе передать, чтоб не тянул с проспектом, — говорит своим мальчишеским голоском Геннадий и щурится.

— Успеется...

Вот наша комната. Огромные окна кое-где задернуты полупрозрачными белыми шторами, но комната переполнена светом июньского солнца. Им залиты кулманы, стеллажи с проспектами, столы, цветы: на стенах. Если есть на грешной земле место, где и правда «чисто и светло», так это наша комната. А как здесь пахнет! Запах свежего ватмана мешается с бензиновой схидцей резинового клея, сургучно пахнет лаком новенькой мебели, но все ничто в сравнении с едким и бодрящим духом роскошной дрезденской гуаши: ее пузатенькие увесистые баночки пестрят на всех полках и столах.

Но дышится у нас легко. То ли от мокрого ветра, дующего с близкой реки, то ли от света, от торжественной стерильности белоснежных планшетов, от звонкого плаката, зовущего летать в Токио исключительно через Москву, — эта всегдашняя радость утренней встречи с нашей комнатой.

А может, виной тому лозунг, висящий как раз над столом В. Сеславина. Лозунг, знаменитый во всех отношениях:

Делу ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ час

Увидев его впервые, Буркин только заклекотал от негодования, пропел тоненько: «О-о-ох!», махнул рукой и ушел.

«Государство в государстве» — так иногда называют наш этаж. Нет-нет... мы работаем, конечно, а не играем в шахматы и не вяжем. Дисциплина и бдительность для нас так же обязательны, как и для всех остальных... но... Но восемь часов «от звонка до звонка» в ОНТИ — совсем не то, что в каком-нибудь другом отделе.

Ну — за работу! Все шестеро мы усаживаемся за свои столы.

Напротив меня — Катенька Бойчук, легконогая, длиненькая, светловолосая, с нежным личиком мадонны кисти какого-нибудь мастера Возрождения.

Отвернувшись к окну, она меланхолически болтает кисточкой в банке с водой. На тоненьком голубозатом пальчике — еще совсем новое граненое золотое колечко. Теперь, после замужества, на ее столе неизменная пачка «Явы», взгляд стал решительным, без следа былой туманности, а байки она выпаливает, чеканя каждое слово, и мы только хрюкаем и стыдливо склоняемся к своим рейсфедерам — так мило все это выговаривает детский ротик, брезгливо кривившийся в недавнем прошлом.

Лиля сидит позади меня, через три стола, и мне досадно, что передо мной не она, а Катенька, но тут уж ничего нельзя изменить, как нельзя все время оглядываться, чтоб увидеть ее за ухмылкой Петрова, за мудро опущенными ресницами Натки Шумской.

— Саня, ты скоро станешь совсем квадратным, — слышится за моей спиной голос Натки.

— Бедный Саня, — изрекает в пространство Петров, — у него скоро и мозги зарастут мускулами. Так. Доброе утро. Каждый день для разминки принимаются за мой культуризм. Я улыбаюсь и молчу, раскладывая перед собой карандаши и рейсфедеры.

— Сколько, Санечка, живого веса на текущий момент? — деловито осведомляется Петров. Это вроде ритуального заклинания. Все как всегда. Ну что ж. И ответ мой тоже всем известен.

— Полтора Петрова, — говорю я и скромно кланяюсь.

— Учелло, говорят, обручился с перспективой, — размышляет вслух Натка, — туда-сюда, но это еще как-то можно понять. Но чтобы человек обручился с пудовой гирей...

— Двухпудовой. — Я оборачиваюсь, и Лиля слегка кивает мне.

— Учелло — какой это век? — спрашивает Творожников.

Петров трет виски. Катенька все что-то высматривает за окном. Молчание.

— Пятнадцатый, — говорю я и смотрю на Петрова. Тишина. С культуризмом на сегодня, кажется, покончено. Лиля улыбается. А солнце вкатывается все выше и выше на свою невидимую гору...

Достаю из стола кассы шрифтов — отпечатанные контактом на фотобумаге ряды букв: три строчки «а», три строчки «б», весь алфавит. И точки, и запятые, и восклицательные знаки. Вырезаю ножницами нужные буквы, раскладывая на эскизе обложки. Надо сказать, со шрифтом «от руки» у меня туго. Не дано — значит, не дано. Видно, никогда не сыграют мои строчки тем огнем стреляющей, до боли в глазах четкой вязи, что небрежно выдает Творожников. От любой его надписи веет «мировым стандартом». Какие у него буквы! Элегантные, упругие, приставленные одна к другой с такой чертовской грацией, что мне стыдно смотреть на свои грустные, чуть-чуть хромые буковки, которые В. Сеславин определил двумя словами: «Тяжелый случай».

Но теперь у меня есть кассы, и я могу «быть спокоен за свою будущность». Мои обложки будут не хуже, чем у других.

Слова, которые я выклеиваю буковкой за буковкой, — для меня полная абракадабра. Хемосорбция, эпитахсия, диспергирование пигментов... Они приходят и уходят — лишь сочетаниями букв, но они! — ставят уважать тех, кто понимает их значение и может произнести на едином дыхании.

И, как всегда, от этих мыслей, от этого невольного уважения к чужей-то чужой жизни мне сразу делается пусто и неловко, вдруг улечивается утренняя легкость и уходит сознание, что и я вот к чему-то причастен, работая в этом небоскребе.

Ну ладно... еще одна обложка... еще один prospect...

Каждый день под вечер я будто спохватываюсь: как так?! Неужели уже кончается, уже скользнул меж пальцев еще один день? И завтра повторится то же самое? Опять так же пролетят часы в уютной атмосфере симпатичного трепя и уйдет, станет ничем целый день моей жизни?

Надо срочно... немедленно... вот сейчас нужно... что-то...

Но я ничего не меняю.

И бегут дни.

И почему-то я никому не могу рассказать об этом. Даже ей. Ведь все так живут... И вполне довольны, кажется... О чем говорить-то? И разве не жизнь? Я оглядываюсь и смотрю на Лилю. А она на обрывке бумаги разводит акварель, размешивает, подмешивает, добавляет изумрудки, охры... черной... Цветные разводы превращаются в жухло-бурую грязь. Так... спокойно, Лиля. Все сначала. Изумрудка... охра... А она глядит в окно.

В три часа приезжает Сеславин Дядька всел. Его добрые глаза за дымчатыми очками, похожими на летучую мышь, присевшую, раскинув крылья, на лицо, доверчиво моргают.

— Ну как вы тут? — Он быстро обходит наши столы, смотрит, кто что наработал. Задерживается у моего стола. — Ну что ж, нормальный ход. Бери на кальку и малую раскладки. На три краски.

Раскладки так раскладки. Встаю и подхожу к окну. Далеко внизу — алюминиевые после дождя асфальтовые дорожки. Доска почета. Озабоченно шагают, размахивая руками, две маленькие фигурки. Пробежала девчонка в белом халате. Вон катит оранжевый электрокар...

Громадная территория Института пустынна. Все занята. Все на своих местах. И как всегда, когда я смотрю из окна нашей комнаты на темные валы лесов у горизонта, на это безлюдье внизу, я думаю об одном и том же. Там, за этим окном, другая жизнь, куда суровой и жестче, чем кажется нам здесь. Почему я так часто забываю об этом?

Просто кто-то тащится с моей долей тревоги. А я в это время сто тридцать восемь раз отжимаюсь от пола, клею буквики и кручу телефонный диск.

— Тшш-ш... — слышится за моей спиной, — обрати внимание... Саня опять задумался...

— С чего бы это? — жеманно тянет Катенька.

Я смотрю в окно. От корпусов к проходным скоро пойдет народ.

Так однажды, подойдя к окну, я скажу себе:

— Ну вот и зима!

...Ноябрь. Сижу и сочиняю обложку. Все, как всегда. Влетает Дядька.

— Сидите! Очень хорошо. Побольше энтузиазма! Героики будней! Натка! У тебя опять кавардак на столе! Сколько раз...

— А кто пожалует-то? — лениво потягивается Петров.

— Все! С Бодуновым во главе.

— В белом венчике из роз... — Катенька прикрывает в улыбку глаза.

— Обходит владения свои... — продолжает Петров. Мы встречаемся глазами с Лилей и отворачиваемся.

— Не богохульствовать! — поднимает палец Се-славин. — Наш директор — великий ученый!

— Спокойно, дружище, спокойно, — говорит Петров. — Ха! Вы слышали последнюю байку Бодунова?

Каждые две недели директор Института, он же Академик, выдает новую байку на местные темы.

— Не томи, — вытягивает шею Дядька, — уволь...

— Значит, так. Стоят они с Эн Эн у проходной. И тут со страшной силой...

Что именно «со страшной силой», мы так и не узнаем. Распахивается дверь. Входит Бодунов.

— Тут художники у нас, — услужливо напоминает Гаспарянц, начальник ОНТИ. — Оформление изданий... графика...

— Кого только у нас нет! — усмехается Академик, загорелый, седоватый, синеглазый. — Работайте, товарищи, работайте... — На его пиджаке отсвечивает красным депутатский флажок. — Художники! Слово такое какое! И как много вас! Это хорошо... Так, так... Художники... Запишите! — кивает наутюженному парню, с подчеркнутой деловитостью носящему за директором блокнот. Услышав приказ, он вскидывается и начинает быстро-быстро водить шариковой ручкой по страничке блокнота. «Сопровождающие их лица» улыбаются нам. Даже Буркин.

Бодунов поворачивается уходить. У двери маленькая свалка — пропускают начальство.

— Вольно, — командует Дядька, когда мы остаемся в узком кругу.

— Я бы этого мальчика с блокнотиком прибрала к рукам, — говорит Натка. — Перспективный.

...А дней через пять Дядька сообщает:

— Гром грянул, парни. Нас всех зовут наверх.

И мы, гадая, что бы такое могло вдруг «грянуть», нехорошо вспоминая Чериобуркина, отправляемся «наверх», но оказывается, что идти надо куда выше,

чем нам могло и в голову взбрести. И вот мы — в устланном коврами, поблескивающем черной кожей и красным деревом кабинете Бодунова.

Академик восседает за столом. Рядом секретарь парткома Орлов, заместители. Здесь же наши коллеги из оформительской бригады, великие спецы по части картона и пенопласта. Рассаживаемся.

— Времени мало и у вас и у нас, — с ходу берет быка за рога Орлов. — А дело, товарищи, серьезное: принято решение расписать главный холл испытательного корпуса.

— Да-да... — кивает Бодунов, — уж очень у нас все как-то уныло, казарменно, что ли... Вот мы и пригласили вас обсудить, посоветоваться. Заказывать работу Худфонду — дело доброе. Но... как бы это сказать... Я уже заранее знаю, что они нам нарисуют. А хочется, чтоб это что-то такое было... — он разводит руками, — чтоб действительно... Вот. Теперь другое: панно должно отражать нашу специфику, а тут — посторонние люди... Пока они пропускают, получают, много времени пропадет. А вы сами знаете, какая дата приближается. К празднику все должно быть готово. — Он обводит нас глазами. — Вот мы и подумали: а что? Люди вы молодые... Все понятно? — Его рука властно ложится на полированный стол. — Только учтите — времени мало. Чуть больше полугода. Ну, как?

Мы молчим.

— Премия из директорского фонда, — понимающе склоняет голову Бодунов, на мгновение задерживая глаза на каждом из нас. — Полная свобода в выборе и трактовке тем! — Выкладывает он на весы главную гирию.

Оформители начинают дружно жаловаться, что нет времени.

Славин пожимает плечами. Натка специалист по ситцу и крепдешину. О Творожникове нет разговора. У Катеньки муж Эдик. Лилка сидит, хмуро рассматривая пол. Петрова на такой мякине не проведешь.

— Ну что ж... — печально говорит директор, — будем тогда договариваться с Фондом. — И он смотрит на нас уже без всякого интереса.

— Не надо, — встаю я, чувствуя, как обтянулись щеки. — Не надо договариваться с Фондом.

— Да-а... удивил, — как-то странно улыбается Се-славин, когда мы снова оказываемся у себя.

— А вообще ничего... красиво выглядело, — говорит Катенька. — Прямо кино!

— Ты соображаешь, за что берешься? — Дядька часто моргает. — Делал ты хоть что-нибудь подобное?

— Да нет... — отвечаю я. — Не делал... В комбинате только, на практике... Но меня ведь этому учили — правильно?

— Сикейрос выискался! — скалится Петров. — Это у тебя, Санечка, по причине молодости. Внимание, внимание! Срочно требуется дурак! А дурак вот он. «Я», — говорит, — дурак, а что?

— Ну почему я дурак? Я, правда, не понимаю, старики!

Творожников молчит. Забыв обо всем, сидит себе, счастливый человек, и вытаскивает кисточкой завиток на буквице.

— Чего тут непонятного? — Петров даже всплескивает руками. — Такая работа стоит много тысяч. Пока одобряют — сто советов, худсоветов... Год как маленький пробежит. А тебе дадут три сотни премиальных — и пишите письма. Дешево и сердито. Экономия-то — ого!

— Все это ерунда, — грустно смотрит на меня, как на тихого сумасшедшего, Сева. — Организация у нас



богатая. Заплатили бы тысячи. Не в том соль. Просто ты не вытянешь. Без опыта немисливо. На эту стену нужна бригада мастеров... таких, знаешь, ух! Подумай, Саня!

— Оставьте вы человека...— Это снова Катенька — От нас, бедных, одна макулатура останется, а от него — такое железобетонное разумное-доброе-вечное. Правда, Саня?

— Лучше сразу откажись. Заболей, что ли, чтоб лица не терять.

— И не подумаю.

— Хорошо,— поджимает губы Дядька,— кому прикажешь отдать твои проспекты?

— Да сделаю я...

— Ни черта ты не сделаешь. Если тебе начинать, так уже сегодня.

— Ну, а ты что молчишь? — подхожу я к Лиле.

Но она будто не слышит меня и кричит через мое плечо Сеславину:

— Севка! Сколько их там у него, проспектов? Шесть? Давай мне.

И быстро идет, не глядя на меня, к своему столу.

...Стена. Шершавая холодная штукатурка. Серая плоскость. Двенадцать в длину, пять в высоту. Огромный, очень какой-то пустой холл. Отхожу, смотрю издали. Когда я только услышал слово «панно», тотчас подумал об этой стене. Она всегда волновала меня, будто сама просилась под роспись. Но сейчас... я вижу вдруг впервые, какая она необычная.

Теперь, когда я прихожу утром в нашу комнату, меня приветствуют, но как-то невесело. Даже Дядька Сеславин иногда окликает по фамилии. Выходит, я «подложил им свинью»? Или «поставил себя выше»? Не знаю. Никак я себя не «поставил». Стена. Сейчас — стена. Один на один со стеной. Я никому ничего не собираюсь доказывать. Стена сильнее и страшнее всех насмешек и выразительных вздохов.

Карандаш носится по бумаге. Голая схема. Найти решение внутри схемы. И вырваться из нее. А пока — схема. Никаких лиц, ручек, ножек. Легкие контуры. Ничего больше. Прямоугольник за прямоугольником ложатся рядом. Так! Так! Здесь группа, здесь группа... Здесь фигура на поддержку... О чем я думаю? Разве об этом надо думать, о грубой и смешной «механике»? Надо идти туда... в глубину... к тайне... Здесь группа, здесь... К черту! Скучно. Убого. Не дышит. Не летит. Надо острее, круче, чтоб было замкнуто, цельно и упруго. Лица? До лиц еще целая вечность. А самое трудное только тогда и начнется... За кончиком карандаша тянется серая нить. Все быстрее, все резче! Опутывает двадцатый, сотый, двухсотый прямоугольник — и снова поиск пятен внутри пространства прямоугольника — микро-модели будущей стены. Быстрее, смелее... Только это и больше ничего на всем свете... Все забыть — ничего никогда не было... Только ты, и бумага, и линия... Хруп! Карандаш ломается! Хватаю другой. Ну! Ну же! Что-то появляется!

И тут кто-то касается моего плеча.

— Слушай, Саня,— озабоченно говорит Петров,— может, тебе обед сюда принести, чтоб ты, упаси бог, не отрывался?

— Будь другом,— кидаю на край стола металлический рубль.— Вот спасибо-то!

Дружный хохот. Одна Лиля без улыбки поднимает голову от своей обложки и смотрит на меня. А мне нужно снова разогнаться, «разогреть» карандаш...

...Однажды я застаю их стоящими над моим столом. Заметив меня, разбегаются, но Дядька роняет раскрытую папку, и по полу разлетаются сотни эскизов-набросков. Я становлюсь на колени и начинаю торопливо, комкая, кое-как записывать их обратно в папку.

— Прости нас,— говорит Сева,— мы просто хотели посмотреть.

Я не отвечаю. Чувствую, что бледнею, продолжаю собирать свои картинки.

— Между прочим, знаешь... Местами есть что-то,— смущенно бормочет Натка.— Конструктивно.

Я не отвечаю. Есть вещи, которые не касаются никого, кроме тебя. Этих первых, едва-едва намеченных рисунков никто не должен был видеть.

— Не будь чудачком.— Петров подходит ко мне и присаживается на краешек стопа.— Что ты так переживаешь? В конце концов всем до лампочки, что там, на этой стенке. Через неделю привыкнут и замечать перестанут, то ли гладкая она, то ли...

— Слушай! — Я поднимаюсь с пола.— Не твое это дело, понял?

В комнате тишина.

— Надеюсь,— улыбается, отодвигаясь подальше, Петров,— что твоя масса не позволит тебе...

— Не позволит. Не бойся!

— Ну, ну...— бросается между нами Дядька.— Саня, успокойся...

— Я спокоен.

И вдруг из уголка голос Творожникова:

— Был коллектив как коллектив.

— Вот именно.— Я беру папку, выгребаю из ящиков стола остальные рисунки и выхожу в коридор.

...Пробив талон пропуска, я иду теперь к другому зданию. Поднимаюсь на третий этаж и шагаю к своему холлу, к своей стене. Я соорудил себе тут из фанерных щитов закуток.

Моя тема — освоение Вселенной. Какие они, те, кто ее осваивает? Люди как люди. За фанерой слышны их голоса, шаги. Иногда заглядывают в мой чулан. Задают вопросы, уходят...

Часам к девяти, когда все расходится по отделам и лабораториям, я выбираюсь из своей «одиночки». Прислоняю планшеты к стене, листы раскладываю на полу. Начинается хождение. Хожу и смотрю. От рисунка к рисунку. Наклоняюсь, беру в руки один, другой... Здесь что-то поймано, там что-то заязало. Нет! Надо быть к себе зверем. Беспощадным. Тут стена, которая не простит. Нужно смотреть чужими глазами. Скажем, насмешливыми глазами Петрова.

С ребятами встречаюсь в перерывах. Смеюсь, как ни в чем не бывало, болтаю о разных разностях. О том, о чем хочется поговорить больше всего,— молчим. И я уже сам не знаю, разозлиться этому или нет.

А Генка Творожников протягивает мне пачку «Явы» и говорит:

— Слышал? Лилка от нас уходит собирается.

— Когда? — спрашиваю я очень равнодушно.

— Ее спроси... Замуж выходит... что ли. Кто их разберет?!

...Надо рисовать. Карандаш сегодня какой-то тяжелый. Еле-еле движется по желтоватой ворсистой бумаге. Нос кривой получается. Где ластик? Вечно засуну... потом ищу год. Сотрем нос. Во-от так. Бумага паршивая, рыхлая. Невозможно рисовать. Замуж так замуж. Уходит так уходит. Тьфу! Глаз-то я зачем стер? Отшвыриваю лист, беру другой: надо переводить с листа на лист композицию будущего панно, но я сижу и черчу на бумаге дурацкие орнаменты, кубики, длинноухих ишаков. Ну и пусть уходит! Ну и пусть выходит! Что между нами было? Ничего. Взгляды, секунды понимания... какая чепуха!

У меня есть стена. Моя стена. А я уже скоро два месяца бьюсь над этими эскизами.

Ну, все! Уймись, волнения! Хватаю новый лист.

Линии ложатся вкривь и вкося, но я жму на карандаш все сильнее. Работа, говорят, лечит. Допустим. Другая любовь лечит. Вот это похоже на правду. Я люблю свою стену. Карандаш прорезает несчастную бумагу почти насквозь.

...Завтра обсуждение эскизов. До утра сижу у приемника, кручу настройку, шарю в эфире в поисках какой-нибудь обнадеживающей музыки. Перед глазами — эскизы.

С утра мне не по себе. Знобит. Внутри все скованно. На эскизы больше нет сил смотреть. Сижу неподвижно. Жду четырех часов. Похоже, не доживу. Дожил. В парткоме толпится народ. Подходит Дядька.

— На тебе лица нет. Не волнуйся. Я скажу свое слово.

— Спасибо, начальник.

За столом — человек тридцать. Все смотрят на меня. Бодунов о чем-то переговаривается вполголоса с Орловым. Расставляю планшеты на стульях.

— Вы готовы? — В голосе Орлова нетерпение. Все сидят, уставясь на мои эскизы. Несколько минут проходят в тишине.

— Так... — тянет Академик, и я не могу разобрать, что выражает это басовитое, сочное «так».

— Мы пригласили товарищей из Союза художников, — встает Орлов, — попросим их первыми высказаться.

Сеславин незаметно для остальных делает мне всякие знаки: «Держись, мол, победа будет за нами». Из-за длинного красного стола поднимается маленький старичок в голубой водолазке.

«Все, — решаю про себя, — этот размолотит за мою душу».

— М-мм... ну что же... Художник, конечно, очень молод, — начинает, брезгливо глядя в сторону планшетов, товарищ из Союза, — очень молод и, я бы сказал... мм-ммм... дерзок...

Тут он начинает вспоминать двадцатые годы, свою бурную молодость, ВХУТЕМАС, афоризмы Великого Художника, сказанные именно ему (за самоваром)... слова, которые он пронес через все испытания как самые драгоценные заветы, и так далее, и так далее...

Дядька Сеславин подмигивает мне. Я отворачиваюсь и начинаю рассматривать узоры на ковре, изредка поглядывая на Академика. Бодунов хмурится и старается украдкой взглянуть на часы. Орлов, подняв брови, потирает подбородок.

В конце концов вдруг выясняется, что художник, несмотря на свою молодость и дерзость, не такой уж олух и что работа его сделана недурно. Потом что-то говорит второй «эксперт» из Союза, потом мне задают вопросы: «А не мрачно-ли?» «Это что такое — лиловое?» «Что это они у вас все такие грустные?» Потом начинается страшный шум оттого, что вскакивает Сеславин и тут же сцепляется с каким-то лысым. Потом лысый берет Дядьку за талию, подводит к планшету, и они начинают тыкать пальцами то туда, то сюда, что-то доказывая друг другу.

— А ну, дайте-ка проект поближе... Нет, другой, тот, что слева, — говорит Бодунов.

Это самый лучший эскиз. Так по крайней мере кажется мне. Снимаю планшет со стула, выношу на середину комнаты.

— Ближе, ближе, — просит Академик.

Подношу ближе. Что он углядел? Очки надевает...

— Давайте сюда, — кладет эскиз перед собой. Рассматривает, потом... Я не успел заметить какого-то неуловимого движения смуглой директорской руки и, застыв, слежу за тем, как из-под золотого пера раскручиваются зеленые спирали: «Одобрять, Бодунов».

...Сегодня я кончил картон. Картон — это мой испытательный полигон. На картоне я пристреливаюсь, чтоб потом, на стене, бить сразу наверняка: он точная копия будущей росписи — по размеру, рисунку, цвету. Одним словом, это моя будущая стена, только написанная на склеенных кусках широоченной рулонной бумаги и расстеленная на полу.

Я хожу в носках прямо по картону. На разрисованной плоскости стоят банки с разными колерами, я макаю кисти то в одну, то в другую банку и подправляю где нужно. Но это уже ерунда. Картон кончен, и мне не верится, что это бескрайнее лоскутное одеяло, в которое можно завернуть штук пять слонов, осилил я один.

Хочу поверить — и не могу. Писал, плевался, напевал, сдирал, замазывал, закрашивал, отрезал куски бумаги и подклеивал новые, наваливал горы краски и падал в кресло посреди холла — деревяшка деревяшкой. И снова вставал, и снова ползал по бумаге, месил и месил краску, выдавливая тюбик за тюбиком синтетическую темперу, искал сильные сложные цвета, и вот все прилегло одно к другому, ожило, выстроилось, заиграло...

Еще мазок, еще! Картон окончен. Это победа. Почти победа! Мне надо только повторить то, что уже сделано, как говорится, «один к одному».

Завтра я наконец коснусь стены.

...И вот я стою на стремянке. Пот заливает глаза. С кисти разлетаются капли краски, падают на пол, на вымазанные джинсы. Штукатурка ненасытна. Она жадно втягивает краску: цвет на стене сразу гаснет, становится тусклым, глухим. Я пытаюсь сохранить яркость и чистоту красок, по несколько раз переписываю каждое место.

Мне страшно. То, что на полу делалось за день, на стене забирает три. Спускаюсь с лесенки и бреду в другой конец зала — смотреть. Стена еще почти голая! Но самое страшное не это.

Все так, как на картоне. В точности.

И не так.

Кажется, никакой разницы, каждая черточка, каждое пятнышко там же и такое же, как на картоне, и я не могу понять, в чем же ошибка, где?

И снова иду к стене, снова взбираюсь на стремянку и тру, тру, тру кистью, будто хочу своротить эту молчащую каменную силу.

Это работа.

* Она не выходит.

Но это моя работа.

Холл закрыт до окончания панно. Целые дни я провожу в одиночестве. Но из меня сваливается Буркин. Он заявляется ежедневно в четырнадцать тридцать, усаживается в кресло и начинает давать всевозможные полезные советы. Я молчу или мрачно поддакиваю. Под его быстрым взглядом кисти вываливаются из рук. Вот и сейчас — сижу на ступеньке своей лесенки и жду. Правое плечо, лопатка отваливаются от ломящей боли. Часами вытянутая без упора рука немеет. Все чаще на ум приходят слова Дядьки о «бригаде мастеров». Я понимаю, что уже не поспею к сроку, а если и поспею...

Надо смотреть правде в глаза, и я смотрю. У меня просто нет таланта.

Раздаются шаги. Сейчас заведет свою волюнку... Не оглянусь, пока не заговорит. Молчит. Что это с ним? Оборачиваюсь. В дальнем конце холла стоит и смотрит на меня девушка в зеленом платье. Лиля.

Я встаю и иду к ней. Она смотрит на меня, будто хочет о чем-то спросить. Да и правда, зачем спрашивать? Все ясно. Вот она рядом.

— Здравствуй, — говорю я грубовато, рассматривая ее лицо, усталое и немного бледное. — Такие, Лиль-

ка, дела. Запорол, ага? — кивая через плечо на свою стену.

— Саня, я балдею.

— Брось, мать. Мы не маленькие. — И правда! Закончить бы скорей, разделаться и на свой шесток...

Мы сидим рядом и смотрим издѣли на стену.

— Ты не можешь уже отличить черное от белого. Ты уже ничего не видишь.

— Все я вижу, Лилька.

— Да ты сам ничего не понимаешь! Слушай, дай на тебя посмотреть. Неужели ты... ты рванул эту машину? Докончить успеешь?

— Не в том счастье. Успею, ну и что? Ты скоро от нас уходишь?

— Да подожди ты, Санька... Дай в себя прийти.

— Ой, слушай, перестань! — Я вскакиваю и иду прочь. Потом останавливаюсь и возвращаюсь. — Ты что, прощаться пришла? Да?

— Курить у тебя здесь можно?

— Кто тут увидит? Кури на здоровье...

— Мы все время говорим не о том... Я завидую тебе, если хочешь знать. — Она достает из сумочки сигарету, я чиркаю спичкой. — Ты даже не представляешь, как я тебе завидую.

— Не темни. Ты уходишь от нас?

— Какой ты худой стал... Зарос. Санька, как хорошо, что ты такой стал...

— Какой? — зло оборачиваюсь я.

— Шальной. Она кажется, ты и не слышишь меня.

— Слышу. Как там наши? Севка, Натка?

— За них не беспокойся. Я помешала тебе? — Она достает из пачки новую сигарету, разминает и, глядя на меня сквозь разводы дыма, говорит: — А знаешь... жалко, что все у нас так получилось...

— У нас?

— А, ладно, Санька! Я ухожу, правда... Вчера заявление подала. — Она стряхивает пепел на пол, комкает сигарету. — Знаешь, почему я ухожу?

— Почему? — еле выговариваю я.

Она откидывается на спинку кресла и, склонив голову, долго смотрит на меня.

...— Винченцо! Эй, Винченцо-о! — летит, ударяясь о стены, мой голос. — Где ты там?! Пошевеливайся! На меня снизу смотрят смеющиеся темно-зеленые глаза.

— Да, мастер?

— Вот что, Винченцо, сын мой... — изображаю я старца Леонардо. — Дай-ка мне «краску для лица». — Слушаюсь, мастер. — «Винченцо» бежит к корбкам с темперой. — Неаполитанскую желтую... это мы разом...

— Ультрамаринчик прихвати заодно. Ну, живо!

Третью неделю мы работаем вдвоем. Я пишу, почти не слезая со стремянки. Лиля — «мальчик на побегушках». Подает тубики, кисти, разводит колера. Ее заявление об уходе уже, наверно, вынесло в Каспийское море. Красиво летел с Крымского моста бумажный «голубок»...

Роспись почти закончена. За эти три недели я сделал больше, чем за два месяца, когда работал один. И не потому, что мне теперь не надо отрываться от стены.

Часами мы молчим. Короткие фразы — как в операционной. Когда она стоит, сунув руки в карманы брюк, и следит, прикусив губу, за моей разлохмаченной кисточкой, у меня почему-то все начинает получаться. Иногда только я обернусь, кивну ей и снова отворачиваюсь к стене.

Время от времени я замечаю ее умоляющий взгляд: «Я тоже могу, я хочу, я тоже художник...»

Глазами, всем лицом, плечами она просит разрешить ей тоже коснуться стены кистью.

Я мотаю головой:

— Нет, Лилька, нет.

...Ну, вот и все, кажется. Расставшись с Лилей, я еду домой на трамвае, самым длинным путем. Час назад я в последний раз отошел от стены и долго смотрел на нее.

Да. Победил. Наверное, так... Я по привычке впи-ваюсь глазами в лица людей, трясущихся в дребезжащем вагоне, а зачем? Роспись закончена в срок. Завтра открытие... Почему же все-таки так грустно?

Я просыпаюсь ночью от удара в сердце. Сажусь в постели и, холодея от страха, сколько-то взглядом памяти по своему уже живущему само по себе, помимо меня, панно. И чем ярче вспоминаю, тем страшнее мне кажется приближающееся утро. Оно разгорается синим светом, и я мчусь в Институт, вбегаю в холл, смотрю...

...Как дурак из сказки — я «плѣчу на свадьбе». А вокруг меня улыбающиеся лица. Без конца поздравляют, жмут руки. Давешний старичок из Союза художников водит под ручку вдоль стены и не скрывает своего «искренного, поверьте, дорогой мой, удивленного восхищения».

— Могуче, Саня, могуче, — качает головой Дядька, то снимая, то надевая свои дымчатые очки. — А мы тебя, бедного, клевали, мерзавцы... Ты забудь, ладно?

— Большому кораблю... — пихает меня в грудь Петров. — Как у людей водится! Устроил бы вечерок для друзей в «Славянском»...

Я молча соглашаюсь, кивая всем. Вечерок? Пожалуйста! Восхищаетесь? Пожалуйста! Забыть? Ради бога!

— Что случилось? — Испуганное, непонимающее Лилькино лицо. — Почему ты такой? Скажи мне все, слышишь!

Будто я знаю, почему! Просто я не могу смотреть на свою стену. Все не то. Не то, не то... Но что «не то»? Я не знаю, не могу понять...

— Тебе кажется, — говорю я. — Все хорошо. Я веселый.

— Вижу. — Она кладет мне руку на плечо. — Заметно.

Крепкое рукопожатие Орлова. Августейшая улыбка директора. Буркин перекачивается по холлу именинником. А я — как в нокдауне.

Что же вы, братья-художники? Тоже не видите? Или просто не хотите убивать? Неужто нравится?

Нельзя так притворяться — они и правда радуются за меня. Может, это я вконец ослеп — от усталости, гонки, от горечи прощания? Странная штука... Еще вчера полновластный хозяин стены, завтра я утрачу все права на то, чтоб изменить ее.

Каждый раз, взглянув на свое панно, я чуть ли не хватаюсь за голову. И разве легче от того, что Буркин подходит то к одному, то к другому и урчит своим баском: «Ну?! Что?! А ведь отличная картина!»

А я только жду, когда все это кончится и можно будет уйти, чтоб грохнуться на тахту лицом вниз в темной комнате и лежать так, слыша шум машин за окнами, крик телевизора за стеной...

Моя работа принята и одобрена.

...И снова, как раньше, сижу в нашей комнате в Институте. Звонит и звонит телефон. Спрашивают Дядьку. И вот долгий разговор с каким-то Гарриком о неведомой Ларисе и театре «Кабуки», а под конец непременно: «Где праздник-то встречаешь? А то к нам...» Петрову звонит мама. И Петров обещает купить по дороге домой хлеба и молока. Натка звонит и отказывается с кем-то идти в кино «Зарядье», потом назначает кому-то свидание у

«Прогресса»... «Вы куда на праздники?..» Праздник, праздник...

На душе пусто. А за окном хлещет первым ливнем распускающийся зеленый май.

В чем же я ошибся? Где точка отклонения? Когда сбился?.. Эти мысли не оставляют ни на минуту.

Гроза над Москвой. Серо-желтой массой придавили землю облака, осыпая город молниями, а где-то вдали гроза уже отошла, и предзакатное солнце вызолотило высотку на Котельнической.

Звонок.

— Тебя,—говорит Сеславин, протягивая трубку.

— Александр Михайлович, зайдите в бухгалтерию.

— Вот беда,—говорит Петров.—Что-то нос чешется. С чего бы это?

Я не отвечаю и плегусь за своей премией. Заглядываю в окошечко.

— Распишитесь...

Ищу свою фамилию и не могу найти.

— Да вот же,—тычет пальцем кассирша.— До чего же вы красиво нарисовали... Все только и говорят.

...Над нами с треском взлетают ракеты салюта. Облака становятся зелеными, потом красными, потом снова черными.

Лилька стоит, запрокинув голову. Грохот, и над нами снова похрустывают и шипят, рассыпаясь, разноцветные огни ракет.

— У-у-у-у!..—кричат хором мальчишки и бегут искать на земле горячие кусочки зарядных трубок.

Мы стоим в толпе. Кто-то хлопает в ладоши. Кто-то вслух считает залпы. Люди улыбаются.

— Посмотри,—шепчет Лилька,—посмотри на них... Знаешь, что это такое?

— Что?

— Это Мир.

Залп. Красные сверкающие точки повисают громадными люстрами и гаснут.

И я вдруг сразу все понимаю. Так вот оно что! Ну, конечно! Я все отдал картону.

Все, что шло от меня и было мной, осталось там, на бумаге. Все муки, горечь, радости и находки слились воедино линиями и пятнами на тех замусоленных, кое-где надорванных, вымученных, политых потом листах, свернутых за шкафами нашей комнаты в большущий рулон.

Я поспешил и выплеснул до срока то, что надо было беречь и хранить в себе для основной цели, для стены, для штукатурки. А после лишь гнался за тем, лишь хотел повторить то, что повторить невозможно, и все, что жило на картоне, умерло при повторении, окаменело, осталось без дыхания.

Значит, никто не увидит того, что вижу я один? Никто не узнает, какой могла быть моя стена?

Залп. Над нами взмывает огненное облако и разлетается тысячами мерцающих искр. А передо мной лица, глаза... оттуда, с картона.

Неужели уже ничего не изменить? Или пойти к Бодунову и просить, чтоб разрешили начать все сначала?

Ни к чему. Даже если и разрешат, я уже не смогу: того самого, что приняли на себя полотнища картона, не хватит в душе.

Ну что ж. Зато я знаю теперь...

Только бы не растрачиться до времени, только бы сберечь в себе, не растеряв попусту, и отдать главное, что есть ты сам, людям и стенам, которые и есть твоя жизнь... А иначе — к чему все?

И, вдруг поняв это, я изо всех сил кричу:

— Лилька! Я ужасно счастлив!

Но она не слышит меня за грохотом близкого залпа, машет рукой, улыбается и тоже кричит:

— Что? Что ты сказал? Повтори!

Александр Леонтьев



Александр Леонтьев родился в 1946 году в Москве. После школы служил в армии, работал фрезеровщиком, техником. Сейчас — инженер-конструктор.



Сиоро осеиь — письма стали реже;
По утрам в иасуллениой дали
Солки не виднеются, а брезжат,
Точио в иелогоду корабли.
И, дыхаиья моря не осилив,
Над прибрежийо зеленью поляя
Целый день поскут лииялой сиим
Режет обезумевший баилаи.
Не тревожат сумрачные лица.
Привыиаю и ласмуриости дией.
Мие легко, каи этой страииой птице,
И иадежий там, где холодией.

Сходство

Ты так похожа на меня,
Каи будто мы — одио и то же.
Таи свет родившегося дия
И сумерки его похожи.
Каиой художиии срисовал
Мой взгляд, рассеяииий и робкий,
И моего лица овал,
И ямочку на подбородие?
Но в жизни твоего лица
Нет слабости оригинала:
Под рыбьиим взглядом подлеца
Еще ты глаз не олусиала.

Январь

Не суровы в Мосиве яивари,
Не стоят холода у дверей,
Я заглядывал в окна твои
Целый месяц до свадьбы твоей.
Всей иадеждой, всей болью любви
Я заглядывал в очи твои,
Но смотрели они сквозь меня
На исходе яиварского дия.

Олег Шестинский



Письмо моим землякам

Я в Коломбо, где в берег грохочет воля,
где в тяжелые воды врезаются молы,
видел, как добывают муку мукомолы
из цейлонского, из островного зерна,
Мукомолы — великие знатоки
и любого помола и всякой муки;
были эти товарищи мои земляки
из Москвы и Калуги,
с Невы и с Оки...

Вечер со сталеварами я провел
возле славной Софии, на сталелитейном...
Черный хлеб и селедку положил я на стол,
и мы чокинулись дружно не сухим,
не портвейном...
Эти парни в Кремиковцах вовсе не гости,
хоть и родом они из Баку и с Донца
да из русской глубинки, лесного Ельца,
где их предки на дрезнем погосте.

Перуанская сельва, таинственный край,
неподвластна досель человеческой силе...
Вертолетчик Петро, вертолетчик Василий,
с пятачка в раскаленное небо взлетай!..
Где геологам станет неведомогу
от жары, от зверья, от змеиной напасти,
только в их вертолетной божественной
власти

отодвинуть неведомого черту.
Над секретными знаками инкских времен,
где пришельцы из космоса рвзбивали
стоянки,

кружит друг мой Василий,
что родом из Кром,
кружит друг мой Петро
из цветущей Диканьки.

В знойной Африке черной
среди малышей
ходит русая женщина с длинной указкой,
объясняя значенке падежей,
ободряя детей материнскою лаской.
Нежность русских речений срывается с губ,
чтобы поняли мальчонки из Заизибара,
что такое чаевничать у самовара,
сказку про Лукоморье, про кота и про дуб.

Что же ищут, оставив родительский кров,
эти люди у дальних чужих берегов,
среди гор, среди льдов и лесков?
Разве домам Кузбасса они не нужны!

Сельской школе таежной! Аэродромам!
Закромам Казахстана, кормильцу страны,
где зерно закипает потоком весомым!
Нет, не частных причин и не мелочей
я коснусь. Размышлял я об этом подолгу.
Уезжают по интернациональному долгу,
ке во имя себя, а во имя людей.
Может, без ликований и песен лихих,
не оставив заботы свои и тревоги,
уезжают... Но это такие дороги,
без которых понять ли себя нам самих?
Без которых почувствовать сможем ли мы
в полной мере себя тем великим народом,
что, сражаясь с расизмом, нищетой,
недородом,
побеждает,
людей вызволяя из тьмы!



Задумайтесь:
это ведь счастье, что вы живете.

Задумайтесь:
это ведь счастье, что вы творите.

Оно, конечно, может быть лолным,
если вы честны.



Рожь полетла. К земле прильнула.
По небу кружит шалый гром.
Но, не страшась дождя и гула,
на поле жениха с серпом
жиет, воскрешая навек древний,
набухли жилы на руках...
Какая мудрая деревня,
не растерявшая в веках
жизнь с серпом и варку пива,
чувашской вышивки узор
и этот грустный и красивый
до глубины народной
взор.



Девушки, не вышедшие замуж
после 45-го... [А там уж
труд, заботы, зрелые года] —
так и не согрелись никогда.

Женихи военного призыва —
чуть ли не по год 27-й, —
в братских...
Ну, а чья судьба счастлива, —
возмужав, обзавелись семьей.

Вижу: девушек времен военных
в одиноких женщинах почтенных.

Вижу: жизнь у каждой не загублена,
ибо строилась не из песка,
ибо сила не за деньги куплена,
ибо ясен взгляд, рука крепка,

но на миг я уловлю с тоскою
в жесте, в облике или в чем другом
что-то неотъемлемо мужское,
ей оставленное женихом.

Анастасия Никитична

Анастасия Никитична,
бабушка, ласковый свет...
Впрямь уж судьба необычная
выпала ей за сто лет.

Не наподобие пряника
жизнь раслисная у ней,
дочь самоучки-механика
родом из волжских степей.

Думал над дагерротипами,
девушке глядя в глаза...
Песнями, горькими всхлипами
жизни гудела гроза.

...Ах, как ивеста обласкана...
Страстен жених твой и юн...
Вот ты на крупе распластана,
скачет текинский скакун...

— Русскую в дом!..
— Нож точи!..
— Сыи опозорил село!..

В черновь врываются родичи,
шашки блестят иаголо.

Мелется. Все перемелется
в жизни на женском веку,
Зерна стариинная мельница
перетирает в муку.

Стали и горы ей близкими,
стала от солнца смугла,
тканями закаслпйскими
гориинцу убрала.

Дети молодцеватыми
выросли жаркой лорой,
старшие стали солдатами
к первой войне мировой.

Справясь со всеми печальями,
горем не покорена,
старой с российскими далями
встретилась снова она.

Анастасия Никитична,
бабушка, ласковый свет...
Впрямь уж судьба необычная
выпала ей за сто лет.

И лостигал ежечасно я
в детские годы свои
русское слово прекрасное,
слово добра и любви,

честное, слуху привычное,
не затаившее зла...
Анастасия Никитична
слово всю жизнь берегла.

Бога просила сурового,
клянясь ночью во тьму:
— Внука моего нелутевого
ты научи-ка уму...

Что до ума,— я не ведаю,
но от тебя, от тебя
Русь и языкн я наследую,
по-богатырски любя.

Егор Митасов



Я родился в деревне в апреле,
В это время летят журавли.
И родители очень хотели,
Чтоб Егором меня нарекли.
Чтобы землю любить научился,
Чтобы лошадь умел обуздать,
Чтобы иа поле отчем прижился,
Знал, как сеять, и знал, как пахать.
Я родился в деревне в апреле.
В это время летят журавли.
Я не знаю, нуда, ио летели...
И меня за собой увлекли.

Старожильская капуста

По России по всем направлениям
Я проехал, прошел, пролетел.
Мальчик осенью в каждом селении
Кочерыжкой налусты хрустел.
Я калустой друзей принимаю,
А уж в гости когда захожу,
Ем чужую — свою вспоминаю,
Сквозь года в огороды гляжу.
Снова вижу: у нас в Старожилье
Приглашают родню ко двору.
В этот праздник капусту рубили,
Созывали и нас, детвору.
Вспоминаю о давних годах:
На крыльце босоногий мальчишка,
И хрустит у меня на зубах
Невозвратной поры кочерыжка.

Песня

Он пришел без опоздания,
Как мы с ним условились.
Я не вышла на свиданье,
С маменькой лоссорилась.
Протоптал он две дорожки
К саду от калиточки.
Было видео из окошка
Дорогие ниточки.
Я всю ночь простояла
У окошка со слезой.
Поздно маменька сказала:
— Коли любишь, бог с тобой.
Гордый был, не смог вернуться,
Только от калиточки
Две дорожки не срastутся —
Дорогие ниточки!
Обсадила я цветами
Памятные ниточки.
Поливаю их слезами
К саду от калиточки.



СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН

[ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
ВСТРЕЧИ]

С азербайджанского

— Надо, чтобы повезло!.. Бывает, ларень и девчонка и живут-то в разных районах и встретятся бог весть где, а вдруг оказывается, будто они как нарочно друг для друга рождены...

(Из высказываний Баладжа-ханум, жены мясника Аганаджафа, когда она, лузгая семечки, беседовала с молоденькими девушками у ворот.)

— А мне только одно и нужно, чтобы Мамедага был счастлива!

(Эти слова Али сказал Самедулле в тот вечер, когда была свадьба Ядуллы и Фатьмы и кларнет Алекпера заливался так, что ноги сами пускались в пляс.)

— У меня не получилось, пусть же хоть Месме-ханум будет счастлива!

(Так подумала Гюльдесте, глядя на белевший в ночи снег из окна поезда, мчавшегося в Воронез.)

Этот был странный вечер. Нет, на Апшероне таких вечеров сколько угодно было и еще будет, но когда из-за алюминиевого фургона вдруг вышло ярко-красное кучевое облако, Мамедага подумал, что вечер сегодня какой-то удивительный, хотя и сам не понял, чему тут удивляться. И тогда он удивился своей мысли, прищурил глаза и некоторое время смотрел снизу вверх на ярко-красное облако, потом, задумчиво проведя ладонью по голове, взглянул на море, но все равно ничего не понял — ни в себе, ни в этом облаке.

А удивительный летний вечер только еще начинался, еще должно было пройти какое-то время, прежде чем окончательно закатится солнце, ярко-красным раскрасившее облако за алюминиевым фургоном, взойдет луна, зажгутся звезды, заквакают лягушки и застрекочут во всю ночь кузнечики, погаснут огни во всем селе — только не в пан-

сионате и санатории, расположившихся выше среди загульбинских скал, пролетит и исчезнет сигнал электрички, идущей в Баку и обратно,— словом, кончится этот удивительный вечер и начнется на морском берегу Загульбы обычная летняя ночь.

Если бы Мамедага захотел, он мог бы устроиться в любом тире в центре Баку. В управлении его все знали и уважали, ведь каждую неделю он, как у них говорится, «привозил план» и не имел не только что выговора—даже замечания, он мог ходить с высоко поднятой головой. Однако Мамедага не хотел работать в столичном тире, ибо был он влюблен в свой фургон, в свою бродячую жизнь. Раз в неделю он отправлялся в Баку, сдавал вырчку, выходной проводил дома, а потом снова в путь. Не было села на Апшероне, где бы он не побывал. В каждом селе он останавливался на день, самое большое на два, он не любил задерживаться дольше, потому что хотел, чтобы появление его фургона воспринималось как праздник.

На этой неделе он из Баку выехал в Хурдалан, оттуда—в Дуках, в Мамедли, потом в Фатмаи, из Фатмаи приехал сюда, в Загульбу, в ее удивительный вечер, а завтра рано утром он должен возвращаться в Баку.

После восьми или половины девятого вечера в тире уже никто из села не приходил, потому что в это время показывали фильмы, и Мамедага тоже, закрыв тир, шел в кино, но чаще по вечерам он занимался своим фургоном: мыл, чистил, осматривал мотор, а потом ходил купаться в море.

Он любил смотреть с моря на стоявший на берегу фургон. Каждый раз, глядя на чистую алюминиевую поверхность фургона и выведенные на нем большими разноцветными буквами призывы, он испытывал желание похвастаться своим тиром перед всем миром.

Но море смывало хвастовство, оставляя одну только чистую радость—так, как оно промывает раковину, доводя ее до зеркального блеска, и в этой радости Мамедага купался, как в море. Конечно, он понимал, что иметь в наше время такой фургон и вот так разукрашивать его не слишком-то уж большое дело, но почему-то каждый раз, глядя на фургон и перечитывая призывы на нем, он поддавался чувству безмерного восторга. На боках фургона были выведены два призыва:

«Учись искусству метко стрелять!»

и
«Юноши и девушки! Овладевайте техническими видами спорта!»

А перед входом в фургон, под надписью «Пневматический тир», было выведено тоже разноцветными буквами:

«Можно ли одним выстрелом убить двух зайцев?—Можно!»

Это Мамедага придумал и написал сам, но это не было лишь красивой фразой для завлечения клиентов. Мамедага вообще никогда и никого не обманывал. Он сделал забавный механизм: на груди у деревянного зайца была красная точка, и, когда пуля попадала в эту точку, заяц падал направо, а прикрепленный сзади него второй заяц—налево.

Но случилось так, что, плавая в море в эту удивительно летнюю ночь, Мамедага вовсе не испытывал того постоянного чувства радости, которое обычно вызывал в нем фургон, стоящий на берегу.

Позже, осматривая одну за другой бумажные мишени, деревянных зайцев, лису, медведя, льва и еще какого-то неведомого зверя, а также и сло-

женную из банок пирамиду, Мамедага почувствовал, как тоска подступила к горлу. За время работы в тире это происходило с ним впервые, и сразу же фургон показался ему тесным и скучным, он никак не мог понять, отчего это произошло и почему эта тоска нахлынула так внезапно. Зарядив одну из винтовок, он поднял ее и, прищурив глаз, выстрелил: как всегда, он попал в десятку; потом с удивившим его самого безразличием (да что же это такое с ним?) перемахнул через стойку, взял щипцы и вытянул из резины железную пулю с щеточкой, затем, снова перешагнув через стойку, подошел к дверям фургона.

Он смотрел на огни села, и вдруг одна очень простая мысль потрясла его: если сейчас здесь с ним что-нибудь случится, то никто об этом не узнает, пройдет время—и этот фургон пригонит сюда кто-нибудь другой, и люди снова придут сюда поразвлекаться, но никто из них и не вспомнит, что был на свете такой парень по имени Мамедага, который очень любил и этот фургон, и этот песок, и это море. Мамедага посмотрел на свет, идущий от села, и ему показалось, что хотя целый день с утра до вечера он с людьми, на самом же деле он совершенно одинок,—с этими своими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем. Мамедага никогда не задумывался над такими вещами и не знал, что придет время—и подобные мысли появятся...

Послышались чьи-то шаги, и по глухому кашлю Мамедага понял, что идет милиционер Сафар. Войдя в фургон, Сафар сказал:

— Добрый вечер, гага¹.—И, вытащив платок, вытер свое худое, с выступающими скулами, потное лицо.

— Добрый вечер, Сафар,—ответил Мамедага, еще не пришедший в себя от своих недавних мыслей. Снова перемахнув через стойку, он сел на деревянную скамейку, покрытую маленькой подушечкой, верх которой был искусно сшит Сакиной-хала из лоскутков,—эта подушечка была для Мамедаги самой дорогой вещицей во всем фургоне.

— Да какой же я Сафар, а?... Зовут-то меня Сафар², а я только раз в жизни совершил путешествие, спустился вон с тех гор сюда—и все!—Сафар поднял руку над головой, как бы показывая те самые горы, которые можно увидеть, выйдя из фургона.

Прошло уже тридцать лет с тех пор, как милиционер Сафар расстался с горами Лачина. Но тоска по этим местам ни во сне, ни наяву не покидала его, каждый год собирался он поехать туда, но каждый раз что-нибудь да мешало. Конечно, если бы его жене Зибейде захотелось, то он бы сейчас гулял не здесь, а там!

...В квартале, где жил Мамедага, тоже были такие «путешественники». Это были люди, приехавшие в Баку из районов, одни из них получали от государства освободившиеся квартиры, другие покупали себе дома. Приезжие ни с кем не сближались и, как правило, чувствовали себя чужими в квартале, а квартал не забывал тех, кто жил в этих домах прежде. Старые жители получали квартиры в новых домах, они переезжали, но какое-то время поддерживали связь с кварталом, и хотя постепенно все связи прерывались, все-таки квартал держал их в своей памяти. Это было похоже на историю со старыми и новыми деньгами: в обиход уже вошли

¹ Гага — разговорное «браток».

² Сафар — путешественник.

новые, но если нужно было подсчитать особенно тщательно, люди невольно переходили на старые.

Приезжих называли по местности, из которой они прибыли: карабахские, гянджинские, шемаханские; любопытно, что приезжие между собой тоже не очень-то сближались, словно между ними проходили невидимые границы их районов.

Агабаджи поселилась в квартале с незапамятных времен, а после того, как Абдул бросил ее с детьми, она работала кассиршей в Желтой бане. Теперь Агабаджи возмущалась:

— Видели вы этих карабахских? Везери¹ они не едят... Говорят, эта трава не для людей... Тоже мне, умники нашлись!

Жена ювелира Алашрафа Зибя вторила ей:

— Конечно, нашла о чем говорить, цену золоту знает только ювелир! Правду говорят, откуда ишаку знает, что такое плов с шафраном?..

— Э-э, ей-богу, ну не понимаю я этих бакинских!.. Каждый день с утра до вечера варят кюфта-бозбаш². Утром, только проснешься, уже слышишь: «тук-тук» — это они на доске рубят мясо, ночью ложись спать — и опять «тук-тук», опять мясо рубят!

Это уже рассуждает Аллахверди, который продал дом в Барде, переселился со всей семьей в Баку и теперь учится на курсах водителей трамвая.

А окончивший еще до революции Харьковский университет преподаватель русского языка Алхасбек, глядя поверх очков со стеклами плюс восемь, говорил:

— Сынок, что это за слова такие: «карабахские», «бакинские»? Что за «чушки» и «хамшари»? Как же стыдно! Зачем вы друг другу ярлыки приклеиваете, зачем проявляете друг к другу такое неуважение?..

Конечно, милиционер Сафар не знал, о чем сейчас вспомнил Мамедага, но, вытерев пот с лица и обмахиваясь уже мокрым платком, он сказал, обращаясь к Мамедаге:

— Гага, у одного человека спросили: откуда ты? Он ответил: «Я еще не женат». Это верно, но проклятые горы никак не выходят из головы! Не выходят из голозы, и все тут!.. Попасть бы туда сейчас, гага! Надо только надеть шерстяной джемпер, а пиджак застегнуть, не то зуб иа зуб не попадет от холода, да еще крепкого чаю выпить цвета петушиного гребешка, чтобы сразу и тело согрелось и душа насладились.

Когда разговор дошел до чая, милиционер Сафар совсем расстроился:

— Здешний чай — разве чай!.. Сколько ни сыпь заварки, каким способом его ни заваривай, все равно того вкуса не получится... А знаешь, отчего это, гага? От воды! Вода, которая из-под скал, — это совсем другое дело, гага!

Милиционер Сафар снял фуражку и вытер свою давно полысевшую голову. Солнце до черноты опалило его лицо, но часть головы, постоянно закрытая фуражкой, осталась белой, она была похожа на большую белую пиалу, которую перевернули вверх дном и надели ему на голову.

— Клянусь тобой, гага, этого чая я бы выпил сейчас стаканов двадцать — и не скажу, чтобы напился... Хорошо бы самовар поставить и чтобы на нем чайник мурлыкал!..

Милиционер Сафар, очевидно, страдал от того, что не может сию же минуту выпить настоящего

на горючей воде чаю цвета петушиного гребешка. Мамедагу же чай в данный момент интересовал меньше всего на свете, он все еще находился во власти своих тоскливых мыслей и не мог понять, что с ним происходит, откуда эти мысли: быть может, он уже начинает чувствовать бремя своих лет? Неужели возраст дает о себе знать?.. Он перевел взгляд с белой головы милиционера Сафара на деревянного зайца, лису, медведя и неведомого зверя и почувствовал, как в нем просыпается прежнее желание, мечта, которую он носил в своем сердце уже два года, с которой колесил по дорогам Апшерона.

Два года назад в Баку на бульваре открылась выставка американских аттракционов, и с того самого дня, как Мамедага побывал на выставке, одна мечта не оставляла его: захотелось ему ездить по селам не с одним своим алюминиевым фургоном, но и возить с собой такой вот аттракцион, нечто вроде передвижного цирка. Пусть американским миллионерам все эти разноцветные игрушки и машины нужны лишь для того, чтобы убить время, для детей и подростков Апшерона это было бы праздником, каждую неделю в очередное село приезжал бы этот праздник, так думал Мамедага, и вдруг именно теперь ему показалось, что если бы у него был такой аттракцион, он не только не затосковал бы, у него не было бы времени и в затылке почесать!

Милиционер Сафар наконец надел на голову фуражку:

— Вот так-то, гага, — сказал он, — зовут меня Сафар, а путешествовал я лишь раз в жизни...

И тут же он вспомнил, что сегодня утром, когда он во дворе зубным порошком доводил до блеска свои форменные пуговицы, его жена Зибейда на что-то разозлилась и сказала, что он не Сафар, а сафах³. Почему Зибейда разозлилась, этого милиционер Сафар вспомнить не мог и улыбнулся: он привык к выходкам Зибейды и уже давно на нее не сердился. Потом Сафар вспомнил, что Зибейда вышла из себя, кажется, из-за Начальника, — и тут милиционер Сафар явно расстроился; шлепнув севшего ему на плечо комара и почистив рубашку, он сказал:

— Правильно говорят: где твоя цель, туда и путь твой. — Посмотрел на Мамедагу и улыбнулся. — Ты еще молод, чтобы понимать такие вещи.

Конечно, Мамедага не знал, о чем подумал милиционер Сафар, но зато он хорошо знал, что этот худой долговязый человек никогда больше не увидит своих гор и никогда больше не выпьет чаю цвета петушиного гребешка, заваренного на горной воде. Неизвестно, почему Мамедага так решил, должно быть, весь вид милиционера Сафара говорил сам за себя.

Мамедага не знал и того, что у милиционера Сафара два начальника: один, естественно, в отделении, а другой — дома. Дело в том, что у милиционера Сафара было шесть дочерей и один сын, сын был последним ребенком в семье, и, когда он родился, Сафар и Зибейда впервые в жизни договорились: назвали ребенка Начальником. Дети, конечно, смеялись потом над именем их сына, и тот приходил домой в слезах: зачем только его так назвали! Зибейда обвиняла теперь во всем милиционера Сафара, хотя когда-то и сама была довольна. Вот отчего и поселилась грусть в сердце милиционера Сафара: он понял, что Зибейда хотела

¹ Везери — вид съедобной зелени.

² Кюфта-бозбаш — суп с фрикадельками.

³ Сафах — искаженное «сафех» — олух, глупый.

назвать своего мальчика этим именем, потому что знала — муж ее никогда не будет начальником.

Милиционер Сафар не переживал и теперь, что дал ребенку такое имя, во-первых, потому, что не имя красит человека, а человек красит имя; во-вторых, ведь это не какое-нибудь ругательное слово! Чтобы оправдать свое имя, Начальник должен был бы постараться хорошо учиться, но все было наоборот — вот это действительно расстраивало милиционера Сафара и, кстати, было причиной его прихода в этот вечерний час к фургону.

Милиционер Сафар снова снял фуражку, вытер мокрым платком белую голову, потом длинными черными пальцами вытащил из старого портсигара сигарету «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— На свет летят, э, гага, эти сукины дети комары на свет летят. Я сейчас ухажу, а ты погаси свет.

Мамедага посмотрел на электрическую лампу, висевшую в центре фургона. Двухсотваттная лампа, которую Мамедага протирал чуть ли не ежедневно, так ярко освещала фургон, что казалось, будто свет не помещается в небольшое помещение тира. Мамедага вдруг ощутил всю тесноту своего фургона, сердце у него сжалось, и он принял категорическое решение завтра же поднять вопрос в управлении об аттракционе. Если понадобится, он пойдет к Наджафу и вообще начнет действовать!

Раньше Наджаф жил в одном квартале с Мамедагой, он был старше его всего на четыре года, но работал уже заместителем министра. Кто бы из квартала ни приходил к Наджафу с просьбой, он делал все, что было в его силах. Воспоминание о Наджафе немного рассеяло Мамедагу, он заметил пустую кобуру милиционера Сафара — милиционер Сафар каждый день перед выходом из дома на работу заворачивал в газету свой завтрак, хлеб с сыром, и клал в кобуру. Мамедага подвинул ему по стойке ружье и предложил:

— Если хочешь, стреляй.

Милиционер Сафар шлепнул комара, севшего теперь ему на шею, обтерся мокрым платком, сказал:

— Нет, гага, большое спасибо. Я не люблю бить и стрелять. Мое правило — решать все вопросы мирно, спокойно... Знаешь, гага, зачем я к тебе пришел?

Милиционер Сафар наконец решил перейти к самой сути.

— Не пускай ты сюда моего сына! Как придет — гони его!

— Он что, тайком брал у тебя деньги на тир?

— Да нет, скажешь тоже... Разве станет мой сын воровать? Неужели ты его не знаешь?

— Нет.

— Вот потому и говоришь так... Дело в другом, гага. Позавчера я спрашиваю его: ты уже взрослый парень, перешел в восьмой класс, должен знать, кем хочешь стать? А он отвечает: я знаю. Так кем же ты будешь? Он и говорит: у меня будет фургон, и я буду по селам возить тир...

Мамедага посмотрел на горестное лицо Сафара, на его промокшую от пота рубашку со сверкающими металлическими пуговицами, встал, перемахнул через стойку и, подойдя к двери фургона, взглянул на огни села. Ему показалось странным, что рано утром он уже уедет отсюда и не скоро еще придет снова, а какой-то совсем другой человек завтра же, купаясь в море, будет представлять в своем восприятии сверкающий под солнцем алюминиевый фургон и в мечтах будет считать

его своим, будет гордиться им... Огни села вдруг показались ему близкими, они согрели душу, и он подумал, что в каждом селе Апшерона, когда гаснут огни, кто-то еще не спит и у кого-то перед глазами стоит серебристый фургон, тот самый, с которым ездит он, Мамедага. Он поднял голову и посмотрел на небо. Красное облако растаяло, нигде уже не было видно его отсвета, ни в море, ни на горизонте.

Взошла луна, зажглись звезды, слабый норд всплескивал на берег волны, их гребешки отливала в лунном свете молочной белизной, той молочной белизной, которая словно бы воплощала в себе всю чистоту этой удивительной летней ночи. Мамедага совсем уже не мог теперь понять — отчего это минут десять назад ему было так тоскливо? Если есть на свете вот такая молочная белизна, то о чем можно тосковать и о чем может болеть сердце?

Милиционер Сафар никогда никого не обижал — что может быть хуже обиды? Но теперь, глядя в спину Мамедаги, на его темные волосы, на широкие плечи парня, мускулистые руки, он подумал, что сказал что-то не совсем то, чем-то задел этого парня. Но ведь и парень со своей стороны должен его понять! Милиционер Сафар аккуратно сложил мокрый платок, спрятал его в карман, достал из старого портсигара черными пальцами еще одну сигарету «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— Знаешь, гага, ты зря обижаешься. Что я сказал? Ничего плохого... Я просто хочу, чтобы мой единственный сын хорошо учился, вырос, стал большим человеком.

...Приезжая в Баку, Мамедага ставил фургон у своего дома колесами на тротуар, и тут же со всего квартала сбегались к нему ребятишки. И никто из них не подозревал, что в свое время и Мамедага так же вот прыгал перед машинами, останавливающимися в квартале, хотя машины эти, полторки и «виллисы», по сравнению с его алюминиевым фургоном были все равно, что старый барабан рядом с новым. Первым делом Мамедага шел в Желтую баню, где сначала заходил к терщику Джабару. Натеревшись как следует, он дедался в парную, там парился в свое удовольствие, а выйдя из бани, выпивал кружку холодного пива в будке Асадиллы. Дома надевал чистую рубашку, новый костюм, повязывал галстук и шел на улицу к тутовому дереву, что растет в начале тупика. Там к нему подходили товарищи, соседи по кварталу, здоровались, спрашивали, как дела, рассказывали Мамедаге все новости: кто обручен, какую девушку согласились выдать замуж, кто поменял работу, кто поругался с соседями, кто с кем помирился и кто на кого обиделся. Но о главных новостях он узнавал еще дома. Когда его приглашали на свадьбу, то приглашенный билет вручали Сакине-хала. Мамедага всегда старался так распределить свое рабочее время, чтобы суметь прийти на свадьбу, иначе тут же начинались пересуды, чего Мамедага крайне не любил. Когда же все-таки прийти не было совсем никакой возможности, он заранее приносил свой подарок и поздравления. Оставаясь в Баку каждое воскресенье, он то ходил на поминки и выражал соболезнование, то приносил извинения. В квартале все любили Мамедагу, а молодые его уважали. Мнение квартала было единодушным: «Мамедага — настоящий мужчина!»

Сакина-хала тоже была довольна своим сыном. В прошлом году Мамедага по-шахски выдал замуж свою сестру. Теперь у Солмаз были хороший дом, семья, да и в мужа добрый человек попался.

И все-таки Мамедага вызывал постоянное беспокойство у Сакины-хала. Во-первых, Сакина-хала волновалась за сына, когда он бывал в отъезде, а во-вторых, время шло, а Мамедага никак не женился. Сакина-хала прочила ему лучших девушек квартала, но Мамедага не только думать, но и разговаривать об этом не хотел. Сакина-хала знала, что, если сын скажет «да», она приведет ему в жены самую достойную девушку квартала из самой почитаемой семьи. Даже их сосед, управдом Керим, несколько раз намекал, что зря, дескать, Мамедага ходит холостым. А у управдома Керима дочка — украшение всего квартала, днем она работает в библиотеке, вечером учится в институте...

В эту удивительную летнюю ночь Мамедага вдруг вспомнил свой квартал, дом, тутовое дерево перед узким тупиком, и почему-то ему показалось, что его отделяют от дома не два часа езды, а долгие дни дороги, ему показалось, что квартал его и снежные горы милиционера Сафара очень-очень далеки от песчаного морского берега Загульбы. И, обращаясь к Сафару, который давно уже раскаивался в сказанном и, прислонившись к стойке, стоял, смущенно обмахиваясь фуражкой, Мамедага спросил:

— Так ты говоришь, хорошо сейчас в горах?

Лицо Сафара просияло: так просто и легко было исчерпано это тягостное недоразумение между ними. Он с радостью воскликнул:

— Клянусь тобой, гага, там сейчас такая красотища! Ну просто слов нет!..

Помолчав немного, он сказал совсем иным, будничным и служебным голосом:

— Кажется, к тебе клиенты идут.

И привычным движением руки надел фуражку на голову. Всмотриваясь через дверь в людей, подходивших к фургону, милиционер Сафар явно помрачнел:

— Паршивец такой, опять, кажется, напился...

И тотчас в фургон поднялись двое — толстый и худой, распространяя вокруг себя резкий запах спиртного.

Увидев перед собой толстого парня, Мамедага сразу же узнал его. А Мирзоппа, косо взглянув в сторону милиционера Сафара, равнодушно посмотрел на Мамедагу, на деревянного зайца, лису, медведя, льва, неведомого зверя и вдруг рассмеялся:

— Шикарно живете!

Он вытащил из кармана мятую пятерку и шлепнул ею по стойке:

— Пятьдесят пуль! Стреляем до утра!

Приятель толстого, худой парень, проголосовал обеими руками за это предложение:

— Постреляем!

Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа его не узнал, но было важно сейчас не это, а то, что Мирзоппа пьян. Будь на месте Мирзоппы даже родной брат Мамедаги, он и ему не позволил бы стрелять в пьяном виде.

Прищуриив набухшие веки, Мирзоппа посмотрел на деревянного зайца и громко рассмеялся:

— Да здесь и вправду шикарно! И чего мы до сих пор сюда не заходили?

Мирзоппа взглянул на худого, и худой снова поднял обе руки вверх и снова ответил кратко:

— Постреляем!

— Дай-ка нам, брат, ружье, но чтоб оно стреляло без обмана! — сказал Мамедаге Мирзоппа.

И, конечно, в другое время сказавший такие слова Мамедаге вылетел бы из тира, как пуля со щеточкой вылетает из ружья. Но Мамедага умел

держаться в руках, когда надо пропустить мимо ушей обидное слово. И сейчас, глядя прямо в жирные глазки Мирзоппы, он спокойно ответил:

— Постреляете в другой раз. Я уже закрыл тир.

— Что это он сказал? — Мирзоппа взглянул на худого, мол, что за глупости мы слушаем! — Давай живее ружья и пули!

Худой был в состоянии только еще раз поднять руки и крикнуть:

— Постреляем!

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар.

— А ты заткнись! — бросил Мирзоппа милиционеру Сафару и провел рукой по горлу. — Я тобой сыт во как! Куда ни пойду, всюду прешься за мной. Отвяжись!

Милиционер Сафар фуражкой отмахивался от запаха водки, заполнившего фургон.

— Эх, Мирзоппа, не желаешь ты быть человеком! — сказал он. — На ногах ведь не стоишь, где уж тебе стрелять.

Мирзоппа достал из кармана еще одну мятую пятирублевку и шваркнул ею о стойку:

— Деньги плачу! Сто пуль давай!

Худой снова стал размахивать руками и выкрикивать свое:

— Постреляем!

— Не постреляете, — повторил милиционер Сафар.

Мирзоппа почесал свою жирную волосатую грудь, выпирающую из расстегнутой рубашки, и хмуро пробурчал:

— Разве я не сказал тебе — отвяжись? Чего тебе надо, а? Денег не хватает — могу дать!

Удивительное свойство Мирзоппы — сказать самое обидное для человека. От злости милиционер Сафар даже охрип:

— Я за всю свою жизнь не съел и крошки хлеба, добытого нечестным путем! За всю жизнь я ни разу даже краешком глаза не заглядывал в чужой карман. Я всегда был честным, жил по правде и буду так жить всегда.

Мирзоппа с ненавистью смерил милиционера Сафара с ног до головы:

— То-то ты так и живешь!

Милиционер Сафар, надев фуражку, подошел к Мирзоппе вплотную.

— Как я живу, ну? Как живу?!

Мирзоппа, не отвечая ему, обернулся к Мамедаге:

— Быстро! Каждому ружье и сто пуль!

Мамедага никогда не предполагал, что однажды, да еще в такую удивительную летнюю ночь, он снова встретится с Мирзоппой. Сейчас ему казалось, что он совершенно забыл о Мирзоппе, и если бы не увидел его теперь, может быть, никогда бы и не вспомнил. Мамедага молча глядел на толстого парня.

— Ну, в чем дело, а? — Прищуриив один глаз, Мирзоппа внимательно осмотрел Мамедагу и узнал его. — Ты не Мамедага?

— Мамедага...

...Отец Мирзоппы Алиабас-киши был кирпичик, и всю их семью называли кирпичиками. Большой котел для варки кира стоял на улице перед домом, где жил Мирзоппа, и до наступления осени котел медленно передвигался от дома к дому вдоль квартала: Алиабас-киши заливал крыши всех домов киром. И если почему-либо большого котла нигде не было видно, то всем казалось, будто в квартале чего-то не хватало, что-то было явно не так.

Мирзоппа вечно был окружен ребяташками, младше его на несколько лет, и они, конечно, ему

повиновались. Никто, впрочем, не знал точно, сколько Мирзоппе лет, и ребят дома иногда страшили:

— Видишь, Мирзоппа курит папиросы, потому и не растет. Кто курит, тот обязательно будет таким же толстым, как Мирзоппа, и не будет расти. Таким он останется до самой смерти!

Никто из ребят не хотел быть похожим на Мирзоппу: многие его боялись, но не было таких, которыми бы он нравился. Он первым среди ребят закурил и первым заговорил о женщинах.

Семья Мирзоппы жила в нижней части квартала, рядом с маленьким летним кинотеатром. Как-то летом в этом кинотеатре три месяца подряд ежедневно крутили фильм о Тарзане. Проснувшись утром, ребята тут же бежали в очередь за билетами. Перед кинотеатром появилась толпа спекулянтов. И в то лето некоторые особо энергичные из них, спекулируя билетами, набрали денег на «Победу». А у ребят не всегда хватало на билет, и они лезли на крышу дома Мирзоппы, чтобы посмотреть кино оттуда, и за это Мирзоппа собирал с них по двадцать копеек с каждого.

Мирзоппа разговаривал резко, готов был на любую пакость, заставлял ребят прислуживать себе, а сам прислуживал взрослым. Мамедагу он не любил, потому что хотел, да не мог послать его ни за папиросами, ни за дровами для разжигания огня под котлом. Раз два в укромном месте Мирзоппа дрался с ним — ни тот, ни другой по-настоящему не победили, только Мирзоппа все равно ходил как победитель и вел себя как победитель.

Но однажды все переменялось.

В тот день Мирзоппа, сидя на тротуаре перед своим домом, ел селедку с черным хлебом и тихо-тихо напевал про себя:

**И «Победе» я не рад,
У Тарзана горе,
Джейн обрезала канат,
Я с ней в ссоре.**

Мамедага, купив в керосиновой лавке керосину, нес его домой и, проходя мимо Мирзоппы, не удержавшись, остановился.

В те годы в доме Мамедаги часто бывали шекербура, пахлава, шекерчурек¹. Сакина-хала работала на кондитерской фабрике, где раз в два-три дня им выделяли сладкий паек, зато других продуктов в доме почти не было, а селедкой вообще никогда и не пахло — Сакина-хала не любила запаха селедки.

Конечно, Мирзоппа сразу смекнул, что у Мамедаги слюнки потекут при виде селедки, — Мирзоппа потому и был Мирзоппой, что знал, чем и в какой момент раздражить человека.

— Мировая селедка! — Мирзоппа, причмокивая, сосал рыбий хвост. — Хочешь?

Мамедага понимал, что Мирзоппа так просто никогда не уговаривает, но не удержался и сказал:

— Да, хочу.

— Деньги с собой есть?

Когда Мамедага покупал керосин, ему дали сдачу, и эта мелочь лежала сейчас в нагрудном кармане трикотажной рубашки Мамедаги, но в то время каждая копейка в их доме была на счету, и он не решился отдать эту мелочь Мирзоппе.

— Ну, есть деньги?

— Нет.

— Тогда держи! — Мирзоппа просунул вымазанный жирной селедкой палец между двумя другими пальцами и показал Мамедаге кукиш, продолжая причмокивать и сосать хвост. Однако тотчас он придумал иное:

— Принеси из дому шекербуру, поменяемся. Только чтобы хорошую, а сверху миндаль. И побольше!

Конфеты, шоколад, шекербура, пахлава, шекерчурек считались в квартале самым большим лакомством, но, ясное дело, в те годы эти сладости были редкостью. У кого бывала возможность, пекли к Новруз-байраму¹ шекербуру и пахлаву. Понятно, что домашние шекербура и пахлава получались вкуснее фабричных, но, когда сладости появлялись на столе, никто уже не обращал внимания, дома они готовились или на фабрике.

Мамедага вынес из дому шекербуру, а Мирзоппа, который ждал его перед Узким тупиком, взяв шекербуру в руки, оглядел ее со всех сторон, как ювелир Алашраф разглядывает золото, и Мамедага подумал, что Мирзоппа сейчас что-нибудь выдумает, но шекербура все-таки соблазнила Мирзоппу, и он ограничился тем, что сделал вид, будто это с его стороны большое одолжение:

— Ну ладно, для тебя разве... Держи!

Мамедага взял селедку и кусок черного хлеба и тут же все съел, а Мирзоппа ушел домой.

Прошло два дня, и на третий вечером Мирзоппа сам пришел в Узкий тупик и показал Мамедаге зажатый в руке кусок черного хлеба с селедкой:

— Шекербуру принесешь?

— Нет, не хочу.

— Не хочешь? Селедки ие хочешь? — Глаза у Мирзоппы чуть не вылезли на его жирный лоб. — Ах, так, значит!

В тот же вечер Мирзоппа собрал вокруг себя под туювым деревом ребят со всего квартала и начал:

— Ей-богу, не вру, здорово я тут поразвлекся — надул этого маменькиного сынка. Он приносил мне шикарную шекербуру, притом сверху миндаль, а я совал ему старую селедку с черным хлебом. Хлеб я приносил из хлева в Ясамале², где его бросают баранам Гаджибалы. А шекербуру я поел в свое удовольствие!

Мирзоппа выразительно рассказывал, ребята охотно смеялись, а Мамедага в жизни еще так не краснел: ясное дело, Мирзоппа приносил хлеб вовсе не из сарая в Ясамалах и селедка была свежая, он все выдумал, но рассказывал эту ложь с удовольствием и Мамедагу выставил растаяпой.

Прошло несколько дней.

Однажды, когда Мамедага возвращался из школы, Мирзоппа вновь стоял перед Узким тупиком, и Мамедаге показалось, что Мирзоппа давно здесь стоит, чтобы не пропустить его. На мясистом лице Мирзоппы было то самое выражение, с каким он смотрел на тех, кто старше и сильнее его, если бывал виноват. Едва завидя Мамедагу, он, вроде бы смущаясь, сказал:

— А, кореш, из школы идешь? — И тут же перешел на свой обычный тон свысока. — Ну ладно, подумаешь, что случилось, а? Ну, пошутил я, ты что, совсем наивный, шуток не понимаешь? Брось... — Мирзоппа слегка запнулся и добавил, снова вроде бы немного смущаясь: — Послушай... Ми-

¹ Шекербура, пахлава, шекерчурек — печеные сладости.

¹ Новруз-байрам — Новый год, празднуемый мусульманами-шиитами.

² Ясамал — отдаленный район Баку.

ровая селедка есть, клянусь жизнью, высший класс! Хочешь?

— На, держи! — На этот раз Мамедага соорудил кукиш из пальцев, вымазанных чернилами, и ткнул им Мирзоппе прямо в лицо.

Мирзоппа страшно рассвирепел:

— Эй-богу, жалко, отец мой дома, а то бы я тебе врезал! — сказал он и ушел.

Был полдень, и Сакина-хала, придя с работы на перерыв, чистенько вымела двор мокрым веником. Во дворе, как всегда после этого, стало прохладнее. Мамедага, сидя на большом камне у дверей, наматывал нитки десятого номера на катушку только что изготовленного воздушного змея. И тут раздался погубевший, уже совсем как у мужчины, голос Мирзоппы:

— Мамедага!

Мамедага кинул катушку за ворот бумазейной рубашки и вышел к воротам.

— Ну чего?

— Слушай, Мамедага, клянусь жизнью, отец привез шикарную кильку, на банке написано «экстра», а купил он ее в продмаге перед музеем Низами. Принеси только шекербуру, можно и без миндала. Принесешь?

Не отвечая ни слова, Мамедага ушел домой. Взяв одну шекербуру, он вернулся к Мирзоппе, отдал ему шекербуру, а тот, отрезав ломоть черного хлеба и положив кильки, вручил все это Мамедаге.

Мирзоппа круто повернулся, закрыв за собой ворота. И в тот момент Мамедага показалось странным, что Мирзоппа не стал есть шекербуру тут же, на месте. Мамедага, взобравшись по столбу, попал на крышу одноэтажного здания. Спрятавшись за кирпичную трубу, он глянул в сторону двора Мирзоппы.

Около крана во дворе, на перевернутом ведре сидел Дуду, и Мамедага удивился про себя, как это ведро выдерживает тяжесть такой туши. А перед Дуду стоял Мирзоппа и подносил шекербуру прямо ко рту юродивого брата. Дуду, откусив кусочек, пережевывал и проглатывал его так медленно и величественно, как огромная грузовая машина идет на первой скорости по асфальту — и пусть другие машины одна за другой обгоняют ее, она не обращает на них внимания и движется, словно черепаха.

Никто из ребят в квартале не знал настоящего имени Дуду; все называли просто Дуду. Дуду был чрезмерно толст, но и голова у него тоже была большая. Ему всегда надевали очень широкие сатиновые шаровары, чтобы не растереть до крови ляжки, к тому же брюк на его фигуру просто не было. У Дуду всегда тряслась голова, изо рта всегда текла слюна. Дуду не умел разговаривать, и когда он хотел сказать слово, то издавал какие-то странные звуки. Дуду никогда не подходил к ребятам, а, изредка выходя на улицу, останавливался у дворовых ворот и смеялся сам с собой. Дуду было тринадцать лет, он был всего на полтора года младше Мамедаги, но в школе он не учился.

Отец Дуду приходился Мирзоппе дядей, он погиб на войне, а мать Дуду за дурные дела (говорили, что среди ночи приходили мужчины из других кварталов целоваться с ней под тутовым деревом) отец Мирзоппы, Алиаббас-киши, выгнал из дому. Дуду остался один в их семье.

Вкладывая шекербуру прямо в рот Дуду, Мирзоппа говорил брату:

— Ешь, ешь! Завтра опять принесу. И сверху миндаль будет. И конфеты куплю. Завтра кино, мировое, ребята придут на крышу, будут кино смот-

реть, а я с них деньги соберу и конфеты тебе куплю.

А через некоторое время кирщики и вовсе уехали из города. Алиаббас-киши говорил аксакалам квартала:

— Лет через шесть-семь в Баку не останется домов, где надо заливать крыши киром. Старые сносят, а новые строят в пять, семь этажей, через некоторое время в девять-десять будут строить. И все с кровлей. Лучше мне уже сейчас переселиться в одно из сел. На Апшероне у всех домов крыши кировые, в какое село ни поеду, без дела не останусь.

И с тех пор большой котел для варки кира не показывался в квартале, где жил Мамедага, и все постепенно к этому привыкли, никому уже не казалось, будто без котла что-то не на месте или чего-то не хватает на улице.

А было это лет пятнадцать-шестнадцать назад. И вспомнил Мамедага свое детство сегодня благодаря этому непонятно-удивительному вечеру, да еще и из-за Мирзоппы. Разглядывая в ярком свете фургона располневшее лицо Мирзоппы, Мамедага вдруг почувствовал тепло детских воспоминаний, тепло и печаль вошли в сердце Мамедаги. Его настроение никак не вязалось с самодовольным смехом нагло смотревшего на него Мирзоппы.

Худой парень, подняв руки, опять выдал свое:

— Постреляем!

Милиционер Сафар, поглядев на худого парня, подумал, что в голове этого болвана, кроме слова «постреляем», нет ничего, он жаждет ружья, жаждет пули. Такие вот и проливают понапрасну кровь, свою и чужую, и хотя их собственная особа копейки не стоит, но детей они оставляют сиротами, а женщин — безутешными.

Мирзоппа, все так же самодовольно улыбаясь, оглядел Мамедагу с ног до головы.

— Неплохо выглядишь, — сказал он. — Ну, ладно, неужели своему старому другу по кварталу ты не дашь пострелять?

Самодовольная, самоуверенная повадка Мирзоппы была отвратительна, она была точно рассчитана на унижение окружающих, но Мамедага не подал вида, а про себя даже искренне пожалел, что Мирзоппа так много выпил в этот вечер. Если бы он не был пьян, конечно, Мамедага хоть до утра разрешил бы ему стрелять. И денег бы с него не взял. Правда, Мамедага всегда считал, что щедрым надо быть за свой счет, а не за счет государства, но сейчас вообще об этом не стоило и думать, потому что Мирзоппа с трудом держался на ногах, а парень рядом с ним был ни на что не способен, кроме как поднимать руки и твердить одно и то же слово. Дело было не в том, что пуля Мирзоппы могла попасть в кого-нибудь, хотя в тирах такие случаи бывали (у работавшего в Баку в тире на улице Мирза Фатали одноглазого Исрафила глаз выбила пуля такого вот пьяного); нет, дело было в том, что в инструкции черным по белому запрещалось стрелять в тире людям в нетрезвом состоянии, а Мамедага не хотел поступать так, чтобы быть вынужденным опускать глаза хотя бы и перед инструкцией.

— В другой раз, — ответил Мамедага.

— Слушай, чего это ты со мной всю дорогу не ладишь?! — вроде бы спросил Мирзоппа, но в его грубом голосе была откровенная угроза.

— Постреляем! — ну, это, ясное дело, сказал худой парень и поднял руки вверх.

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар, снова доставший из кармана мокрый платок.



— А ты не лай! — Мирзоппа вытаращил на милиционера Сафара свои пьяные глаза.

И милиционер Сафар вздрогнул — он услышал стон своего сердца: о, сын гор, до чего же ты дошел, что какой-то щенок говорит с тобой на собачьем языке! Сунув в карман мокрый платок, он схватил Мирзоппу за руку:

— Пошли в отделение!
Мирзоппа выдернул руку.

— Отстань от меня!

— Пойдем!

— Сказал тебе, отстань!

— Пошли, и все!

Милиционер Сафар снова попытался схватить Мирзоппу за руку, но тут зазвенела пощечина, и на сухом смуглом лице милиционера Сафара остались белые следы толстых пальцев Мирзоппы.

Это было совершенно неожиданно. Первым пришел в себя худой парень — с удивлением взглянув на Мирзоппу и милиционера Сафара, он ударил себя рукой по кепке-«аэродром» и, в мгновение ока выскочив из фургона, исчез в темноте ночи.

— Ах ты... на представителя власти руку поднимаешь?!

Звук пощечины и торопливое бегство киномеханика Агагюля (того самого худого парня) отрезвили Мирзоппу и, взглянув на поднимавшийся и опускающийся большой кадык разъяренного милиционера Сафара, он понял, что дела его плохи.

Милиционер Сафар схватил его за грудки:

— Иди впереди меня!

И Мирзоппа уже не вырывался из рук милиционера Сафара, только язык свой сдерживать он не мог:

— Ну, идем, идем! Куда хочешь идем. Тебя никто не боится. Один раз звякну Наджафу, он твои погони снимет! Увидишь!

— Меньше болтай, иди! — Милиционер Сафар сказал эти слова так грозно, что Мирзоппе стало ясно: если он еще издаст хоть звук, этот крестьянский сын подомнет его под себя, как медведя; поняв это, он замолчал и пошел из фургона вниз по лестнице.

Мамедага вышел вместе с ними, но милиционер Сафар, повернув к Мамедаге свое словно бы еще больше потемневшее лицо, сказал:

— Ты не ходи, гага! Сафар его из рук не выпустит. Таких много перевидал Сафар!

Мирзоппа, громко прочистив горло, резко сплюнул на песок, но сказал без прежней наглости:

— Ладно, из отделения позвоню Наджафу, тогда увидишь!

Мамедага постоял перед фургоном, глядя на удаляющихся в лунном свете милиционера Сафара и Мирзоппу, а потом, взрыхляя носами туфель мелкий береговой песок Загульбы, медленно побрел в сторону моря.

Весь берег совершенно пуст, и казалось, будто в этих местах никогда и не было никого, будто море здесь всегда одиноко и берег всегда один на один с морем. Эта пустота сделала море еще более огромным и бескрайним, но таким же огромным и бескрайним казалось теперь одиночество моря, и это стало еще одной печалью в эту летнюю ночь; море не гудело глухо, как обычно, море журчало, как будто река или даже ручеек. Текущие с гор милиционера Сафара реки тоже журчат, и им невдомек, что оставивший им свое сердце милиционер Сафар этой ночью на краю села под названием Загульба, на Апшероне, на берегу моря, в тире парня по имени Мамедага получил незаслуженную, совершенно незаслуженную пощечину!

Может быть, это горькое унижение и сделало ночь грустной, а море таким одиноким? Мамедага посмотрел на начинающиеся сразу за песчаным берегом загульбинские скалы — и монолитные скалы в лунном свете показались ему более внушительными, чем обычно. Мамедага подумал, что придет время, эта пощечина забудется, дурное эхо ее звона в этих местах совершенно изгладится, придет и такое время, когда на свете не станет ни Мамедаги, ни милиционера Сафара, ни Мирзоппы, но эти скалы будут все так же мерцать в лунном свете. Мамедага понимал, что это не очень-то и глубокая мысль, все ясно и так — на свет приходили мамедаги, уходили мамедаги, и всегда так будет, но вот в чем дело: раз уж на свете есть такие монолитные скалы и они так внушительны, есть такие огромные моря, луна и звезды, которые вечны, а жизнь, данная тебе, коротка, то ее надо прожить правильно, прожить чисто, соблюдая свое мужское достоинство, чтобы ночью, когда ты, ложась в постель и засыпая, вспоминаешь свой день, нечего было стыдиться. Если уж на свете есть милиционер Сафар, у которого есть сын, названный Начальником, и Сафар в жизни своей не съел куска, добытого нечестным путем, и помнит горы, с которых он пришел, потому что оставил там свое сердце, то на этом морском берегу, рядом с этими скалами и в этом лунном свете он не должен получать несправедливую пощечину!

Издали послышался шум электрички, идущей в Баку: железные колеса со стуком двигались по рельсам, и этот стук сейчас стал пульсом загульбинской ночи, этой безлюдной ночи — он бился в ней, и, вслушиваясь в этот ночной пульс, Мамедага подумал, что и жизнь — тоже нечто вроде поезда, который доводит тебя до остановки, выпускает, берет взамен другого и возвращается обратно, и, ссадив другого в другой точке, берет нового, едет — возвращается, едет — возвращается, и раз у этого пути есть начало и есть конец, раз поезд не сойдет с рельс и не нарушит расписания, то положи перед собой папаху и подумай, будь на этом пути человеком, живи как мужчина и как мужчина умри.

Потихоньку дул норд и потихоньку приносил в эту ночь прохладу; комары исчезли, и Мамедага подумал, что и комары — часть природы, и ветер — часть природы, но ветер — враг комаров, и вообще этот мир так устроен, что у каждого зла, у каждой подлости есть свой враг; конечно, и эта мысль не была столь уж глубокой мыслью, но за ней пришла догадка, что, может быть, эту ночь сделало удивительной как раз то, что Мамедаге впервые захотелось пофилософствовать?

Появился какой-то новый звук, и около своего алюминиевого фургона, отсвечивавшего серебром в лунном свете, Мамедага увидел чью-то тень. Кто-то ходил туда-сюда вокруг фургона и звал его:

— Э-эй!.. Э-эй!..

Кричала женщина, но Мамедага не мог понять — почему это среди ночи женщина должна бродить около фургона? Он, не отвечая, пошел ей навстречу.

— Эй!.. Э-эй!..

Когда Мамедага подошел к фургону, девушка лет восемнадцати-девятнадцати буквально расстреляла его свирепым, но опять-таки непонятным набором бранных слов:

— Людей в тюрьму сажаешь, а сам гуляешь по берегу моря?.. Отдыхаешь, да? Дышишь свежим воздухом? Люди для тебя не люди? Чего ты лезешь к людям? Рысью прискакал сюда, чтобы людей сажать?

Разглядывая в электрическом свете, падающем из открытой двери фургона, округлое смуглое лицо, сверкающие большие черные глаза, ладную небольшую фигурку в желтой трикотажной кофте и синей юбке, Мамедага никак не мог понять, чего хочет от него эта разгневанная девушка и что она здесь делает.

— Погоди, ай баджи¹, что случилось? В чем дело?

— Какая я тебе сестра? Никакая я тебе не сестра! Посмотрите на него! Братец нашелся, а мы и не знали!.. Человека посадил, не был ему братом, а меня увидел — сразу ай баджи, сестрица!.. Хорош гусь!

Удивительная летняя ночь продолжалась, и поднятый этой смуглянкой шум показался Мамедаге смешным, он подумал, что, если так пойдет и дальше, эта девушка кинется на него и расцарапает ему лицо. Мамедага еще не понимал, что, в сущности, эту летнюю ночь сделал такой удивительной внезапный приход смуглой девушки, а все, что происходило раньше, было лишь предчувствием ее прихода — иногда и такое случается в жизни, но Мамедага не знал об этом, он действительно растерялся:

— Какие люди, кого я посадил?

— Люди — мой муж!.. Понял? Идем сейчас же, ты посадил его, ты и освободи!

— Ты говоришь о Мирзоппе?

Имя Мирзоппы как будто несколько остудило пыл разгневанной смуглянки, и она, все еще не отводя глаз от Мамедаги, сказала, словно извиняясь:

— Да. О ком же еще?

Мамедага понял, что девушка — жена Мирзоппы, но почему-то и это, как многое в эту ночь, показалось ему неожиданным и непонятным. Пройдя мимо так внезапно среди ночи появившейся девушки, он решительно поднялся в фургон.

— Я тут ни при чем, — сказал он.

И снова эта девушка, начавшая бурно и было сникшая, услышав его ответ и проводив его взглядом, уперла руки в бока и снизу вверх начала кидать в Мамедагу слова, как пули.

— Как то есть «ни при чем»? Сначала сажаешь, потом говоришь «я ни при чем»? Ну и гусь! Ты за кого нас считаешь? Мы тебе чушки какие-нибудь? Идем сейчас же, выпусти его! — Девушка тоже поднялась по ступеням и вошла в фургон.

Яркий свет фургона, выстроенные вдоль стены ружья, призы — бутылка шампанского, настольное зеркало, кукла-невеста, фотоаппарат; висящие на стене деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и еще некий, никому неведомый зверь — все это как бы несколько смутило девушку, и она, бегло оглядевшись, молча устремила на Мамедагу свои черные глаза: мол, идешь или нет?

— Я твоего мужа не сажал, ай баджи. Он и его товарищ пришли сюда пьяные...

Девушка быстро прервала его:

— Пусть провалится этот товарищ! Разве не товарищи сбили его с пути? — крикнула она, но, будто сама не веря в весомость своих слов, потише добавила: — Ну и что ж, что выпил? В Советском государстве нет такого закона, чтобы за выпивку людей сажать!

Понятно, что такие слова должны были разозлить Мамедагу, хотя девушка не подозревала об этом, — и он разозлился:

— За выпивку не сажают, а вот за то, что дают пощечину милиционеру Сафару, сажают!

Но и девушка, как петух, бросилась в бой:

— Милиционер Сафар план выполняет, потому и посадил его!

— Что?! План выполняет?! — У Мамедаги уже просто не было слов, чтобы отвечать — так он был возмущен. — Ай баджи, Мирзоппа прямо при мне ударила его ни за что...

Немного помолчав, девушка сердито сказала:

— Бесстыжий он, да...

И Мамедаге не было ясно, к кому относится это слово, к Мирзоппе или милиционеру Сафару.

Девушка искоса снова оглядела деревянных зверюшек и подумала, что если бы этот тир не приехал и не остановился здесь на ночь, Мирзоппа сюда бы не пришел, не встретился бы с милиционером Сафаром и ничего бы тогда не произошло из того, что теперь произошло.

— Ну и тир!

Конечно, Мамедага не знал, о чем думала сейчас девушка, и ее откровенная ненависть к его тире показалась ему опять-таки смешной — да и вообще в шуме, крике, поднятом ею, ему виделось чистое ребячество, чуть ли не розыгрыш, как и ее решительное утверждение, будто она чья-то «жена». Мамедаге казалось все это забавной шуткой и хотелось, чтобы это на самом деле было шуткой.

Мамедага огляделся по сторонам и, оставшись довольным своей аккуратностью и порядком в фургоне, улыбнулся:

— Тебе не нравится мой тир?

Эта безоблачно-самодовольная улыбка Мамедаги вновь взбесила девушку:

— Твой? А почему это он твой? Это наш, государственный тир! Или, может быть, твой отец его тебе подарил?

Мамедага с детства не переносил малейшего неуважения к памяти отца. А сейчас от этой задиристой ночной гостьи тем более — ведь она могла решиться на все, вплоть до брани с упоминанием его отца, и потому Мамедага сразу же стал серьезен.

— Отец не мог подарить, — отвечал он и, чтобы прекратить разговор об отце, добавил, словно бы мимоходом, а прозвучало это скорее как признание пятнадцатилетнего мальчика, чем тридцатилетнего мужчины: — Отец погиб на фронте.

Девушка уже готовилась снова что-то там просрать, но, услышав не слова его, а этот странный, словно из детства дошедший голос, умолкла.

Мамедага никогда не откровенничал с незнакомыми людьми (да и со знакомыми тоже) и почувствовал себя неловко оттого, что он что-то важное сказал о себе этой девушке, которую увидел впервые, а ее понимание важности сказанного им смутило его.

— Как тебя зовут? — спросил он, чтобы хоть чем-то нарушить неожиданное и неловкое молчание.

— Зачем тебе?

— Когда человек разговаривает с человеком, он должен знать, кто есть кто.

— Месмеханум.

Ответ не принес облегчения. Ни ему, ни ей.

Мамедага и не догадывался, какой заветной струны в душе Месмеханум он коснулся, он не знал, что в сердце девушки появилась сейчас тихая, ноющая боль.

Ей казалось, что это было много-много лет назад, когда она была маленькой девочкой и у этой девочки не было никаких забот. Не было и отца, но мать всегда говорила ей: твой папа погиб на войне. Мать часто бывала в поездках, и Месмеханум привыкла целыми днями оставаться одна, и в такие

¹ Ай баджи — сестра, обращение к женщине.

дни она беседовала с отцом, во время этих бесед, продолжавшихся и в школе-интернате, гремели пушки, взрывались снаряды, Месмеханум перевязывала отцу рану, а отец гладил ее по черным волосам своей крупной мужской рукой и улыбался. Тепло и ласка его больших мужских рук разливались по всему ее телу и пробуждали в ее сердце такую ответную любовь, что от умиления у нее иногда появлялись слезы. Но однажды, в один из самых обычных дней, Месмеханум поняла, что отец ее никак не мог погибнуть на фронте, потому что она родилась через три года после окончания войны. После такого открытия Месмеханум прекратила всякие разговоры с матерью об отце. Молчала и мать. Может быть, Гюльдесте постепенно забыла вовсе о прежних разговорах с дочерью или, как знать, не забыла, но, как и дочка, затаилась?

Все же тепло и ласку больших отцовских рук долгое время еще помнила Месмеханум, да, по сути дела, и теперь они согревали ее — пусть изредка, пусть совсем немного.

А Мамедага смотрел на полную грудь стоявшей перед ним забавной девушки, на ее красивые колени, круглые лодыжки, пальцы ног в сандалиях, и сердце его тревожно заколотилось. Давно уже он не знал этой тревоги и порой ему казалось, что она навсегда прошла для него вместе с юностью. Но сейчас тревога росла, окатывая своими волнами, поднимая и опуская так, что дух захватывало, и нечисто смывая, погребая под собой все первые впечатления Мамедаги: и смешное перестало быть смешным, забавное — забавным, от задиристости не осталось даже следа: в резком свете фургона перед Мамедагой стояла Она.

Дни и ночи колеся по дорогам Апшерона, Мамедага, конечно, навиделся всякого и смотрел на жизнь трезво — вот почему теперь это забытое волнение, возвращавшее его к юношеской поре, он воспринял как еще одну частицу этой удивительной ночи в Загульбе; только на этот раз он ощутил ее загадочную прелесть не одной душой, но и всем своим существом.

Заметив наконец, что глаза Мамедаги беспокойно бегут по ее желтой кофте, синей юбке и ногам, Месмеханум по-своему истолковала волнение этого высокого широкоплечего парня и с испугом покосилась через открытую дверь фургона на море с белеющими гребешками волн, ощутила безлюдность берега и поэтому скорее для собственного успокоения, чем для Мамедаги, быстренько сказала:

— Я не из тех, не думай!

— А кто они — те, о которых я думаю? — Мамедага сел на перила и обхватил колено руками. — А?

— Я не знаю, кто... — Взглянув в голубые глаза парня, девушка поняла, что встревожилась зря, и еще она поняла, что в его взгляде есть что-то очень родное, будто она много раз видела этот взгляд. Почему ей так показалось? Она с удивлением посмотрела на Мамедагу.

— Что сказали в милиции?

— Сказали, что на этот раз дела его плохи... Пятнадцать сутками не отделается...

— А Наджафу он позвонил?

Месмеханум снова удивилась этому парню — нет ничего на свете, чего бы он не знал? Нет, как раз про это он, видно, не знает — и она сказала ему, чтобы знал и это:

— Наджаф в прошлом году выгнал его из своего кабинета...

Сказала — и сама изумилась, как будто не она, а совсем другой человек произнес эти слова. Уж

сколько лет Месмеханум привыкла молчать при посторонних — никто не знал, каково ей приходится с мужем, их домашние разговоры оставались дома, и Месмеханум считала, что так будет всегда, до самой смерти. Умрет она — и люди будут говорить, что жила, мол, на свете такая Месмеханум и у этой Месмеханум был муж по имени Мирзоппа, они жили вместе... Но как они жили — этого никто не будет знать, и какая была она, эта Месмеханум, и что бывало у нее на сердце — тоже никто не будет знать. Ладно, пусть так. Но если никто ничего не должен узнать, тогда что же ей нужно сейчас, здесь, в этом фургоне, рядом с этими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем, рядом с этим чужим парнем? Отчего она не уходит? «Разгневанная, ты пришла сюда, а теперь видишь, что парень ни в чем не виноват и от него ничего не зависит, все произошло из-за твоего нелюбезного мужа, так чего же ты не уходишь и чего еще ждешь?»

Месмеханум подумала об этом, и ей вспомнилось ее дом, вспомнилась ее кровать, вспомнилось, что она снова одна-одинешенька в этом доме, утром встанет, пойдет на работу, продаст помидоры, огурцы, виноград — что придется, а вечером снова одна-одинешенька будет, сидя в комнате, смотреть из окна на большое инжировое дерево перед их домом и с тоской думать о том, что хуже нет ничего, чем вот так одиноко сидеть перед окном, лучше уж ссориться, ругаться, драться с Мирзоппой, слушать, как его громко рвет в туалете, а потом, как он спит, храпя и присвистывая.

Однажды, как всегда, в комнате запахло спиртом, вошел Мирзоппа и, громко плача, будто сообщая самую горестную весть (а после выпивки такой плач частенько начинался у Мирзоппы), сказал, что Наджаф выгнал его из кабинета.

— В одном квартале выросли, в одном месте в альчики¹ играли, а теперь он меня выгоняет из кабинета!..

Так, страдая и переживая, он поплакал немного, пожаловался на неверность мира, а потом, как обычно, излил свою злость на Месмеханум: выдумав повод, пустил в ход руки, ноги, а Месмеханум расцарапала до крови его жирную физиономию. Но до всего того никому не было дела. И этому сидящему на перилах, разглядывающему ее в ярком свете фургона голубоглазому парню тоже не было до нее дела, и Месмеханум сейчас же пойдет сначала в отделение милиции, и снова подымет там крик-шум, и снова из этого крика-шума ничего не выйдет, после чего, наконец, одна-одинешенька она вернется домой — и пройдет еще одна тоскливая ночь, голыш и всего.

— Сколько тебе лет? — спросил Мамедага.

— Двадцать четыре. — Месмеханум снова удивилась сама себе — с чего это она отвечает чужому парню на такие вопросы?

— Тебе больше девятнадцати не дашь.

— Да, все так говорят... — Месмеханум улыбнулась и, сама не ожидая того, спросила: — А тебе сколько?

— Как по-твоему?

— Тридцать... два!

— Два года прибавила...

— Тридцать?

Как будто вчера это было; счет возраста Мамедаги оканчивался на «надцать» — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... И тридцать казалось тогда ему чем-то очень далеким, он не

¹ Альчики — игра в кости.

мог представить себя в тридцать лет. Но он верил: когда придет это время, мир станет совсем другим. Солнце — солнцем, луна — луной, звезды — звездами, а Мамедага уже мальчишкой понял, что под одним солнцем, луной и звездами у каждого есть свой мир; об этом он думал по ночам, особенно в летние ночи, когда спал на крыше: Сакина-хала с вечера стелила на крыше палас, на палас клала толстый шерстяной тюфяк, большую подушку, тонкий чехол — и постель Мамедаге готова. Ложась в полночь, Мамедага смотрел на луну, на звезды, ощущая прохладу подметенной мокрым веником Сакины-хала крыши, и думал о том, что через много-много лет ему исполнится тридцать — и мир станет другим; в чем будет состоять эта перемена, он не знал, но верил, что совершенно иным станет мир. Закрывая глаза, он вел по улицам Баку новенькую «Победу» — такси. Самой большой мальчишеской мечтой Мамедаги было стать шофером такси, и он каждую ночь перед тем, как заснуть, накачивал насосом шины своей «Победы», проверял мотор, осматривал аккумулятор, вытирал смоченными в бензине концами мазут со своих рук, а потом вел такси по улицам города.

Но казавшиеся такими далекими тридцать пришли, по существу, мгновенно — так думал Мамедага сейчас. Он мотался по улицам Баку шофером такси, а потом перешел в этот тир. О, если бы в те летние ночи, когда он спал на крыше, ему пришлось в голову, что когда-то у него будет серебристый тир-фургон, он не смог бы уснуть от нетерпения! Да, прошли годы, и теперь ему ясно, что мир каждого человека изменяется, как и он сам: полнеет или худеет, но суть его неизменна. Новые люди приходят в этот мир, другие уходят из него и забываются, но сам этот мир человека, как и большой мир людей, не становится совершенно другим: как постоянны солнце, луна, звезды, так всегда есть желание добра и зла, мужество и подлость, жадность и мечта — есть все, только у каждого это по-своему.

— А как тебя зовут? — спросила Месмеханум, и у нее уже просто опустились руки: что за вопросы она задает? Зачем ей знать, как зовут этого голубоглазого парня? Почему она так унижает себя?

— Мамедага. — Он улыбнулся. — В детстве меня дразнили так:

**Мамедага —
в носу серьяга,
ходил на бега,
выиграл пора!**

— Меня тоже дразнили. Когда я не знала урок, очень боялась, что учитель вызовет, у меня руки-ноги дрожали. А ребята смеялись:

**От страха Месме
не ханум, а... «мее!»**

Месмеханум рассмеялась громко, с удовольствием, вспомнив ту маленькую беззаботную девочку, боявшуюся вызова к доске, но вдруг перед ее глазами появилась жирная физиономия Мирзоппы, она словно почувствовала запах спиртного, она подумала о том, что Мирзоппа сидит сейчас в отделении милиции и получит самое меньшее пятнадцать суток, а она... Она изумилась своему бесстыдству, но наконец поняла: будь что будет, но она не желает уходить из этого ярко освещенного фургона.

— Вот уж не сказал бы, что ты пугливая овечка!

— Теперь я не такая!

— Да, теперь ты бедовая! — Мамедага тоже громко и с удовольствием рассмеялся.

Месмеханум посмотрела в глаза парня, подумала: странный парень, такие большие голубые глаза, а брови, ресницы, волосы черные, правда, голова уже начала седеть, но ведь ему только тридцать...

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем, — соврала Месмеханум и почувствовала, что краснеет.

Месмеханум разучилась краснеть с тех пор, как вошла в дом Мирзоппы, и теперь, когда она почувствовала, что краснеет, ей показалось, что на свете нет никакого Мирзоппы, она никогда не выходила замуж, все это — неправда, и она снова прежняя Месмеханум, плачущая на индийских фильмах, и горечь всех этих лет — просто сон; на один только миг ей так показалось, но она поняла, что пора уходить отсюда — от голубых глаз этого парня, о существовании которого еще час назад она просто не знала.

— Ну ладно, я пошла...

Мамедага не отвечал. Что ж, это совершенно естественно: уходит девушка, случайно здесь появившаяся. Так он подумал, но сердце его охватило какое-то беспокойство. Он еще не знал, но уже почувствовал: уйдет она — и вся таинственная красота вечера окажется напрасной, а внушительные скалы всю ночь будут шептать ему о бессмысленности его жизни. Мамедага молчал, не понимая самого себя.

Месмеханум не сошла по приставной лестнице, а спрыгнула прямо из открытой двери фургона на песок и посмотрела в сторону Загульбы: в селе все еще мерцали огни. Месмеханум знала там многих и могла сейчас представить каждого из этих знакомых ей людей, а вот из них никто не знал, что продающая с восьми утра до шести вечера в овощном киоске псидоры, огурцы, виноград и дыни Месмеханум в это время ночи смотрит на люющий из их окон свет, стоя на берегу моря; никто из них не знает, что в сердце глядящей сейчас на свет их окон Месмеханум — горечь одиночества; никто не знает и того, что Месмеханум, чей муж сидит в отделении милиции и ждет наказания — самое меньшее пятнадцать суток! — что Месмеханум вернется домой уже не одна: с ней будет память о голубых глазах парня, которого она знает только по имени! Да, этого никто не знает и не узнает, хотя, в сущности, и сама Месмеханум знает только то, что скоро этого серебристого в лунном свете фургона здесь не будет и ей останется вспоминать эти голубые глаза, думать об этих голубых глазах, сидя по вечерам у окна и глядя на инжирное дерево, она будет видеть эти голубые глаза, но почему и зачем так будет? Сердцем она вдруг почувствовала сходство или даже родство между взглядом этих голубых глаз и теплом, лаской больших отцовских рук, которые когда-то гладили ее по голове в ее мечтах — и дома и в школе-интернате. Давно уже Месмеханум не чувствовала в себе столько доброты и нежности...

Мамедага, спустившись по лестнице, пошел было за девушкой, но повернул к морю и сказал:

— Ветер стих...

Месмеханум остановилась и, потрогав воздух ладонью, сказала:

— Да, стих... Вечером дула хорошая моряна.

Мамедага сказал:

— Моряна — теплый ветер... А ветер должен быть прохладным...

Месмеханум сказала:

— Я люблю моряну... Моряна дует в сторону моря, и можно с морем разговаривать...

Изумление охватило Мамедагу:

— Ты приходишь на берег и разговариваешь с морем?!

— Почему, разве нельзя говорить из дома? Моряна относит слова к морю...

Месмеханум сказала и на этот раз здорово на себя рассердилась: да кто такой этот парень, с чего это она раскрывает перед ним тайны своего сердца? И для чего? Месмеханум задала себе этот вопрос и, остановившись, обернулась.

Мамедага посмотрел в глаза стоящей перед ним девушке. В лунном свете эти глаза почернели и сверкали ярче, чем в фургоне. В этом мире есть село под названием Загульба, а там — красивая девушка по имени Месмеханум, и она любит моряну за то, что, когда дует моряна, можно беседовать с морем — ведь сказанные человеком слова моряна передаст морю. Этому не знал не только Мамедага, на всей земле вообще никто не знал, что эта шумливая, крикливая, скандальная девушка, когда дует моряна, садится у окна и разговаривает с морем...

Месмеханум уже ясно понимала, что отсюда надо поскорее уходить. Приблизившись к девушке, Мамедага некоторое время постоял лицом к лицу с нею, потом нерешительно спросил:

— О чем ты думаешь?

Глядя прямо в его голубые глаза, Месмеханум сказала:

— А тебе какое дело, о чем я думаю? Кто ты такой? — Она сказала это и сама себе ответила, что эти глаза совершенно не виноваты в том, что она все им выкладывает.

— Я Мамедага.

Месмеханум усмехнулась:

— Мамедага —
в носу серьга,
ходил на бега,
выиграл рога!

Мамедага усмехнулся:

— От страха Месме
не ханум, а «мме!»

Месмеханум рассмеялась — снова перед ее глазами появилась та беззаботная девочка:

— Да, меня дразнили ужасно!

И Мамедага рассмеялся: ему вспомнился мальчишка, который бегал за всеми проезжавшими по кварталу машинами.

И вдруг у Месмеханум пропала вся злость на этого высокого голубоглазого парня, внезапно он стал ей чуть ли не родным человеком, как будто они познакомились не час назад, а очень давно, еще в детстве, и тогда этот голубоглазый парень — он еще не стал таким представительным! — много раз видел Месмеханум, идущую в школу в красном пионерском галстуке и из школы домой — с перепачканными чернилами пальцами.

Мамедага пошел к морю, остановился и обернулся, глядя на скалы. Норд уже не бросал на них волны, и монолитные скалы теперь не казались суровыми, неприступными башнями, они стали легкими, как лодки, вот-вот поплывут, осторожно разрезая воду.

И Месмеханум глядела на скалы и, махнув в их сторону рукой, сказала, улыбаясь:

— В детстве я боялась этих скал, особенно вечером. Когда я не слушалась, мама говорила: «Смотри, эти скалы по ночам приходят и забирают непослушных детей!» И я начинала дрожать... Я даже не спрашивала, куда они забирают. А тебя пугали в детстве?

— Нет...

— И ты ни разу не дрожал от страха?

— Однажды было.

Пристально посмотрела Месмеханум на Мамедагу, так пристально, что Мамедаге показалось, будто эта разговаривающая с морем, когда дует моряна, смуглая девушка сейчас прочтет все его мысли, узнает все, что у него на сердце. Поймет все то, в чем Мамедага, честно говоря, сам пока не мог разобраться, он только чувствовал какое-то нежное тепло в сердце, как будто и там дует легкая моряна. Давно уже, очень давно, с тех летних ночей, когда он спал на кировой крыше их дома, в сердце Мамедаги не было такого тепла, то есть, конечно, за все эти годы у него было немало причин для радости и веселья, но вот такого нежного тепла не было в его сердце, и теперь он понял, что все эти годы тосковал по такому теплу.

Помолчав, Месмеханум спросила:

— Чего же ты испугался?

— Да так...

В последнее время, колеся по дорогам Апшерона, он почему-то вспоминал эту старую историю и порой снова, как и двадцать лет назад, видел Китабулла улыбающимся, — а когда Китабулла улыбался, то в уголке рта у него поблескивал золотой зуб, — и вот сейчас, в эту удивительную лютую ночь на песчаном морском берегу Загульбы, снова улыбнулся Китабулла и сверкнул его золотой зуб.

— Ну, а все-таки?

— Так... Ветер улетел. Это старая история, просто к слову пришло. Хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, смешное?

— Не хочу, расскажи, чего ты испугался.

...Жили-были три брата: Самедулла, Ядулла и Китабулла. Самедулла, самый старший, носил закрученные вверх усы и работал в море. Когда в праздник он надевал свои медали и шел на демонстрацию, ребята с нашей улицы бежали за ним, глаз не отрывая от его груди. Средний брат, Ядулла, был сапожником. Его будка стояла на бульваре рядом с нынешним Кукольным театром. Ребята из квартала часто забегали к Ядулле, потому что их ботинки он чинил бесплатно. Младшему, Китабулле, было двадцать пять, работал он шофером на полutorке, и, когда грузовик Китабуллы останавливался в Узком тупике, ребята гурьбой залезали в кузов, а один, самый достойный, садился в кабину рядом с шофером; покатав ребят, Китабулла привозил их снова к Узкому тупику.

А кабина у Китабуллы всегда выглядела нарядно. За стеклом торчали две открытки, надписи на которых ребята знали наизусть. На одной открытке был рейхстаг с развевающимся над ним красным флагом и надпись: «Победили врага, победим и засуху!» На второй, в обрамлении красного сердечка, улыбалась девушка, склонив голову на плечо парня и прижав к своей груди букет фиолетовых, красных и желтых цветов. А над головами влюбленных порхали два целующихся голубка, и надпись на открытке гласила:

Пусть наша дружба будет вечной,
Как дружба этих голубей!

Многие девушки квартала были без ума от Китабуллы, и ребята об этом знали (разве могло быть такое, чего не знали бы мальчишки!). Конечно, у нас немало молодых, симпатичных парней, но Китабулла был среди них звездой. Баладжа-ханум, жена мясника Аганаджафа, сидя на маленькой деревянной табуретке перед своим окном с железной решеткой, грызла семечки и говорила, подмигивая в сторону Узкого тупика, собравшимся вокруг нее девушкам: «У этого чертова парня лицо, как у Юсифа Прекрасного. Если режешь лук, на него не за-

смазывается, а то и охнуть не успеешь, как вместо лука палец порежешь!..»

Ребята, и Мамедага среди них, не раз слышали подобные беседы, они сразу смекали, что речь идет о Китабулле. Как только полуторка Китабуллы останавливалась перед Узким тупиком, квартальские девушки начинали тайком поглядывать из окон в сторону машины и под каким-нибудь предлогом выходили на улицу; но и ребята и девушки, все знали, что Китабулла влюблен и что его девушка из другого квартала, она любит его, но вот родители почему-то противятся их браку. И сколько бы ни обсуждалась эта тема, никто не мог понять: как это можно не доверять девушку такому парню, как Китабулла?

И вот однажды вечером по всему кварталу разнеслась весть, что возлюбленная Китабуллы сбежала из дома, сейчас она у Самедуллы, а послезавтра состоится свадьба.

Китабулла с братьями жил в конце Узкого тупика. В их дворе было три дома. В квартале их называли «Мансур шушабэнди» — терраса Мансура; Мансур был дедом Китабуллы, и все эти три одноэтажных дома он выстроил собственными руками. У каждого дома имела терраса, украшенная деревянными решетками — шебеке, и фотографии этих шебеке висели в музее. В одном из домов жил Самедулла с семьей, в другом — Ядулла, а в третьем должна была жить семья Китабуллы.

В тот вечер Мамедага с ребятами разожгли перед Узким тупиком костер, а девушки их квартала, прогуливаясь по двое, по трое мимо Узкого тупика, старались просверлить взглядом ворота Китабуллы.

Утром Самедулла с праздничными медалями на груди, словно в день демонстрации, обходил всех соседей, зашел он и во двор, где жила семья Мамедаги, и Сакине-хала была вручена маленькая фотооткрытка-приглашение. На ней был изображен голубь, держащий в клюве письмо, а на письме было написано: «Приглашаем Вас на бракосочетание нашего дорогого Китабуллы с дорогой Тамиллой. Торжество состоится 17 сентября 1951 года в доме старшего брата жениха — Самедуллы». А ниже шли две строчки:

**Любовь и в наши дни, как встарь,
Суть жизни и ее алтарь.**

— Сакина-баджи, — сказал Самедулла, — Али нет, но есть ты. Что значит для меня Али, ты знаешь. Он был для меня всем, но что делать, его не вернешь. Прошу тебя, приходи завтра к нам, у Китабуллы свадьба.

Отец Мамедаги и Самедулла были друзьями с детства, вместе пошли они воевать. Но Самедулла вернулся.

Сакина-хала ответила:

— Пусть будут счастливы молодые! Пусть у них будет много сыновей и дочерей, пусть они вместе встретят старость! Большое спасибо за приглашение.

В тот день весь квартал доставал из нафталина наряды, глядел костюмы, стирал рубашки. Говорили лишь о том, как Китабулла любит Тамиллу и как Тамилла любит Китабуллу. Теперь уже все знали, что девушка, по которой столько времени страдал Китабулла, то есть Тамилла, учится в институте, и родители хотели выдать ее за преподавателя истории, но Тамилла любила только Китабуллу и однажды вечером собрала чемодан и ушла из дома.

Почти все сведения были получены от жены Ядуллы — Фатьмы. В зеленом шелковом платье, сшитом ею за одну ночь, Фатьма ходила из дома в дом, занимала казаны, тарелки, стаканы, блюда и всем повторяла одно и то же:

— До чего умная девушка и какая красивая, в жизни такой красивой девушки не видала, не девушка, а лунный серп. Она достойна Китабуллы. Они без ума друг от друга. Зато отец у нее — настоящий тиран. Утром Самедулла-гадеш¹ пошел к ним мириться, хотел пригласить на свадьбу их и всех их знакомых — пусть будут нашими дорогими гостями, — но его даже в дом не пустили! Это Самедулла-гадеша, а? Самедулла, старшего брата, не впустили в дом!

Мамедага вместе со всеми ребятами прямо-таки застыл от изумления: у человека столько медалей, а его не пустили в дом?!

Фатьма рассказывала:

— Большой человек отец Тамиллы! Каждое утро за ним машина приходит с работы, эм-один. Ну и что? Говорят, он сказал: «Тамилла втоптала мою папаху в грязь, нет у меня больше дочери, до конца жизни нету, не показывайся мне на глаза!» А был бы умный, спасибо сказал: разве можно найти для дочери лучшего жениха, чем Китабулла? Да, но дочка его что за девушка! Ум при ней, воспитание при ней. Девушка достойная Китабуллы! Оба, как лепестки розы, тыфу-тыфу, не сглазить бы!

Всем в квартале было известно, что Фатьма очень привязана к своему младшему деверю Китабулле, но ей верили, когда она расхваливала и Тамиллу — умна да красива. Почему? Потому что девушка, которую такой парень, как Китабулла, ждал четыре года, девушка, которая отказалась выйти замуж за имеющего диплом учителя истории, потому что не любила его, — такая девушка просто не могла быть ни чем иным, как лепестком розы.

Живший в нижней части квартала кларнетист Алекпер, прочистив свой кларнет с серебряными клавишами, говорил:

— Давненько уже в квартале не было свадеб — и вот, пожалуйста, да еще свадьба Китабуллы! Завтра я так зальюсь, чтобы даже у моллы Сулеймана косточки сами по себе в пляс пошли! Афлатуну я велел принести нагару, а Сиявуш возьмет зурну — все будет достойно имени Китабуллы! Пусть знает девушка, за какого молодца она выходит!

В тот день Солмаз то и дело спрашивала у брата:

— Ты принесешь мне конфетные обертки?

Мамедага важно отвечал:

— Сколько раз можно говорить об одном и том же?

— Много-много!

— Да, очень много!

Завтра на свадьбе будут по обычаю осыпать ребят самыми разными конфетами, и они, конечно, их съедят, но красивые обертки разгладят и соберут.

Сакина-хала, открыв давно не отпиранный сундук, достала из него давно не надевавшееся желтое шелковое платье и, вывесив его на террасе, чтобы ушел запах нафталина, сказала:

— Не могу обидеть Самедулла, да и дух Али будет недоволен, если я не пойду на свадьбу. Али, пусть земля ему будет пухом, очень любил Китабулла и всегда говорил: хорошим сыном станет Китабулла!

¹ Гадеш — то же, что «брат».

В тот день у ворот Китабуллы блеяли два барана с красными ленточками вокруг шеи, а ребята, избравшись на тутовое дерево перед Узким тупиком, срывали листья и насыпали их перед этими баранами с красными лентами. Скоро на туле листьев совсем не осталось: мясо баранов должно было быть вкусным, ведь всему кварталу известно замечательное высказывание учителя русского языка Алхас-бека: «Эх, вкус у баранины исчез!.. А баран чем виноват?.. Если баран сидит в городе и ест вместе с человеком борщ, слушает радио, гуляет по асфальту, то какой же вкус будет иметь его мясо?» Но эти бараны с красными лентами в ночь перед свадьбой съели столько тутовых листьев, что завтра даже Алхас-бек будет восторгаться вкусом их мяса!

В эту же ночь, лежа в постели, Мамедага думал о завтрашней свадебной суете, видел радостную улыбку Китабуллы и замечал, как сверкает в уголке его рта золотой зуб; видел свою мать, надевшую желтое шелковое платье, и радовался, что наконец-то мама смеется, видел, как его мама вместе с другими сидит в комнате для женщин, хлопает в ладоши и наслаждается игрой гармонистки Нисы, приговаривая: «Ай джан! Ай джан!» Потом Мамедага задумался о двух строчках, которые прочел на фотооткрытке-приглашении, и попытался понять смысл этих стихов, но, как ни старался, понять не смог, хотя он понял твердо: если в честь любви баранам на шею повязывают красные ленточки, а его мама, достав из сундука желтое шелковое платье, вешает его проветриться, значит, любовь полезна живущим на земле людям, значит, придет день, и такое вот фотоприглашение от его имени пойдет гулять по рукам людей в квартале, и все люди прочтут на нем две строчки:

**Любовь и в наши дни, как встарь,
Суть жизни и ее алтарь.**

И только Мамедага, думая обо всем этом, заснул, как в Узком тупике поднялся плач. В квартале, где жил Мамедага, много происходило событий, но такого плача он не слышал ни разу в жизни. Среди ночи, внезапно, крики, вопли и рыдания женщин в Узком тупике зазвучали так, будто весь тупик взвыл от неожиданного и страшного горя. В одну минуту волосы на голове Мамедаги встали дыбом. Раздался крик вскочившей с постели и выбежавшей во двор Сакины-хала. И у Мамедаги задрожало все тело.

Весь квартал поднялся на ноги, от детей до взрослых, все бежали на улицу, и в ту ночь перед Узким тупиком было столько народу и все эти люди поднимали такой плач, что прошли дни, месяцы, даже годы, но эта ночная толпа, этот ночной ужас врезался навсегда в память людей, звучал у них в ушах.

— Китабулла попал в аварию и погиб! — эта весть в ту ночь поразила всех в квартале, от детей до взрослых.

Вечером, доставляя груз из Локбатана, Китабулла неподалеку от Шихово столкнулся с пустым автобусом. Руль придавил грудь Китабуллы и воткнулся ему в живот. Он тут же скончался. С пьяным водителем автобуса ничего не случилось.

Когда тело Китабуллы сняли с машины и понесли в Узкий тупик, распахнулись ворота дальнего двора, и, вырвавшись из рук женщин, к погибшему кинулась простоволосая босая девушка. Она ухватилась обеими руками за него, и у мужчин, несших Китабуллу, задрожали руки, они остановились, поражен-

ные ее безумным взглядом, и вырвавшийся из ее груди вопль слился с общим стоном этой ночной толпы.

Вот такой впервые увидели Тамиллу жители квартала.

А утром Фатьма, разодравшая себе лицо, кричала сорванным голосом так, что у нее чуть не лопались вены на шее:

— Приготовленных для твоей свадьбы баранов режут тебе на поминки, ай, Китабулла, ва-а-ай!..

И гости, приглашенные на свадьбу, пошли хоронить Китабуллу — весь квартал пошел. Десятикилометровый путь от квартала до кладбища гроб пронесли на плечах, и никто не сел в машину.

Друзья Китабуллы, шоферы, приехали на своих машинах и запрудили ими квартал. Всю дорогу до кладбища сигналили их машины.

На кладбище Алекпер вытер рукой слезы. И, рыдая, вынул трясушимися руками кларнет из футляра, собрал его и сыграл над гробом Китабуллы. Кларнет Алекпера прощался с Китабуллой от имени всего квартала. В тот сентябрьский день кларнет звучал так, словно звуки рассказывали о всех горестях мира...

Голова Китабуллы тоже была повреждена, поэтому лицо ему не открыли, и Мамедага никак не мог поверить, что этот длинный, завернутый с ног до головы в саван предмет — Китабулла. Мамедага впервые в жизни попал на кладбище, и теперь он никак не мог осознать, что сейчас не что-нибудь, а тело Китабуллы положат в свежееотрытую могилу, насыплют сверху земли и польют водой, после чего все вернется в квартал, а эта могила останется здесь, и будет лить дождь, и дуть ветер, а эта могила не сможет никуда уйти, и черви набросятся на нее. Все тело Мамедаги содрогнулось, ему показалось, что черви поползли по его собственному телу; в этот сентябрьский день он понял, что когда-то придет время, и его самого положат в такую же могилу, укроют сверху землей, а мир останется прежним, в кинотеатрах, как и прежде, будут показывать кинофильмы, в театрах, как и прежде, будут ставить спектакли, люди, как и прежде, будут беседовать друг с другом, дети, как и прежде, будут готовить уроки. Мамедагу объял ужас, выпученными глазами он смотрел на длинный белый кокон, он задышался, перед ним вместо Китабуллы, чей рот и нос были заматаны саваном, поднялся белый туман, и вдруг Китабулла улыбнулся, и в белом-пребелом тумане сверкнул его золотой зуб; Мамедага помнил только, что громко крикнул, а что было потом, он не знал — он пришел в себя уже дома, на своей кровати, спустя двое суток после похорон.

В тот год зимой в Баку был сильный снегопад, уроки были отменены, не шли машины, трамваи. Старички квартала говорили, что не помнят в Баку такой снежной, такой морозной зимы.

Однажды распространилась весть о том, что в одном из верхних кварталов появился волк. Согнувшийся за три месяца Сamedулла, услышав об этом, произнес трясущимися губами:

— В наш дом волк пришел в сентябре...

А Алхас-бек повторял слова Деде Коркута¹:

— О, бранный, бранный, бранный мир, где смертен человек и сир...

...Они медленно брели по мокрому песку берегом моря. Месмеханум, помолчав, спросила:

— А что стало с девушкой?

¹ Деде Коркут — древний азербайджанский эпос.

— Тамиллой?

— Да.

— У Фатьмы было двое детей, но когда прошло сорок дней со дня смерти Китабуллы, она взяла обоих детей и ушла к отцу, развелась с Ядуллой и записала кебин¹ на Тамиллу с Ядуллой. Фатьма говорила: Тамилла — моя сестра, и Ядулла будет теперь моим братом. Все знали, что Фатьма сделала это в память Китабуллы...

— А не лучше ли Тамилле было вернуться в отцовский дом?

— Откуда мне знать?.. Наверное, не могла вернуться, да... Все знали, что Фатьма заставила Ядуллу, потому что Ядулла и Фатьма очень друг друга любили...

Луна поднялась совсем высоко, и теперь линия горизонта, где соединялось полное бесчисленных звезд небо с морем, стала невидимой в далекой мгле; вместо горизонта была черная-черная пустота; а далеко-далеко, там, где проходила электричка, огни станции Бузовны отражались в море, и эти огни казались сейчас звездами моря; звезды моря и небесные звезды смешались между собой, но и среди этого множества выделялась утренняя звезда — большая, светлая, одинокая...

— А разве Тамилла любила Ядуллу? — спросила Месмеханум.

— Откуда мне знать... — сказал Мамедага и подумал: почему же этот простой вопрос до сих пор не приходил ему в голову, почему он не задумывался, любила Тамилла Ядуллу или нет?

Мамедага посмотрел на Месмеханум, не отрывавшую глаз от моря, и вдруг ему показалось, что эта смуглая девушка, неожиданно возникшая среди ночи на морском берегу Загульбы, — самый дорогой и родной для него человек.

— Бедные... — сказала Месмеханум.

— Китабулла?

— И Китабулла, и Тамилла, и Ядулла, и Фатьма, и ты...

— А я почему?

— Потому что мальчишкой увидел такое... До сих пор не забылось — и не забудется...

Конечно, откуда было Мамедаге знать, что и Месмеханум в бессонные длинные ночи много думала о жизни и смерти? В те самые ночи, когда, с трудом дотаскив Мирзоппу до кровати, сваливала она его на постель, и Мирзоппа, захрапав и засопев на весь дом, впадал в пьяный сон.

В такие ночи у Месмеханум горело сердце, и она думала о своей жизни и о своей смерти, но почему-то ее думы заканчивались всегда тем, что Месмеханум попадала в какой-то сказочный мир и бродила среди волшебников, которые ее любят и лелеют. Но где-то в середине ночи Мирзоппу начинало мутить, частенько он бывал не в состоянии встать и дойти до туалета, поэтому он вытягивал шею, и его рвало прямо на пол. Однако, если Месмеханум с вечера ставила у кровати таз, Мирзоппа, являясь пьяным и замечая таз, выходил из себя:

— Ты за кого меня считаешь? Пьяница я, что ли?!

И снова начинался скандал, пускали в ход ноги, руки, царапали лицо, извергали ругательства; после чего, наконец, таз уже больше не появлялся с вечера рядом с кроватью Мирзоппы, а его снова рвало на пол, но Месмеханум больше ни запаха не чувствовала, ни мычания Мирзоппы не слышала — она уходила в свой волшебный мир, пребывала там,

среди добрых волшебников, на их ласку отзывалось не одно ее сердце, но и все ее тело, оставленное нетронутым неделями, а то и месяцами; и, ощущая эту нежную ласку, Месмеханум засыпала.

И сейчас, в эту странную ночь, Месмеханум показала, что она снова в своем волшебном сказочном мире, и она поняла, почему ей не хотелось уходить из фургона, ведь этот фургон, где на стенах висели деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и неведомый зверь, фургон, сверкавший серебром в лунном свете, будто вышел из волшебного, сказочного мира ее бессонных ночей для того, чтобы этой ночью появиться здесь, на морском берегу Загульбы; и большие голубые глаза этого высокого симпатичного парня так похожи на добрые, ласковые глаза ее волшебников...

— У тебя есть твоя звезда в небе? — спросила Месмеханум.

— Моя звезда?.. — Мамедага посмотрел на небо. — Нет, у меня нет своей звезды.

На дорогах Апшерона у Мамедаги было много знакомых автоинспекторов, но в небе Апшерона своей звезды у него не было. Мамедага и забыл, что человек выбирает себе на небе звезду и всегда может найти ее среди других бесчисленных звезд на небе; для Мамедаги все это осталось в детстве, как и другие игры.

— А у меня есть звезда!.. — Месмеханум посмотрела на Мамедагу с такой гордостью, словно и впрямь ей принадлежало все богатство этого мира. — Взгляни, — протянув руку, она показала на еле различимую звездочку чуть пониже утренней звезды.

— Как ты ее разыскала? — Мамедага отвел глаза от этой едва заметной звездочки и, улыбаясь, посмотрел на Месмеханум.

А Месмеханум спросила:

— Твоя улыбка похожа на улыбку Китабуллы?

Месмеханум спросила, но тут же испугалась, что этот голубоглазый парень, улыбающийся ей в лунном свете, сидя за рулем своего фургона, тоже может встретиться с машиной пьяного и превратиться в длинный белый предмет; она испуганно посмотрела на свою звезду, чей свет с трудом пробивался на морской берег Загульбы.

Месмеханум не случайно выбрала себе такую далекую, едва различимую звезду. Глядя порой по вечерам на большое инжирное дерево перед их окном, она думала о том, что и счастье ее так же недостижимо, как эта звезда. А потом, когда у Месмеханум появился волшебный, сказочный мир, расстояние до этой звезды перестало быть непреодолимым, оно просто стало расстоянием до этого волшебного мира.

Вопрос Месмеханум озадачил и Мамедагу, словно он снова увидел улыбающееся лицо Китабуллы и его золотой зуб сверкнул в лунном свете.

— Не знаю...

Месмеханум сказала:

— Знаешь, о чем говорит мне моя звезда?

Мамедага молчал.

— Моя звезда говорит мне: Месмеханум, ты никогда не умрешь! Месмеханум, ты всегда будешь жить! Месмеханум, черная земля тебя не увидит!..

Месмеханум захотелось, махая руками, громко закричать в эту странную летнюю ночь прямо своей звезде: «Э-ге-ге-гей!», но она сдержалась, потому что и без того уже вывернула всю свою душу.

Мамедага спросил:

— А больше тебе ни о чем не говорит звезда?

¹ Кебин — брачный договор.



Месмеханум отвела глаза от своей далекой звезды и, услышав в голосе Мамедаги смех, сама рассмеялась.

— А больше ни о чем не говорит!

— Разве не говорит она тебе, Месмеханум, что, в сущности, ты не Месмеханум, а Месмебебе?..¹

— А-а-а... Это я-то ребенок? — Месмеханум ответила ему, усмехаясь, но ей все же понравились его слова. В устах Мамедаги «Месмебебе» прозвучало как-то очень ласково, по-родному, и теплота этого слова разлилась по сердцу Месмеханум. Но тут же ей вспомнилось, как три-четыре месяца назад она поругалась с милиционером Сафаром.

Милиционер Сафар в очередной раз задержал пьяного Мирзоппу и повел его в отделение милиции. Узнав об этом, Месмеханум, как всегда, чуть не выцарапала милиционеру Сафару глаза. Милиционер Сафар, вытирая мокрым платком лицо, сказал:

— Дочка, ты еще ребенок просто ребенок! Жалко мне тебя!..

Тогда эти слова сильно задели Месмеханум, ей показалось, что милиционер Сафар своими маленькими глазками, в сущности, многое видит и читает в другой душе. У нее даже опустились руки, и она подумала, почему это из-за безобразных поступков Мирзоппы она прибегает в милицию и оказывает такое неуважение этому пожилому мужчине.

¹ Бебе — малютка, ребенок.



не? Ведь каков бы он ни был, этот мужчина, он в десять раз лучше Мирзоппы! Месмеханум хорошо понимала и хорошо знала, что о своем муже нельзя такие слова говорить и даже думать такое. Говорить-то, конечно, Месмеханум никому ничего и не говорила, а мысли эти с тех пор то и дело приходили к ней. Правда, и после, каждый раз, когда Мирзоппа, напившись, устраивал дебош и попадал в отделение милиции, Месмеханум отправлялась за ним и поднимала там скандал, мол, выпустите моего мужа — ведь Мирзоппа был ее мужем и она должна была вести себя так, но все это она проделывала уже механически, а душа ее была далеко... Месмеханум захотелось забыть обо всем этом. Сейчас не думалось ни о чем плохом на свете, и

поэтому она шепотом сообщила Мамедаге нечто очень важное:

— Знаешь, моя звезда шутить не любит!

— Правда? — ответил ей тоже шепотом Мамедага.

— Да, — совсем уж тихо прошептала Месмеханум. — Давай и тебе выберем звезду?

Мамедага шепнул:

— Давай выберем...

Месмеханум прошептала:

— Выбирай, какую хочешь...

— Вон ту... — Протянув руку, Мамедага пальцем показал на еще одну еле различимую звездочку рядом со звездой Месмеханум.

— Пусть навсегда будет твоей...

— Хорошо...

И опять на Месмеханум навалилось предчувствие, что эта игра со звездами на этом безлюдном морском берегу Загульбы ничем хорошим для нее не кончится; конечно, ничего плохого и не произойдет, но горечь останется от этой игры и никогда не увидит из сердца Месмеханум, — Месмеханум хорошо знала свое сердце; этот фургон, чье алюминиевое покрытие серебрится в лунном свете, уедет с морского берега Загульбы, и тогда его звезда рядом со звездой Месмеханум превратит в ничто ее волшебный, сказочный мир.

— Нет, эту нельзя! — громко сказала Месмеханум.

— А какую можно? — Мамедага понял, что в душе Месмеханум вошла какая-то тревога. — Столько звезд, какую же мне выбрать?

— Какую хочешь, только мне не показывай.

— Почему?

Месмеханум не хотела объяснять. Она хотела бы скрыть и от себя самой то, что казалось ей неизбежным: пройдут дни, месяцы, кто знает, годы, и ветер, дождь, снег унесут и след этого фургона из этих мест, и тогда, подняв голову, она увидит звезду некоего случайно встретившегося ей голубоглазого парня, ей придется каждую ночь видеть эту звезду — и ей будет тяжело, ей и этой звезде, потому что этот голубоглазый парень быстро забудет звезду, которую он выбрал себе в одну из ночей в небе Загульбы, и горечь человеческого одиночества забытой звезды почувствует тогда Месмеханум...

— Свою звезду никому нельзя показывать.

— А ты почему показала?

Месмеханум снова посмотрела на свою звезду и растерянно повела круглыми плечами, туго обтянутыми желтой трикотажной кофточкой.

Снова подул норд, и он понемногу крепчал; если и дальше так пойдет, ветер за ночь хорошенько похозяйничает в этих местах. Мамедага хорошо знал, что апшеронские ветры непостоянны — в течение часа взвывается такой ураган, только берегись. Ему вообще нравился ветер, а многие терпеть не могут апшеронских ветров, особенно те, кто приехал из других районов, они никак привыкнуть не могут к этим ветрам. А он много колесил по дорогам Апшерона, разрывая ветер своей тяжелой машиной, но в эту удивительную летнюю ночь на этом морском берегу Загульбы не надо бы ветру дуть так сильно, чтобы песок забивался в нос и уши; в эту ночь ветру надо бы дуть так, чтобы эти скалы, превратившись в легкие лодки, хотели уплыть в море.

Мамедага сказал:

— Норд крепчает, кажется...

А Месмеханум посмотрела на него и сказала:

— Хочешь, остановлю ветер?

Мамедага пошутил:

— Ты колдунья?

— Да, я ужасная колдунья... — И Месмеханум оглянулась по сторонам.

— Что ты ищешь?

— Надо с деревом поговорить. Сказать дереву, чтобы оно остановило ветер.

Мамедага посмеялся над мудрой Месмебебе, но продолжил игру:

— А какое дерево тебе нужно?

— Любое.

Кто-кто, а Мамедага знал, что на песчаном морском берегу Апшерона найти зеленое дерево — трудная задача; остов сгнившей лодки можно найти, водочные, ливные бутылки, засыпанные песком с довоенного времени, вымазанное мазутом весло,

выброшенных на берег разных рыб, даже тюленя можно найти, но найти зеленое дерево, чтобы остановить ветер, — почти безнадежное дело.

— Вон на том холме растут маслины, пойдем туда, — и она, не дожидаясь ответа Мамедаги, сняла с ног сандалии и по еще не остывшему после полуденной жары песку быстрыми шагами пошла к темнеющему вдалеке холму.

Мамедага шел за колдуньей, его туфли наполнились мелким песком, и он чувствовал, что за этой быстро идущей босой девушкой с сандалиями в руках он шел бы вот так хоть на край света.

Месмеханум, обернувшись к нему, сказала, смеясь над горожанином:

— Сразу видно, что ты человек с асфальта. Сними туфли, иди быстрее.

Сняв туфли и носки, Мамедага взял их в руки и подбежал к ожидавшей его в лунном свете колдунье.

— Ты не веришь, что я остановлю ветер?

— Верю!

— Крепко веришь? Сейчас увидишь!

Мамедага шел за ней по остывающему песку, плотному под ступней, но сыпавшемуся сквозь пальцы ног, и ему казалось, что он не по земле идет, а в какой-то черной пустоте, проникнутой смирением и печалью; это смирение и эта печаль возникли и были только по ночам, а поутру они пропадали; днем начинались заботы и движение, днем ночной человек менялся и становился другим, но ведь то днем, почему же сейчас в сердце Мамедаги проникло уже некое утреннее беспокойство?

Апшеронский ветер надул на морском берегу большой холм из песка, и, как только они дошли до этого песчаного холма, Месмеханум побежала вперед и начала взбираться. Оглядываясь, она насмешливо говорила:

— Осторожнее, а то вдруг упадешь...

Мамедага, при каждом шаге проваливаясь в песок чуть ли не по колено, отвечал ей в тон:

— Не бойся! Я иду за тобой!

Песок на холме был очень теплый, и это тепло согрело ноги Мамедаги до лодыжек.

Месмеханум сверху кричала:

— Какой чудный горячий песок!

Мамедага знал, что в летний зной этот песок чудесным образом приносит разгоряченному телу прохладу.

А Месмеханум снова кричала:

— Жалко, что в будущем году сюда уже нельзя будет взобраться!

— Почему?

— Санаторий здесь построят! Со всех концов мира люди съедутся сюда. Во всем мире станет знаменитой Загульба. Во всех уголках мира узнают, что на Апшероне, на берегу Каспия, есть место, называемое Загульбой. Но жаль, что тогда уже этого песчаного холма не будет... Тогда я буду приходить, смотреть на этот санаторий, и мне будет вспоминаться, что в свое время здесь был песчаный холм...

С вершины холма белела тропинка; она вела к Загульбинскому пансионату, и справа от этой тропинки сплошь росли маслиновые деревья.

— Здесь много змей, не наступи!

— В такой ветер какие могут быть змеи?..

— С ветром я сейчас справлюсь!

В ночное время змеи часто выползали на дорогу, и Мамедага на дорогах Апшерона летом, можно сказать, каждую ночь встречал ползущих прямо по асфальту самых различных змей. Большинство змей оставалось под колесами машин, но по ночам другие снова выползали на асфальт. Асфальт хорошо сохра-

нял дневное тепло, и, наверное, поэтому апшеронские дороги вечерами влекли к себе змей.

А норд незаметно стал уже очень сильным.

Месмеханум, быстро обойдя мелкие деревца, установилась перед раскидистым оливковым деревом в зарослях маслин, полных стрекотания кузнечиков. Мамедага, задыхаясь, наконец догнал ее. Ему показалось, что Месмеханум очень хорошо знает это ветвистое дерево. В одной руке она держала свои сандалии, а в другой сжимала мелкие листочки маслинового дерева. Повернув голову, снизу вверх посмотрела она Мамедага прямо в глаза, улыбнулась, а потом, снова обернувшись к дереву, потрясла его за ветку и сказала:

**Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью,
Норд, уйди,
Моряна, приди!..**

И обернулась к Мамедаге:

— Ты у мамы какой по счету?

— Первый.

— Правда? — Месмеханум обрадовалась, как ребенок. — Тогда и ты скажи.

И Месмеханум снова, трясая ветку маслинового дерева, стала медленно и тихо повторять свое заклинание, а Мамедага так же медленно и тихо повторял ее слова:

**Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью,
Норд, уйди,
Моряна, приди!..**

Некоторое время они стояли молча. В зарослях маслин было тихо, мелкие, но частые листочки преградили путь лунному свету, и в темноте Мамедага чувствовал дыхание стоящей рядом с ним колдуньи, слышал, казалось, стук ее сердца, словно все это происходило во сне, когда он, как обычно в разъездах, спал в своей кабине на мягком кожаном сиденье. Только сон на этот раз какой-то необычный.

И вдруг в эту удивительную летнюю ночь произошло в самом деле чудо: все время усилившийся норд внезапно прекратился, и кузнечики, почувствовав это, стали стрекотать громче.

— Видишь? — Черные глаза Месмеханум светились в темноте.

— Вижу! — отвечал застывший в изумлении Мамедага.

Так же ловко, как вошла, Месмеханум вышла из зарослей и быстро полезла на песчаный холм. Попадая босыми ногами на колючки и щепочки, Мамедага торопливо пошел за ней.

Ноги их снова проваливались, и тепло глубокого песка снова согревало их, и оба думали сейчас об одном: какая хорошая ночь! Конечно, они не знали, что думают об одном, но, думая об одном, оба одновременно посмотрели друг на друга и поняли: эта ночь была хорошей потому, что рядом с морем и с этим песчаным холмом, под звездами и в лунном свете, серебрится стоящий недалеко алюминиевый фургон; эта ночь еще и потому была хорошей, что в самом центре ее, между морем, звездами и песчаным холмом, стояла девушка, которая умела разговаривать с морем и дружила с деревьями, а рядом с ней стоял парень, чьи голубые глаза источали на нее тепло, напоминавшее о ласке крупных отцовских рук, которые в свое время Месмеханум выдумала, но забыть не могла.

А шум моря, прежде усиливавшийся под ветром, теперь вместо с ветром слабел, и пенные гребешки волн белели все реже, и море в лунном свете постепенно темнело; с вершины песчаного холма море казалось еще более огромным, просто гигантским.

Месмеханум вздохнула:

— Завтра будет жарко.

Мамедага ответил, словно нехотя:

— Да, жарко будет...

И оба они вдруг почувствовали, что думать о завтра им не хочется; ночи, которая есть, одинокого фургона, что белеет в ночи, маслинового дерева, что может остановить ветер, — этого им вполне достаточно; они снова думали об одном, и их одновременно коснулась тревога.

Среди звезд показались зеленая и красная, слышался гул самолета, красная и зеленая звезды, пролетев над их головами, направились к аэродрому в Бина; огоньки исчезли, но гул еще некоторое время слышался, и Месмеханум, прислушиваясь к уходящему гулу, спросила:

— А ты откуда сюда приехал?

— Из Фатмаи.

Месмеханум громко рассмеялась:

— А-а-а... Мне казалось, ты с небес спустился, а ты говоришь — из Фатмаи... Ты в самом деле приехал из Фатмаи?

Мамедага тоже рассмеялся:

— Да, я приехал из Фатмаи, — сказал он и, отметив про себя, что гул самолета вовсе прекратился, подумал, что вчера, проведя самую обыкновенную ночь в Фатмаи, он даже представить себе не мог, что завтра в Загульбе его ждет такая ночь; Мамедага подумал и о том, что человек находится в дороге не только тогда, когда садится в машину, поезд, самолет или на пароход, человек находится в пути с момента своего появления на свет, в дороге из сегодня в завтра, и эта дорога отличается от обычной лишь тем, что сегодня ты не знаешь, где выйдешь завтра: на станции Радость или на станции Печаль? Вроде бы и эта мысль опять не очень то нова, но вот в чем дело: прежде о таких вещах Мамедага вовсе не задумывался, и подобное направление своих мыслей он ощущал как частицу этой удивительной летней ночи, как нечто совершенно новое для себя.

Но сказал он вслух самое простое:

— Вчера ночью в Фатмаи шел дождь... А здесь?

— Нет.

— Совсем не было?

— Нет, — подтвердила Месмеханум, но тут ей показалось странным, что вчерашней ночью один из них попал под дождь, а другой нет.

— Ты была в Фатмаи?

— Нет, не была.

— Хорошее село.

— Правда? — Месмеханум совершенно искренне удивилась, как будто место, где жил Агададаш, не могло быть хорошим; ей сразу вспомнился Агададаш, а этот человек, по мнению Месмеханум, был самым подлым человеком на свете, и каждый раз, когда он появлялся хотя бы только в памяти, у нее начинало все дрожать так, будто к ее телу прикасалась лягушка...

...Агададаш приходился Месмеханум далеким родственником, и мать Месмеханум, Гюльдесте, при знакомых, приятелях и соседях к месту и не к месту часто упоминала его и рассказывала о нем — пусть, мол, все знают, какие у них родственники! Агададаш был заведующим цехом чемоданов, имел в Фатмаи большой двухэтажный особняк, и прозвище у него было подходящее — все его звали «золотой Агададаш». Однажды Гюльдесте и Месме-

хаиум, возвращаясь с базара домой, встретились с его белоснежной «Волгой», и Агададаш, остановив машину, посадил их и отвез прямо к ним во двор. Это было время, когда Месмеханум только что перешла в десятый класс и все свои деньги, собранные по гривеннику, отдавала фотографу Николаю за «открытки», на которых были кадры из индийских и арабских фильмов.

Месмеханум много раз слышала имя Агададаша, но в лицо его не видела, и, когда белоснежная «Волга» остановилась во дворе их дома, девушке показалось, что она стала героиней одного из своих любимых фильмов. Соседи, увидев белую «Волгу», высовывались из окон, удивленно тараща глаза и многозначительно покачивая головами. Гюльдесте, выйдя из машины, победоносно посмотрела на соседские окна и быстренько, не дожидаясь, когда выйдет Месмеханум, сказала:

— Хлеб-то мы купить забыли!..

Когда они шли на базар, мать и не собиралась покупать хлеб. Гюльдесте для того сказала о хлебе, чтобы некоторые из их соседей, глядя и слушая из окон, от зависти сгорели.

Агададаш, посмотрев в переднее зеркальце машины на Месмеханум, сказал:

— Забыли? Ну и что, мы сейчас съездим, купим и привезем.

Месмеханум тоже посмотрела на Агададаша в зеркальце и улыбнулась.

Гюльдесте, глядя скорее на соседей, чем на Агададаша, сказала опять-таки для тех же завистливых соседей:

— Мы тебя замучили совсем...

А Агададаш, улыбаясь Месмеханум в зеркальце, возразил:

— Помочь вам — для меня удовольствие! — И белая «Волга» тронулась с места.

Гюльдесте, подняв с земли тяжелую соломенную корзину, нагруженную картофелем и луком, пошла к дому, с удовлетворением приговаривая:

— Вот такой он, сын моей тети — Агададаш!..

Прежде она всегда говорила «наш близкий родственник Агададаш», но история с белой «Волгой» привела ее в такой восторг, что Агададаш сразу стал сыном тети.

Кое-кто из соседей усомнился, конечно, в этой новости, но кое-кто, глядя вслед белой «Волге», подумал: «Гляди-ка, а Гюльдесте правду говорила, шикарный у нее родственник!»

Выехав со двора, Агададаш остановил машину и на этот раз обошелся без помощи зеркала, обернулся к Месмеханум.

— Пересаживайся вперед, — предложил он.

Месмеханум пришла в совершенное умиление от этой уважительности Агададаша и, смущаясь, сказала:

— Большое спасибо... Здесь тоже хорошо...

Агададаш крепко потянул Месмеханум за руку:

— Иди, иди! Что ты, хуже других?

Конечно, раз такой родственник, как Агададаш, хотел, чтобы Месмеханум пересела вперед и чувствовала себя более удобно, нельзя было ему отказать; Месмеханум молча вышла из машины и села впереди, рядом с Агададашем.

Агададаш сказал:

— Ты мне понравилась, хорошая девочка! — Потом спросил: — Сколько тебе лет?

Похвала Агададаша маслом разлилась по сердцу девушки, и Месмеханум, краснея, сказала:

— Шестнадцать исполнилось, пошел семнадцатый...

Держа левой рукой руль, Агададаш правой рукой

коснулся голых коленок Месмеханум, выступавших из-под ее черной юбки:

— Э-э, да ты просто табакá!..

Месмеханум в жизни не была в ресторане и не знала, что, когда цыпленка распяливают, как лягушку, и поджаривают до красноты, его называют «табака», и это очень вкусная штука — цыпленок «табака»; Месмеханум не поняла слов Агададаша и, глядя на эту дорогу, которую всегда проходила пешком, подумала о том, как хорошо иметь такого родственника, как Агададаш; одно только тревожило Месмеханум и очень мешало получать полное удовольствие от этой прекрасной прогулки, заставляя все сильнее биться ее сердце: ее тревожила правая рука Агададаша, поскольку эта рука все еще лежала на голой коленке Месмеханум.

Внезапно у Месмеханум сердце ушло в пятки — она почувствовала, что рука Агададаша потихоньку поднимается вверх, к ее бедру; она не знала, что делать, она так растерялась, что не издавала ни звука; рука Агададаша под черной юбкой постепенно поднималась выше, и Месмеханум, не в силах больше сдерживаться, хотела сказать, что дома у них есть хлеб и не надо покупать никакого хлеба, что она хочет только быстрее вернуться домой...

— Дядя Агададаш...

— Дядя? Не ожидал от тебя такого!.. — Агададаш, отведя глаза от дороги, с упреком посмотрел на Месмеханум, потом сжал бедро девушки. — Говори мне просто Агададаш, хочешь называй Ага или Дадаш, как тебе захочется... Как для других, так и для тебя! Ты не ниже других, как тебе захочется, так и зови меня! Ты будешь у меня как сыр в масле кататься. Раз в месяц я буду покупать тебе роскошный наряд, и шубу куплю, клянусь здоровьем! Клянусь могилой Эт-Ара!¹.

Месмеханум ничего не понимала из слов Агададаша, только чувствовала, что рука на бедре поднималась все выше, и когда пальцы Агададаша пролезли внутрь ее трусиков, девушка вне себя закричала:

— Останови! Я выхожу! Мама!..

Словно ужаленный змеей, Агададаш в мгновение отдернул руку и нажал на тормоз — он никак не ожидал скандала. А Месмеханум пришла в себя только тогда, когда поняла, что бежит по улице к дому.

Их квартира находилась на втором этаже большого двухэтажного дома, и Гюльдесте, выйдя на балкон, ждала белую «Волгу». Увидев возбужденную Месмеханум, бегом проскочившую двор, некоторые соседи покачали головой, некоторые удивились, а некоторые подумали, что такие вот дела: дерево, по которому взобралась мать, дочь проходит по веткам...

Гюльдесте бросилась открывать дочери дверь: — Что с тобой? Что произошло? Где Агададаш?

Гюльдесте придумала замечательный план: она задержит Агададаша, заварит чай, поставит перед ним варенье, которое хранила для особо важных гостей, а белая «Волга» часа два постоит во дворе, и... Увидев дочь в таком возбужденном состоянии, Гюльдесте было решила, что белая «Волга» совершила аварию или задавила человека.

Но Месмеханум, всхлипывая, кинулась на старый пружинный диван:

— Убежала я, убежала! Убежала!

¹ Эт-Ага — больной параличом человек, который у верующих Апшерона считается святым.

У Гюльдесте был немалый жизненный опыт, и тут уже она, кажется, догадалась о чем-то, но потребовала от дочери точного ответа:

— Почему убежала?

— Он залез рукой мне под юбку!..

Догадка Гюльдесте подтвердилась, и она, хлопнув ладонью о ладонь, крикнула:

— Вай, сукин сын! Пепел на голову такого мужчины! Да какой это мужчина — мартышка, мартышка!

Месмеханум обычно сердилась, когда мать говорила плохие слова, но на этот раз, всхлипывая, девушка только повторяла:

— А ты всегда говорила, что он наш родственник... родственник... и бог знает кто...

Гюльдесте эти упреки дочери — словно кипяток на руки.

— Родственник? Да провалился он! Родственник нашелся! Проходя по мосту, мы с ним задами столкнулись, вот и все! Оставил дома жену в сто килограмм, а сам ребенку под юбку лезет! — Потом, будто Агададаш стоял рядом, она растопырила пальцы и обеими руками отвесила ему пощечины. — Вот тебе! Вот! Чтоб ты провалился!

После случившегося разговоры об Агададаше в доме совершенно прекратились, Гюльдесте ни разу не упоминала его имени при дочери, но, когда Месмеханум не было рядом, при знакомых и соседях она порою все же не могла удержаться, чтобы не похвастать:

— Золотой Агададаш — наш родственник!..

...Мамедага смотрел на задумчивую Месмеханум, и ему очень хотелось, чтобы в эту удивительную летнюю ночь он обрел способность читать в сердце этой девушки.

— О чем ты думаешь?

Легко ступая босыми ногами, Месмеханум спускалась с песчаного холма.

— Думаю о том, что есть на свете дурные люди и поступки у этих людей дурные.

— К чему это?

— Есть один в Фатмаи... Вроде бы наш родственник...

Фатмаи было маленькое село, и Мамедага знал большинство живущих там.

— Как его зовут?

— Агададаш.

— Какой Агададаш? Золотой Агададаш?

— Да, золотой Агададаш. — Месмеханум с новым удивлением посмотрела на этого всеведущего парня, спускавшегося к ней с холма в лунном свете, и почувствовала, что сейчас она услышит от него что-то неожиданное.

— Так его же арестовали...

— Правда? — У Месмеханум, казалось, вспыхнули глаза, и по этой искре в глазах девушки, останавливающей ветер, Мамедага понял, что Агададаш был, видно, очень плохой человек.

— Да. Государственный чемоданный цех он превратил в свою лавку... И все собранное им золото отобрали — нечестное ведь!.. Да, теперь жуликам стало тужо. Паника у них, собачьих детей.

— Если таких будут вешать у меня на глазах, не охну! — Месмеханум явно не могла сдержаться.

— Он что, много тебе сделал плохого?

— Агададаш? Давно это было... Я была еще робкой овечкой... — Месмеханум улыбнулась, но Мамедага заметил горечь в улыбке ее полных губ. Сердце его дрогнуло — он понял, что эта смуглая девушка, говорящая с морем по ночам, когда дует моряна, совсем одинока, не на кого ей положиться и нечем похвастать.

А Месмеханум, не подозревая о мыслях Мамедаги, ушла в себя, ею овладела грусть по детству, по прежней Месмеханум. Если бы теперь Агададаш сунул руку под юбку Месмеханум, она выцарапала бы ему глаза. Остались позади те времена, когда Месмеханум терялась от страха перед любимым негодяем, теперь она чувствовала себя совсем другой, она знала все обо всем на свете, и если кто-нибудь скажет ей слово, то получит пять в ответ, как получил недавно Нерсес Вартанович.

Помидорный киоск Месмеханум работал от большого районного магазина «Фрукты-овощи», где заведующим был лет сорок крутившийся в торговой системе Нерсес Вартанович Гюльбекян. Позади киоска Месмеханум росло большое тутовое дерево, и Нерсес Вартанович на своем выигранном в лотерее желтом «Москвиче» (все, правда, говорили, что Нерсес Вартанович вовсе не выиграл машину по лотерее, а купил у кого-то счастливый билет за большую сумму, поскольку Нерсес Вартанович был хитрец и не хотел, чтобы однажды ему задали такой вопрос: «У тебя зарплата всего сто рублей в месяц, у тебя жена и дети, откуда же у тебя столько денег, чтобы машину купить?»), поднимая пыль, часто приезжал сюда и говорил:

— Вах!.. — Потом, сдвинув соломенную шляпу на жирный затылок, смотрел вверх. — Душа горит, ахчи¹, полезай, нарви немного тута, поедим!

Месмеханум не отказывала этому пожилому человеку в его просьбе: скинув белую ситцевую куртку, она в один миг взбиралась на дерево и наполняла тарелку спелыми ягодами, поскольку нельзя было трясти дерево — везде вокруг был песок. Минут десять — пятнадцать восседала Месмеханум на дереве и однажды заметила, что храбрец Нерсес Вартанович тайком подглядывает за ней снизу вверх, из окна ее киоска.

Месмеханум чуть не кинула прямо с дерева на голову Нерсесу Вартановичу тарелку с нарванным тутом, так она рассердилась, сделав свое открытие:

— Ах ты, старый перечник! Меня на дерево заставляешь лезть, а сам снизу подсматриваешь! Негодяй! Ну, погоди!

Нерсес Вартанович, покраснев, как праздничное яйцо Новруз-байраму, растерялся.

— Ахчи, я старый человек!..

— Ах, лиса, ты в Мекку едешь? ² Подожди, я спущусь сейчас!..

Ясное дело, что Нерсес Вартанович, не дождавшись, пока Месмеханум спустится с дерева, бросился к своему желтому «Москвичу», и, когда Месмеханум прыгнула с нижней ветки на землю, машина тронулась с места, поднимая пыль. Нерсес Вартанович спасся в тот день от гнева Месмеханум, но и после этого старался не показываться ей на глаза.

Месмеханум вспоминала, но в эту странную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы даже лихая победа над трусливым заведующим не развесялила ее — она с сожалением поняла, что годы отняли у нее и унесли с собой ту чистую кротость, из-за которой она растерянно молчала, а потом чуть не выбросилась из белой, как молоко, «Волги»; невинность, девичий трепет и дрожь от предчувствия огромного счастья — все это потеряно безвозвратно; прожитые годы были как болото, они

¹ Ахчи — девушка (по-армянски).

² Есть такая азербайджанская притча: лиса обманывает кур, говоря, что стала верующей, едет якобы в Мекку на паломничество; куры верят ей и становятся ее добычей.

поглотили все девичье, что было в ней, и на поверхности этого болота даже следа не осталось от того, что ушло, а если осталось что, так это или еле слышимый иногда отзвук детского голоса, едва различаемый аромат детства, чуть видная тень некой девочки — и от этих неуловимых воспоминаний начинает щекотать в носу и переполняет печаль.

Вот о чем думала Месмеханум, пока Мамедага, сидя на песке и завязывая шнурки туфель, пришел к твердому выводу, что эта красивая смуглая девушка считает себя бойкой женщиной, смеется над своей робостью в детстве и думает, будто детские годы давно засыпаны песками жизненного опыта, а на самом деле она и теперь та же самая девочка, потому что и та робкая девочка была драчливой, и у нее был длинный язык и острые ногти, но все-таки она была робкой овечкой, поскольку, в сущности, вся ее бойкость была необходима для того, чтобы прикрыть ее робость тогда и скрыть от всех теперь то, что она умеет беседовать с морем и останавливать ветер. Вот о чем думал Мамедага.

А море успокоилось, и монолитные скалы, превратившись в легкие лодки, хотели куда-нибудь плыть; море журчало, как река, и Месмеханум, подойдя к самой воде, стояла босыми ногами на влажном песке; она посмотрела вдаль, потом взглянула на касающуюся ее голых пальцев теплую воду, потом, нагнувшись, зачерпнула горсть воды, разжала пальцы — и вода сквозь ее пальцы снова ушла в море; Месмеханум побрела вдоль берега, и ей пришлось в голову, что иногда ночью в доме капает вода из крана, и человек до утра не может заснуть, а вот тут бесконечное журчание такого количества воды не только не раздражает, а прямо облегчает душу, и человек, как вот эти монолитные скалы, хочет стать лодкой и плыть; идя вдоль берега, Месмеханум не забывала о том, что сейчас за нею следит пара голубых глаз, но она помнила и о том, что скоро уже ей придется вспоминать эти голубые глаза, она закроет свои и увидит эти, но никто на свете не узнает об этом, никто, и знать об этом будет только один человек — Месмеханум.

— Ты много видела плохого тогда?

— Когда?

— Ну, когда была робкой овечкой...

Мамедага хотел пошутить, но слова с трудом пролезли через внезапно пересохшее горло.

— А... Ты о том времени говоришь... — Месмеханум легко улыбнулась. — Нет. Один-два раза...

— А потом как? Потом чаще встречалось плохое?

— А что ты называешь плохим?

— Что называю? Не знаю... Плохое, и все...

Конечно, если бы Мамедага, положив перед собой папаху, подумал, он мог бы ответить, что такое плохое, то есть он ответил бы, что плохое — это неблагодарность, эгоизм, нечестность, неуважительность, безжалостность, скудость и все такое подобное, но сейчас Мамедага подумал иначе — плохо не только то, что может сделать один человек другому; часто человек одинок, ему не на кого опереться, нечему порадоваться — вот это плохо. И он вдруг решил, что, в сущности, человеку плохо и тогда, когда ночью дует моряна, а человек под шум ветра разговаривает с морем — не человек плох, но что-то в его жизни плохо.

— Бить человека — плохо?

— Плохо, конечно...

— Вот, посмотри! — Месмеханум оттянула ворот своей желтой кофты, и на полном гладком плече девушки показался синяк; Месмеханум никогда бы не подумала, что вдруг в лунном свете, оголив плечо, покажет синяк чужому парню, и этот чужой парень,

стоя перед нею, так потрясенно будет смотреть на синяк у нее на плече, а потом, подняв руку, будет водить ладонью по ее плечу, задержит руку на больном месте и по всему телу Месмеханум разольется истинное, никогда ею не испытанное тепло, и она поймет, что это происходит не в ее сказочном мире, а на самом деле, и ей покажется, что эта рука — рука самого родного для нее человека в мире, ей покажется, что рука эта — рука ее отца, которого она никогда не видела...

...Гюльдесте работала проводником в поезде «Баку — Воронеж» и три дня жила дома, а пять — в поезде. Месмеханум с первого класса училась в школе-интернате, и поездки матери не сжимали ей сердце: раз или два в неделю она приходила домой и думала, что так и должно быть. Но прошли годы, Месмеханум окончила седьмой класс, и Гюльдесте решила, что дочь уже выросла, сможет сама себе все сделать, что надо делать дома, и не побойтся остаться одна. Мать забрала дочку из интерната, и Месмеханум стала жить дома, как все дети, готовила дома уроки, как все дети, а по ночам, как все дети, спала, впрочем, нет, не всегда она спала, потому что сердечко ее теперь сжималось каждый раз, когда мать уезжала.

Гюльдесте взяла Месмеханум домой не только потому, что очень любила дочь, хотя, конечно, она очень ее любила и думала о том, что пора уже присматривать за ней, потому что Месмеханум становилась девушкой и нельзя было предоставлять ее самой себе. Но Гюльдесте еще и потому взяла дочь домой, что ей хотелось, возвращаясь из поездки, знать, что ее дома ждут, ей кто-то радуется, а когда она отправляется в поездку, бросает ей вслед воды...

Конечно, со временем Месмеханум более или менее привыкла оставаться без матери на целых пять дней через каждые три, иногда ей даже казалось странным, что другие матери безотлучно живут со своими детьми. Словом, тоска незаметно ушла из ее сердца, в котором также незаметно возник второй, фантастический мир — он разрастался, становился все красивее, Месмеханум уже не хотелось уходить из него.

Месмеханум жила теперь сразу в двух мирах: в первом она учила уроки, ходила в школу, готовила себе еду, поролла старые платья, шила новые, приспособливая себе те, которые уже не годились матери, вечерами смотрела в клубе кинофильмы, ждала мать и вместе с нею ездила в Баку, бродила там по магазинам и занималась разными другими подобными делами, то есть такими, какими занимаются все; но второй мир Месмеханум был только ее миром. В этом мире по ее желанию шел дождь, падал снег, всходило солнце, в любое время можно было стать ребенком, или, наоборот, у тебя появлялся собственный ребенок, — Месмеханум его лепила, ублаживала и под эти баюкания, произносимые скрытно, в душе, и сама засыпала.

Удивительно, но у Месмеханум, кроме этих двух миров, было и еще «что-то». Она не знала, что это такое, но верила, что это существует, и ждала этого, убежденная в том, что придет время и «что-то» произойдет.

Произошло это весной, когда второй мир Месмеханум приобретал все краски первого — весенних деревьев, цветов, кустов, и ее солнце изливалось на ее мир беспричинную радость. В один из таких весенних дней, придя домой, Месмеханум увидела в комнате незнакомого ей мужчину, который сидел за

их круглым столом, покрытым белой скатертью, и беседовал с матерью. Белая скатерть иногда стелилась на стол, чтобы подчеркнуть особое уважение к гостю, и Месмеханум поняла, что этот гость — уважаемый гость.

Месмеханум второй раз видела у себя дома чужого мужчину. В первый раз это случилось, когда она только перешла жить из интерната домой; тогда она училась в восьмом классе, был ветреный осенний день, и преподаватель географии Азизов, заболев, не пришел на урок. Месмеханум раньше обычного ушла из школы, открыла дверь своим ключом, вошла и увидела в комнате чужого мужчину в одних голубых трусах, а Гюльдесте лежала в постели. На деревянной табуретке у кровати валялись ее лифчик, комбинация, трусы, и Месмеханум поняла, что мать раздета. Чужой мужчина, торопливо надев брюки, сбежал, а Гюльдесте залезла с головой под одеяло...

На этот раз чужой мужчина был не в трусах, на нем был чесучовый костюм, и, увидев Месмеханум, ни мать, ни он нисколько не растерялись — сидя напротив друг друга, они продолжали пить чай, наливая в блюдце, мужчина с шумом втягивал в себя чай, и по его толстому лицу катились ручейки пота. Когда он, попрощавшись, ушел, Гюльдесте многозначительно сказала:

— Хороший парень!..

Потом этот толстый мужчина зачастил к ним, и Месмеханум поняла, что мать собирается за него замуж. Теперь, приходя домой, девушка не открывала дверь своим ключом, а нажимала кнопку звонка: она боялась увидеть и этого мужчину без брюк. Он был значительно моложе первого, к тому же первый был длинный и худой, немного похож на милиционера Сафара, и голова у него была тоже лысая, а этот парень был полный.

Месмеханум молча ждала, когда мать выйдет замуж, она думала об этом чаще всего ночью, перед тем, как заснуть, и в такие ночи в ее втором мире, где ей, как сироте, некуда было идти, мели метели, буйствовали ураганы, снегопады, от холода у нее стучали зубы, но вдруг появлялся кто-то, похожий на сказочного принца, и спасал ее от этого ужасного холода. Все эти печальные и радостные события происходили в ее мире по ночам, а в обычном мире днем к ним приходил толстый молодой мужчина, садился за накрытый белой скатертью стол, наливал себе чай в блюдце, с шумом выпивал, а по его жирному лицу скатывались капли пота.

Конечно, Месмеханум была уже взрослой девушкой и понимала, что ее мать несчастна, потому что у всех знакомых соседей был мужчина в доме, у кого муж, у кого отец, у кого брат, а у них никого — все это Месмеханум понимала, но одного она понять не могла: что нашла ее мать в этом толстом мужчине: ни красоты в нем, ни поговорить толком не умеет!

Так все и шло до поры до времени, пока не произошло самое неожиданное событие на свете: Месмеханум узнала, что этот толстый мужчина ходит к ним не ради матери, а ради нее самой!

— Дочка, неужели ты еще не прозрела? Твои сверстницы такое вытворяют!.. Ради тебя приходит Мирзоппа, из-за кого же еще?.. Ради тебя. Неплохой парень, и зарабатывает неплохо, водит городской автобус, и дом у него есть отдельный. Надо по одежке протягивать ножки. Он нам ровня...

Вот что сказала Гюльдесте уставившейся на нее в изумлении дочери, и вот какими словами она ее благословила.

И остается только добавить, что тот толстый мужчина действительно был Мирзоппа.

После того, как семья Мирзоппы переехала из Баку в Загульбу, котел Алиаббаса-киши постоял здесь перед каждым из крытых киром домов, но и в этих местах число таких домов понемногу уменьшалось. Здесь тоже строились государственные дома, как в городе, — трехэтажные, а потом и пятиэтажные. Старые дома рушились, сносились, а новые дома с кировой крышей не строились. Алиаббас-киши был мастером своего дела, и если он однажды заливал крышу киром, то она начинала протекать лишь через семь-восемь лет. В общем, за казнями становилось все меньше.

Однажды Мирзоппа сказал отцу:

— А ты заливай крыши так, чтобы на следующий год тебя снова вызвали, понял?

Алиаббас-киши не любил читать мораль, он только посмотрел на сына, посмотрел и понял, что Мирзоппа сделан из другого теста, чем он.

Через одиннадцать лет после переселения в Загульбу Алиаббас-киши умер прямо на работе, разогревая котел, и тогда Мирзоппа прицепил отцовский котел к своему автобусу, оттащил его в металлोलом (найти охотника на котел уже было невозможно!) и, продав за десять рублей семьдесят копеек, купил три бутылки водки и вечером вместе с киномехаником Агагюлем крепко выпил.

Но, само собой, обо всем этом ни Гюльдесте, ни Месмеханум понятия не имели. Мирзоппа увидел Месмеханум в кино, и она ему понравилась. Месмеханум часто ходила в кино, а Мирзоппа часто навещал Агагюля. Киномеханик, увидев, что Мирзоппа из окна его будки разглядывает Месмеханум, подмигнул:

— Дочка Гюльдесте... Хороша штучка, не хуже своей матери!..

Мирзоппа не поддержал такой поворот разговора, а в один прекрасный день вошел в дом Гюльдесте и сам себя просватал — вот после того сватовства он и стал часто захаживать к ним.

У Гюльдесте было три причины, по которым она не хотела отказывать Мирзоппе. Во-первых, по мнению Гюльдесте, чем раньше Месмеханум выйдет замуж, тем лучше, потому что, как говорится, с кем это случилось, тот уже умный. Теперь Гюльдесте не хотела, чтобы взрослая дочь целыми днями бивала дома одна, боялась, как бы дочка не пошла по дурной дорожке. Во-вторых, Мирзоппа не спрашивал Гюльдесте, кто отец Месмеханум, и вообще не заводил об этом разговора. Наконец, была и третья причина, в которой Гюльдесте сама себе не хотела признаваться: за долгие годы она так привыкла делать все, что ей хочется, и жить одна, что с тех пор, как дочь вернулась из интерната, Гюльдесте словно заперли в клетке, и она была вынуждена играть с дочерью в прятки, она тосковала, скучала, порою у нее прямо-таки кончик носа чесался от воспоминаний о свободе и воле прежних дней.

Естественно, Месмеханум ничего не знала обо всех этих трех причинах, она не поняла, как случилось, что толстый парень, который с шумом, потеей, пил из блюдечка чай, вдруг оказался ей совсем другим. Тот день был для Месмеханум днем открытий. Месмеханум обнаружила удивительные вещи. Месмеханум открыла, что в течение всего этого времени она, в сущности, жила в доме как чужой человек, и эти комнаты всегда были для нее чужими и холодными. Правда, Месмеханум очень любила свою мать, но однажды до нее дошел аромат осени, печаль листопада проникла в ее сердце, и она подумала, что проводимая ею в этом доме жизнь пуста, как осеннее утро. Так она поду-

мала — «прямо как поэт», сказала она себе — и тут же решила, что не обязательно писать стихи, каждый человек где-то и когда-то бывает поэтом. А самое главное, Месмеханум поняла, что у человека должно быть не два мира, а один мир, и надо жить так, чтобы одного мира хватало. Месмеханум поняла это и рассмеялась над тем, как в ее втором мире девушка-сиротка попадала в пургу и ее спал юноша, похожий на принца.

Так девушка-сиротка и юноша-принц исчезли, как и появились, и теперь по ночам перед тем, как Месмеханум засыпала, в мыслях ее с дальней дороги возвращался автобус, усталый Мирзоппа приходил домой и, вымыв руки, измазанные мазутом, ел приготовленный для него Месмеханум юфта-бозбаш; в сон Месмеханум пришел запах бензина, ее волшебный сказочный мир спустился с седьмого неба на асфальт, и по этому асфальту покатились из Баку в Загульбу и обратно автобус...

Тогда еще не было известно, что Мирзоппа — пьяница, что он прямо-таки влезает внутрь бутылки с водкой, как не было известно и то, что всего через два месяца после женитьбы Мирзоппа, напившись до чертиков, среди ночи устроит дома скандал и, вытирашив свои красные глаза, скажет ужасные слова:

— Люди женятся на дочерях замминистров, а я нашел себе бидж...¹

Да, сначала еще многое не было известно; кто бы, например, мог предполагать, что рано или поздно, но неизбежно снова появится волшебный, сказочный мир Месмеханум...

...Синяк на плече Месмеханум будто жег ладонь Мамедаги, и у него заныло сердце: сердцу было так больно, будто умирает самый родной человек или на его долю выпало самое горькое испытание, — Мамедага чувствовал, что пройдет много лет, но он по-прежнему будет ощущать в своей ладони этот жар.

Месмеханум поняла, что сейчас заплачет, но если бы она сейчас заплакала, она бы всю жизнь себе этого не простила, и потому, глядя прямо в глаза Мамедаги, она быстро сказала:

— Когда он бьет, то всегда по телу, чтобы другим не было видно.

Мамедага молчал.

Месмеханум добавила:

— И рука у него ужасно тяжелая...

Мамедага молчал.

Месмеханум тихо сказала:

— Как будто кирпич...

Слова, которые она сейчас говорила, падали на Мамедагу, словно удары, предназначенные ей. Месмеханум почувствовала, что сердце этого голубоглазого парня — а рука его все еще лежала на ее плече — пылает. Но вдруг ей показалось — а что, если он просто жалеет ее? У нее засверкали глаза:

— Я тоже не остаюсь в долгу, — сказала Месмеханум и улыбнулась.

А Мамедага увидел смеющиеся черные глаза девушки, улыбку на ее полных губах — и сердце его оттаяло. Он ласково провел ладонью по ее плечу, по руке, погладил ее черные волосы — и Месмеханум всем своим существом отдалась этой руке, хозяин этой руки может сделать с ней сейчас все, что захочет, и она не станет сопротивляться, не издаст ни звука, потому что его ласковая ладонь перенесла Месмеханум в ее волшебный, сказочный мир наяву.

В квартале, где жил Мамедага, был неписанный закон: нельзя заглядываться на жену знакомого; если ты с кем-то сидел и ел за одним столом, то его жена для тебя сестра, и все. Мамедага никогда не нарушал этого закона, но не потому, что закон нельзя нарушать, а потому, что этот неписанный закон был у него в крови и тек по его жилам.

Но в эту удивительную летнюю ночь на морском берегу Загульбы Мамедага совсем позабыл, что на свете есть человек по имени Мирзоппа, а эта беспомощная, эта беседующая с морем девушка — жена Мирзоппы. Сняв руку с черных волос девушки, он молча стоял, он никак не мог поверить в то, что Месмеханум не то что Мирзоппы, а вообще чья бы то ни было «жена». Он знал одно: синяк на плече этой девушки, только что с трудом удержавшейся от слез, — самое подлое дело и самая большая несправедливость, с какой он до сих пор сталкивался в жизни, и Мирзоппа не достоин называться мужчиной.

— А его брат Дуду жив?

— Дуду? Ты и его знал? — Месмеханум, нагнувшись, надела на ноги сандалии. — Давно умер... Я совсем его не видела. Говорят, хороший был парень, умный, воспитанный... Немного помолчал, Месмеханум нерешительно добавила: — Говорят, после его смерти Мирзоппа начал пить еще больше.

Месмеханум нарочно сказала «говорят» — ведь обо всем этом, кроме Мирзоппы, никто ничего ей не говорил. Вообще-то Месмеханум не очень верила словам Мирзоппы, но его рассказам о Дуду поверила: поверила и в красоту Дуду и в его ум. Мирзоппа, как обычно, выдыхал густые пары спирта, садился на кровать, снимал носки и, вытирая грязь между пальцами ног, рассуждал: «Если бы Дуду был жив, разве бы я теперь дошел до этого? Разве бы меня сняли с шоферов и поставили бы, как женщину, продавать в автобусе билеты? Из-за чего я пью? С горя!» И каждый раз Мирзоппа, вспоминая Дуду, плакал. И в такие минуты Месмеханум казалось, что Мирзоппа тоже человек и в груди у него тоже есть сердце. Месмеханум с горечью думала о том, что преждевременная смерть умных и красивых людей, таких, как Дуду, — самое большое несчастье на свете. От этой мысли у нее самой глаза наполнялись слезами. Мирзоппа рассказывал, что в свое время они переехали из Баку в Загульбу из-за девушек. Девушки не давали покоя Дуду, писали ему письма, бежали за ним...

Во все это поверила Месмеханум, как поверила она и тому, что если бы Дуду был жив, может быть, Мирзоппа и в самом деле не был таким, каков он теперь.

— Ты знал Дуду, да? — жадно спросила Месмеханум.

Конечно, Мамедага знал, что такие дети, как Дуду, долго не живут, но все же, услышав о его смерти, он расстроился, живо представив себе лицо Дуду и его ничего не выражающий взгляд. Мамедага давно понял, что Мирзоппа искренне любил Дуду, а теперь он, возможно, и сам верит в то, что сочиняет для Месмеханум.

— Бедный Дуду... — вот и все, что ответил ей Мамедага.

Месмеханум посмотрела на него.

— Не будем говорить о Дуду... Лучше скажи мне: у тебя много желаний? — спросила она.

— Не считал. — Мамедага улыбнулся.

Но Месмеханум было, видимо, не до шуток — она спрашивала его, как самая строгая учительница математики:

— Как это не считал? Свои желания не знаешь?

¹ Бидж — ребенок от неизвестного отца.

— Мало ли какие бывают желания!

— Желания не бывают какие-то. Желание — это желание, да! Если ты хочешь, чтобы всю ночь шел дождь и стучал в окно, — это желание. Если ты хочешь, чтобы на свете никто никому не делал плохого, — это желание. Желание — это желание, большое или малое — все равно! Вот сейчас чего ты хочешь?

— Я?! — Мамедага изумился, но девушка была по-прежнему серьезна.

— Да, ты и сейчас.

— Сейчас я хочу есть.

— Что? — теперь изумилась Месмеханум.

— Есть!

— А-а-а... — Месмеханум в лунном свете внимательно посмотрела в голубые глаза парня и громко рассмеялась. — Проголодался?

— Помираю с голоду... — Мамедага показалось, что смея девушка, как весенний дождик, разнес вокруг чистоту и прохладу. Словно внезапно разрешилась ливнем черная туча, в течение минуты все омыла — и этот песчаный берег Загульбы, и море, и апшеронское небо с луной и звездами, и всю эту засверкавшую свежестью красоту заново увидел Мамедага и изумился. Вдруг он почувствовал себя так, словно вернулись времена, когда он пускал воздушного змея с крыши, на сердце нет забот, а на всей земле под этим апшеронским небом с лунной и звездами, рядом с морем, на песчаном берегу Загульбы, есть только они двое, всего два человека на всей земле, и одного зовут Мамедагой, а другую Месмеханум.

— Знаешь, я тоже проголодалась.

Еще утром, по дороге в Загульбу, в Бильгя Мамедага купил тендырный хлеб, который в Бильгя бывал особенно хорош. Конечно, плохого хлеба не бывает, и нельзя ругать хлеб или кривиться при виде его. Хлеб — святыня, но когда ты святыню едешь вкусно, то и едят хлеб с удовольствием, соответствующим достоинству хлеба. Сейчас в фургоне осталось всего понемногу: хлеб, виноград и сыр. С собой в дорогу Мамедага никогда не брал ни колбасы, ни сосиски, ни консервы, только натуральную еду: масло, сыр, зелень, овощи, фрукты. В горах милиционера Сафара на каждом шагу попадались родники, а на дорогах Апшерона — шашлычные, и иногда, если хотелось, Мамедага останавливал машину возле какой-нибудь шашлычной и, хорошенько вымыв руки, усаживался — летом на открытой веранде, а осенью или зимой — перед окном, чтобы съесть два-три шампура шашлыка из грудки с тендырным хлебом — чуреком. Работники придорожных шашлычных знали всех своих постоянных клиентов, большей частью шоферов грузовых машин, знали они и Мамедагу. Когда не было свежего мяса, они предупреждали его, и пиво даже не предлагали, только «Боржоми», если имелось. — Мамедага за рулем не пил ничего другого, кроме воды или чая, а в иное время это заискило от места и настроения. Например, в воскресные дни, выйдя из Желтой бани, приятно выпить одну-две кружки пива с горохом перед пивным киоском Асадуллы в верхней части квартала. Сакина-хала беспокоилась: «Выйдя из бани, холодное не пьют, детка, ангиной заболеешь». На что Мамедага отвечал: «Не бойся, мама, ничего не случится», — но в следующий раз после Желтой бани кружку «гвардейского» пива Асадуллы сменял бархатистый чай Сакины-хала.

...Мамедага сказал:

— Виноград, сыр, хлеб устраивают?

Месмеханум сказала:

— Виноград, сыр, хлеб устраивают!

Она посмотрела на алюминиевый фургон, одиноко сверкавший серебром в лунном свете, и издали почувствовала все его белое одиночество в этом мире. Но для нее свет алюминиевого фургона означал как раз конец ее одиночества. Месмеханум понимала, что уже за полночь и ей надо уходить домой, потому что у нее есть свой дом и есть муж и посреди ночи ей здесь делать нечего, — все это она понимала, конечно, но все это сейчас не имело значения, потому что сейчас на земле их было всего двое — она, по имени Месмеханум, и он — Мамедага, хозяин больших теплых рук и голубых глаз.

Месмеханум и Мамедага не знали ничего о том, что думал про себя каждый из них, но в эту удивительную летнюю ночь оба они часто думали об одном и том же.

Когда Мамедага и Месмеханум вошли в фургон, свет двухсотваттной электрической лампы ослепил их, и Месмеханум показалось, что развешанные на стене деревянные зайцы, деревянная лиса, медведь, лев и неведомый зверь весело смеются. Над чем же они смеялись? Над Месмеханум? Над Мамедагой? Или над этой ночью? Может быть, их развеселило, как они оба внезапно проголодались, и сейчас они сквозь смех говорили: «Эй, Месмеханум, Мамедага, вы дети земли, вы испытываете голод, так потрудитесь спуститься с седьмого неба на землю!»

Мамедага, перемахнув через стойку тира, открыл дверцу маленькой тумбочки, на которой стоял радиоприемник «Араз», и вытащил завернутые в газету хлеб, сыр, виноград.

Глядя на склонившегося перед маленькой тумбочкой Мамедагу, Месмеханум подумала, что всю эту ночь до утра она бы раскатывала тесто и готовила бы для этого парня джюшбере¹ и кутабы², а этот парень, с удовольствием поедавший джюшбере и кутабы, считал бы себя самым счастливым человеком на свете! Давно, уже очень давно Месмеханум не мечтала о том, чтобы приготовить что-нибудь для кого-нибудь, давно уже ей было безразлично, что ест она сама, но иногда по ночам перед тем, как заснуть, в ее волшебном, сказочном мире совершенно другая девушка по имени Месмеханум из мяса молочного барашка, только что зарезанного мясником Мирзой, готовила для кого-то плов с говурмой³, каштанами и альбухарой⁴, поджаривала из верблюжьего мяса кутабы с гранатами, варила халву с кунжутом...

Мамедага поставил все, что было, на стойку, перенес на противоположную сторону стойки деревянный табурет с лоскутной подушечкой и сказал:

— Садись. Есть такая поговорка: «Кто отдает все, что есть, тому не стыдно».

— Я знаю другую: «Незванный гость ест из своего мешка».

— А ты разве гость? — Мамедага совершенно искренне удивился, и он был прав: разве Месмеханум гость в этом фургоне?

Мамедага, развернув газету, аккуратно расстелил ее на стойке, разложил виноград, сыр, хотел разрезать хлеб пополам, и тут обнаружилось, что тонкий тендырный хлеб, весь день пролежавший в тумбочке, засох.

— Твердый стал хлеб...

— Ничего.

— Хочешь, подогреем?

— Да, подогреем! — У Месмеханум тотчас заблестели глаза. — Пусть появится аромат хлеба!..

¹ Джюшбере — пельмени по-азербайджански (из свежей баранины).

² Кутабы — пирожки из тонкого теста с начинкой.

³ Говурма — жареное мясо.

⁴ Альбухара — черная слива.

Раньше, отправляясь в путь, Мамедага брал с собой маленькую электрическую плитку, от аккумулятора он сделал внутри фургона проводку и иногда заваривал себе чай или жарил яичницу. Но однажды он с этим покончил раз и навсегда, потому что решил: тир не кухня, в тире не должно пахнуть плиткой, маслом, чаем. Правда, аромат хорошо заваренного чая порою очень приятен, особенно безлюдной ночью в каком-нибудь алшеронском селе, в этом аромате были уют и теплота, но что делать, тир не дом, тир — это тир.

— Ты посиди, а я на берегу разожгу костер, подогрею хлеб и принесу.

— Да, разведи костер! Пусть смешается аромат хлеба с запахом костра! Я пойду с тобой, зачем мне сидеть здесь?

— Ладно, пошли.— Мамедага улыбнулся.

— Знаешь, хорошо разводить костер, слушать его треск, глядеть в его пламя, играть со своей тенью... Он и в море отразится и там, в воде, запыхает... Только потом грустно заливать угли водой, правда?

— Да, это верно...— Мамедага вспомнил, что в детстве, разведя костер прямо перед Узким тупиком, они прыгали через него и тоже считали, что на свете нет ничего лучше, но им тоже было не по себе, когда после приходилось заливать водой угли, которые шипят, как живые.

— Ты Янаргай¹ знаешь? — спросила Месмеханум с загадочным блеском в глазах

— Нет.

— Пошли! — И в мгновение ока Месмеханум отобрала у Мамедаги приготовленный им сверток с виноградом, сыром, хлебом.

— Куда?

Месмеханум сунула под мышку сверток и сказала:

— Иди за мной.

И Мамедага понял, что девушка, останавливающая ветер, зовет его не в простое место, потому что — и это само собой разумеется — девушка была не простым человеком, как и ночь была не простой ночью и вообще этой ночью все в мире было не простым; Мамедага пошел за Месмеханум, но она внезапно остановилась в дверях фургона, обернулась и, глядя на деревянного зайца, сказала:

— В него стрелять нельзя.

— Почему? — Мамедага тоже посмотрел на деревянного зайца.

— Такой красивый смешной зайчик... Зачем же в него пулей?..

— А его пуля не берет! К тому же, если выстрелить хорошо, из него другой заяц вылезет.

— Ну да! — Месмеханум, недоверчиво улыбаясь, смотрела то на Мамедагу, то на зайца.

— Хочешь, выстрели и посмотри.

— Я? Я в жизни не стреляла...

— Не стреляла, а теперь выстрелишь. Иди сюда.

Месмеханум положила сверток на табуретку, а Мамедага взял с маленького четырехугольного столика перед стойкой одну из разложенных там винтовок; он одинаково следил за всеми винтовками, и все они — старые и новые — были в полном порядке. Засунув в ствол железную пулю со щеточкой, Мамедага объяснил:

— Видишь красную точку? Целься в нее.

— Я же не умею целиться...

— А сейчас ты отлично выстрелишь.

Месмеханум взяла винтовку, прищурив один глаз, посмотрела на деревянного зайца, и заяц начал плясать под ее взглядом туда-сюда...

— Нет, не могу...

Левой рукой ухватив приклад ружья, Мамедага правую протянул вперед поверх ее плеча, положил палец на ее палец на курке и, прижавшись щекой к волосам Месмеханум, прицелился. От черных волос Месмеханум шел удивительный запах. Руками и грудью Мамедага ощущал спину девушки, ее плечи, шею: в этом ощущении было что-то такое, будто он своими руками, своей грудью хотел прикрыть обнаженные руки девушки, ее плечи, как будто ее надо было защищать от кого-то и как будто Мамедага хотел принять на себя удары, готовые обрушиться на кажущееся таким беспомощным, таким беззащитным тело. Сейчас ему казалось, что это тело, это существо в его сильных руках — тело ребенка, существо ребенка, но его правое запястье коснулось груди девушки, Мамедага ощутил округлость, твердость этой груди — и вместе с пальцем Месмеханум нажал на курок.

Увидев, как деревянный заяц упал направо, а появившийся из-за него второй заяц упал налево, Месмеханум обрадованно закричала:

— Ура-а! — и, обернувшись, посмотрела снизу вверх в эти голубые глаза. Она впервые видела их так близко, дыхание этого парня опалило ей лицо, и девушка захотела поцеловать его — захотела и поцеловала, вот такая была Месмеханум...

...Чтобы не скучать одной в квартире, Бикебаджи иногда сдавала комнату, чаще всего молодым девушкам, приезжавшим в Загульбу работать. Но девушки снимали комнату на один-два месяца, а потом убегали обратно в Баку или получали от государства квартиру. Когда Месмеханум училась в девятом классе, у Бикебаджи на квартире жила девушка по имени Гюльзар — она окончила в Баку библиотечный техникум и получила назначение в загульбинскую библиотеку.

Однажды в полночь Месмеханум мыла на кухне посуду. Все давно спали, только окно Месмеханум светилося. В этот день Месмеханум, посмотрев двухсерийный арабский фильм, вернулась поздно. Фильм произвел такое впечатление, что и после возвращения домой Месмеханум долго не могла прийти в себя. Это была история из жизни летчика Ахмеда. У Ахмеда была красивая возлюбленная — Хабиба. Уже была назначена их свадьба и приглашены гости. Однако врач Махмуд, который тоже любил Хабибу, в день свадьбы вывел из строя какие-то приборы в самолете Ахмеда, и Ахмед потерпел аварию. Часть лица у него обгорела, Ахмед попадает в больницу, но Хабибе ничего не сообщает: он не хочет показываться ей с таким уродливым лицом! Хабиба же думает, что Ахмед изменил ей, бросил ее. Доктор Махмуд пытается силой овладеть ею, но Хабиба выбегает на улицу, бежит по городу, чуть не сходит с ума, воры и картежники сливают ее, хотят овладеть ею. Вдруг Хабиба приходит в себя. Она узнает подробности аварии, происшедшей с Ахмедом, и на дальнем курорте разыскивает укрывшегося от всех героя. После долгой разлуки они обнимают друг друга и целуют. Доктор Махмуд раскаивается в своих поступках и плачет горькими слезами. Он вылечил лицо Ахмеда, и летчик становится красивым, как прежде. Ахмед и Хабиба играют свадьбу, они счастливы. Доктор Махмуд в финале фильма плачет от радости.

Моя грязные тарелки, Месмеханум продолжала думать об Ахмеде и Хабибе со слезами на глазах. Все влюбленные должны любить друг друга, как Ахмед и Хабиба, думала Месмеханум, и тогда доктора махмуды обязательно раскаются. Внезапно Месмеханум что-то показалось, и, высунувшись из

¹ Янаргай — горящая скала.

окна, она увидела, как у подъезда целуются парень с девушкой. Это была Гюльзар.

Месмеханум впервые в жизни видела, как парень и девушка обнимаются и целуются не в шутку, а всерьез, не подозревая, что кто-нибудь их увидит в этот поздний час.

Каждую ночь Гюльзар целовалась с этим парнем, прислонившись к косяку двери, и каждую ночь Месмеханум, спрятавшись перед окном кухни, поджидала их. Месмеханум не знала этого парня, он, видимо, тоже был приезжий. Она слышала его мягкий голос, идущий, казалось, прямо из сердца; Месмеханум не разбирала слов, но видела, что сначала парень что-то ласково говорил Гюльзар, а потом они целовались. Гюльзар первой поцеловала парня, она не ждала, когда он кончит говорить, прервала его на полуслове. Напоследок Гюльзар целовала его, крепко прижимая к своей груди, после чего поднималась домой, а парень еще некоторое время стоял во дворе и смотрел на окно Бикебаджи.

Месмеханум каждую ночь подглядывала за ними, а потом, засыпая, слушала, как уже ей самой какой-то парень говорил тем же мягким голосом, идущим прямо из сердца, какие-то ласковые слова. И опять Месмеханум не понимала значения этих слов, но все равно они теплом разливались по всему ее телу — и она засыпала.

Но однажды ночью Месмеханум напрасно ждала их, сидя перед своим кухонным окном. Они не пришли, чтобы, как всегда, прислониться к двери. В следующую ночь Месмеханум увидела этого парня, но он одиноко стоял у входа во двор и смотрел на окно Бикебаджи. На третью ночь парень не пришел, и в четвертую ночь дверь никому не понадобилась. Месмеханум решила было, что теперь эта дверь обречена навеки стоять всю ночь без влюбленных, но на пятую ночь Месмеханум вновь услышала знакомые голоса и тайком из кухонного окна посмотрела вниз: в темноте она тотчас узнала Гюльзар, но сразу же поняла, что парень, с которым в этот раз обнималась и целовалась Гюльзар, — это уже другой парень.

Правда, Гюльзар и этого парня целовала, как того, но у Месмеханум вдруг сжалось сердце, и она ушла от окна, и села на свою кровать, уставившись глазами в пол: в мире существовала неверность! Слезы упали к ее ногам, и Месмеханум больше никогда не ждала Гюльзар, стоя у окна.

Дни прошли, и месяцы пролетели, но известно, что каждой девушке предназначен свой парень, — и на долю Месмеханум выпал Мирзоппа. А потом снова прошли годы, и Месмеханум теперь уже не могла бы припомнить, когда она последний раз целовала Мирзоппу и когда Мирзоппа в последний раз целовал ее — и этого она не могла вспомнить. Водка отбила у Мирзоппы всякую охоту до любви, но, скрывая свою слабость, Мирзоппа упрекал жену:

— Ты бесплодна! Не рожает! — и будто бы поэтому неделями не подходил к ней. Иногда, дыша алкоголем, он все же хватал Месмеханум, но тут уже не было речи ни о поцелуях, ни о ласках.

А детей по-прежнему не было, и однажды Месмеханум пошла к врачу, которого все хвалили. Месропя, осмотрев ее, попросил, чтобы и муж пришел на обследование. Вечером Месмеханум сказала Мирзоппе:

— Сходи завтра к Месропяну.

Мирзоппа подумал было, что Месропян этот из милиции и, значит, опять его вызывают туда. Вытащив покрывшие от воды глаза, он спросил:

— Это какой Месропян?

— Доктора Месропяна знаешь?

— А какого черта мне делать у доктора?!

— Пусть посмотрит тебя — надо же узнать, почему у нас нет детей!..

Мирзоппа не поверил своим ушам:

— Что?! Я пойду, разденусь перед Месропяном?.. Свой стыд на меня валишь?

И в тот день у них в доме снова был скандал, но соседи уже привыкли к их семейной жизни.

...Месмеханум со свертком под мышкой вышла из фургона.

Все еще ощущая прикосновение прохладных, сухих, полных губ Месмеханум, Мамедага вышел из фургона вслед за девушкой.

Месмеханум, подняв руку, показала на скалы:

— Туда пойдем.

Месмеханум быстро шла по камням, ни разу не оступившись, не споткнувшись, как будто зная здесь каждую яму, каждую расщелину. Она спешила, как будто боялась наступления утра.

На Апшероне не было такой асфальтированной дороги, которую бы Мамедага не знал, но за много лет он впервые шел по камням. Он не знал, куда они идут, но мысли его были заняты другим: Мамедага с трудом удерживался от того, чтобы, подобно юноше, у которого еще не наметились усы, не погладить рукой то место на подбородке, которого коснулись губы Месмеханум.

Обернувшись назад, Месмеханум улыбнулась и сказала:

— Уже скоро, потерпи.

Впадины между камнями заполняла теплая вода, и все было покрыто мхом.

— Здесь скользко, иди осторожно...

— Не бойся...

Когда они снова, спустившись со скал, вышли на песок, море уже было далеко от них. А вокруг все было совершенно голо, все казалось серым в лунном свете, не было ни куста, ни деревца. Они прошли мимо совсем маленького озера, но в эту удивительную летнюю ночь Большая Медведица и все прочие звезды апшеронского неба легко уместились на поверхности этого маленького озера.

Остановившись, Месмеханум, словно опытный гид этих мест, сказала:

— Это Соленое озеро.

— Почему?

— Во время войны жители добывали здесь соль. Говорят, хорошую.

Казалось, будто от серебряного в лунном свете фургона они ушли не на какие-нибудь три-четыре километра, а на другой конец земли, и если кто и знал об этом месте, то это была Месмеханум. И вдруг родной Баку и их квартал показались Мамедаге такими далекими, что теперь он и представить не мог, как это всего через несколько часов он вернется к своей прежней жизни и, сидя дома, станет пить чай, приготовленный мамой, а, выйдя к Узкому тупику, беседовать с парнями — неужели обычное войдет в свои права, а эта удивительная летняя ночь и водившая его по побережью Месмеханум уйдут в мир бесплотных воспоминаний?

— Слышишь, как лягушки квакают? — спросила Месмеханум.

Шум моря слышался здесь, как далекий гул, здесь громко квакали лягушки, и это наглое кваканье лягушек под тихий далекий гул моря заставило сердце Мамедаги сжаться в предчувствии одиночества. Схватив девушку за руку, он сказал:

— Месме... — и сам удивился своему голосу. Он удивился тому, что его голос прозвучал на берегу этого Соленого озера сквозь нестройное кваканье лягушек и далекое дыхание моря. Впрочем, самый

удивительным было то, что девушку, беседующую с морем и останавливающую ветер, он назвал так просто: Месме...

Месмеханум отняла у него свою руку, приложила палец к губам и сказала:

— Тс-с-с... — и прошептала: — Здесь шуметь нельзя...

Конечно, на берегу Соленого озера можно было шуметь и даже петь можно было, только Месмеханум — и понять это было не так уж трудно — не хотела слушать того, что он скажет. Правда, сам Мамедага не знал, что он хотел сказать, он знал одно: он что-то скажет, и его голос рядом с этим лягушачьим кваканьем и шорохом далекого моря некоторое время будет звучать на берегу Соленого озера.

И Мамедага не понял, что Месмеханум сейчас боится, что слова, которые произнесет на берегу Соленого озера Мамедага, превратят эту удивительную летнюю ночь в ее полную противоположность и волшебный, сказочный мир мгновенно уйдет.

Только сейчас, спускаясь со скал на серый песок, Месмеханум почувствовала, что до утра остается мало. Ночь заканчивается, а утром снова, надев белую бязевую куртку, она встанет за везы в помидорном киоске. Она вспомнила, что Мирзоппа сейчас спит в отделении милиции и его опять посадят минимум на пятнадцать суток, если только на этот раз милиционер Сафар не обозлился, а тогда дело может стать серьезным.

И вдруг, в тот момент, когда она подумала о Мирзоппе, ей показалось, что этот Мирзоппа чужой, из чужого, далекого мира, он не имеет ничего общего с ее миром и неправда, будто она столько лет прожила с Мирзоппой, будто все эти годы она была женой Мирзоппы, а он ее мужем, и они клали головы на одну подушку. А пьянство Мирзоппы и его скандалы, всю его мужскую грубость она увидела теперь в свете этой удивительной летней ночи как нечто мелкое, ничтожное, бессмысленное и, главное, недостойное мужчины. Она сердцем поняла, что за одну эту ночь перестала быть прежней Месмеханум, хотя имя ее не изменилось, как и лицо, и фигура, и это было хорошо, потому что и лицо, и имя, и фигура, как ни странно, больше соответствовали этой, новой Месмеханум, чем прежней. Когда Мамедага взял ее за руку и назвал просто Месме, Месмеханум охватил страх, что весь ее новый и только что родившийся и хрупкий мир, который она тайне наслаждалась, рассыплется в прах, обернется чужим и далеким миром — а зачем, ведь утро еще не наступило, еще оставалось какое-то время до беспощадного утра.

И Месмеханум прошептала:

— Ты устал?

И Мамедага ответил ей шелотом:

— Нет...

— Идем, уже скоро...

После Соленого озера, увязая по шиколотку в песке, они преодолели подъем и снова взобрались на скалы. Это были те же самые скалы, но с другой судьбой. Те скалы, что остались позади, на морском берегу, мечтали, превратившись в легкие лодки, уплыть в море, лизавшее им ноги. Но эти скалы никогда не смогут уплыть в море, которое так далеко отступило от них. Эти скалы останутся на своем месте до тех пор, пока они скалы, пока ветер и дождь не превратят их в лыль, в ничто. А когда-то, наверное, и здесь тоже плескалось море, и они тоже могли мечтать о том, чтобы, превратившись в легкие лодки, куда-нибудь уплыть.

Мамедага знал, что Каспий мелеет. Алхас-бек из их квартала, сидя на деревянном табурете и глядя

в газеты сквозь толстые стекла очков, говорил, что ученые сейчас занимаются этим вопросом. Каспий мелеет, а это означало, что через тысячу лет море так далеко уйдет от нижних скал, что они тоже не смогут никуда уплыть. Но все это, если и будет, то через тысячу лет, а тысяча лет дышит на человека вечностью, в сравнении с которой человеческая жизнь далеко совершенно ничтожна. Так подумал Мамедага и испугался: а вдруг и Месмеханум сейчас почувствует ничтожность нашей жизни и ее хрупкое сердце не выдержит испытания бездной?

Его туфли были полны песка. Прислонившись к скале, он снял их и вытряхнул. Месмеханум, обернувшись, рассмеялась:

— Уже совсем скоро, потерпи...

Сама Месмеханум, пользуясь тем, что в этом месте камни лежат на близком расстоянии друг от друга, перескакивала, как горная козочка, с одного камня на другой, убегая вперед.

И вдруг Мамедаге показалось, будто прямо перед ними, у подножия песчаного холма, восходит солнце, словно не на всем Апшероне, а только здесь, у подножия этого песчаного холма.

И Месмеханум сказала:

— Пришли.

Мамедага сразу заметил большую монолитную скалу, испещренную будто бы норами ящериц, однако из них струились язычки синеватого пламени, как если бы в скале провели газовые трубы и спичкой зажгли все эти «конфорки», и этот свет показался Мамедаге светом восходящего солнца. Глядя на огромную монолитную скалу, горевшую множеством синеватых язычков, Мамедага снова почувствовал себя не в четырех-пяти километрах от фургона с привычной надписью «Пневматический тир», а в каком-то неправдоподобном мире, и хозяйка этого полного чудес мира — Месмеханум, в синеватом свете Янаргая задумавшаяся о чем-то Месмеханум.

Но Мамедага нехотел вспомнить, что на плече хозяйки этого волшебного мира синяк, что подбородок ему холодит след от ее прохладных, сухих, полных губ, и ему показалось, будто он в самолете, а самолет падает, и сердце Мамедаги хочет вырваться из груди.

— Ты слышишь эти звуки? — спросила Месмеханум.

Мамедага услышал странные звуки, как только увидел «солнце» у подножия песчаного холма.

— А знаешь, что это такое?

— Нет...

— Летучая мышь. Пугается света Янаргая и поднимает крик...

Некоторое время они помолчали, стоя перед Янаргаем, неизвестно, что видела Месмеханум, а Мамедага видел теперь только Месмеханум.

— За всю жизнь не привыкли к Янаргаю?

— К Янаргаю нельзя привыкнуть...

Опять помолчали.

Мамедага спросил:

— Ты часто сюда приходишь?

Месмеханум ответила:

— Иногда.

Мамедага спросил:

— Одна?

Месмеханум обернулась, удивленная, и Мамедага поразился своему одностороннему вопросу: конечно же, Месмеханум приходила сюда одна, это был ее мир, и никого не было у Месмеханум, с кем бы она могла прийти сюда, и в этот свой одинокий мир она ввела его.

— Уедем в Баку!

Эти слова прозвучали так, будто их произнес не Мамедага, а скала Янаргай, их повторили тут же со всех сторон, и все, что было вокруг, заговорило: уезжай, Месмеханум, уезжай, нечего тебе здесь делать одной!

Но Месмеханум молча смотрела на Мамедагу.

— Ты слышишь меня? Поедем со мной в Баку!

Голос Мамедаги прозвучал теперь слишком громко для этих мест. Месмеханум отвернулась и, глядя в огни Янаргая, резко ответила:

— Из меня Тамиллы не выйдет...

Летучие мыши, услышав человеческие голоса, зашумели и закричали сильнее, но Мамедага слышал в их галдении тревожный стук — стук своего сердца. Он растерялся.

Иногда человек не знает, что надо сказать и что сделать, потому что ему кажется, что любое его слово и движение лишне, да и сам он лишний на этом свете, ненужное и бесполезное существо, которое копейки не стоит; и тогда человек становится сам себе противен, — так чувствовал себя сейчас Мамедага, стоя перед Янаргаем и не понимая, зачем он вообще родился на этот свет.

А Месмеханум рассмеялась:

— И ты тоже немного себе... Иди сюда, сядь на этот камень, а я разогрею хлеб! Увидишь, какой будет аромат!.. Садись.

На маленьком камне Месмеханум развернула газету, аккуратно разложив на ней сыр и виноград, а хлеб положила на край, поближе к Янаргаю, и в эту странную летнюю ночь вокруг Янаргая разнесся аромат подогреваемого на огне хлеба. И этот распространившийся вокруг них запах хлеба изменил настроенные Мамедаги. Он посмотрел на Месмеханум, присевшую на корточки около Янаргая и переворачивающую на огне тендырный чурек, взглянул в бесчисленные огненные глаза Янаргая, поднял лицо к небу Апшерона, где светло сияла луна и звезды, и подумал, что мир велик и прекрасен, и почему бы человеку не радоваться этому прекрасному миру, почему не быть всегда в отличном расположении духа? А если в мире есть еще и девушка по имени Месмеханум, чьи прохладные, сухие и полные губы касаются твоего подбородка, тогда почему бы не считать себя первым счастливым на земле? И если ты честный человек, который никому не изменил, а в руках у тебя сила и ты крепко стоишь на земле, то все у тебя в жизни должно быть просто и ясно, и все, чего ты желаешь, должно исполниться, почему бы и нет?

И Мамедага взглядом нашел едва различимую средн всех звезд звезду Месмеханум, и Месмеханум, перекидывая с руки на руку нагретый Янаргаем хлеб, тоже посмотрела на свою звезду. Мамедага спросил:

— Твоя звезда ничего не говорит тебе?

— Говорит.

В синеватом свете Янаргая голубые глаза Мамедаги казались еще больше, и Месмеханум сказала:

— Сказать тебе, о чем она говорит?

— Да, скажи.

— Она говорит: Месмеханум, в эту ночь на тебя упала тень царственной птицы, пролетевшей над твоей головой...

...Сколько раз аромат поджаренного хлеба разносился во все стороны от Янаргая, свидетелем скольких таких ночей был Янаргай, этого не знали и не могли знать ни Мамедага, ни Месмеханум. А может быть, не только хлеб жарили здесь, могло быть и так, что тысячу лет назад, в то время, когда здесь было море, а человек еще был рабом, а не победителем природы, он жарил на огнях этой скалы мясо, добытое на охоте.

...Понемногу светало. Отсюда, конечно, не увидать, как солнце поднимается из моря, но когда оно поднимется, его лучи рассеют тьму и вокруг Янаргая и всюду.

Сидя на обломке скалы, Месмеханум всматривалась в загоревшее и даже почерневшее на дорогах Апшерона лицо Мамедаги, жуящего теплый хлеб с сыром и виноградом, как будто старалась запомнить навсегда черты его лица, его улыбку, выраженные глаз. Янаргай — это ее костер, и в эту странную летнюю ночь она разожгла этот костер для Мамедаги. Ей казалось, что и хлеб она сама замесила и испекла, и виноград сама вырастила и собрала, и сыр сама заквасила, и все это она сделала для того, чтобы в один прекрасный день этот голубоглазый парень, присев на этот камень, со вкусом поел этот виноград, сыр и хлеб; а вернее — в ту ночь, когда царственная птица, пролетев, накрыла Месмеханум своей тенью. Жаль только, что век тени очень короток. Сейчас в свете Янаргая на песок падали тени Месмеханум и Мамедаги, но скоро наступит утро, и тень царственной птицы исчезнет, как и их обе тени. Печаль проникла в самую глубину ее сердца, куда не доходит аромат подогретого на Янаргае хлеба, и жаль, что печаль пришла тогда, когда еще оставалось немного времени до наступления утра. И еще хуже было то, что Месмеханум хорошо знала: если печаль пропитана вот таким запахом горячего хлеба, перенести ее будет особенно трудно.

Месмеханум представила, как сейчас на морском берегу Загульбы стоит алюминиевый фургон, и все еще серебрится в рассветных сумерках, и чувствует себя таким одиноким на пустынном берегу, и не понимает, что на свете есть девушка по имени Месмеханум, а у этой Месмеханум есть на небе звезда, и эта звезда смотрит с неба на этот фургон и отныне будет всегда смотреть на него — и ночью и днем, всегда и везде, где бы ни оказался этот алюминиевый фургон.

От огня Янаргая было жарко, у Мамедаги на лбу и на носу выступили капли пота.

— Жарко тебе? — спросила Месмеханум.

— Да, немного.

— Хорошо бы сейчас дождь пошел, правда? Хочешь я вызову дождь?

— Нет.

— Испугался, что не смогу? — Месмеханум резко рассмеялась, и этот смех бросил тень на ее и без того черные глаза, но эта тень уже не была тенью царственной птицы. — Не веришь...

...Чайчи Газанфар, как обычно прняв в чайхану рано утром, разжег огонь в большом самоваре и теперь, усевшись по-турецки на паласе, постеленном на деревянном полу, колот топориком головку сахара. Изредка поднимая голову, он посматривал на асфальтовое шоссе, ведущее в Баку, и, когда увидел на этой дороге алюминиевый фургон-тир, сверкавший в солнечном свете, то с удовлетворением подумал о том, что сегодня все его постоянные клиенты вернутся к нему.

...Старший сын тетушки Ханум, Абульфаз, работал садовником в Бина, там же был и его дом. И тетушка Ханум, нарвав в своем дворе в Бузовнях инжира, винограда, гранат и айвы, везет все это в Бина. Абульфаз говорил ей: «Зачем ты, женщина, везла такую тяжесть? Видишь, сколько у меня инжира-винограда?» А Ханум-гары отвечала: «Эти плоды с деревьев, посаженных твоим отцом и дедом. Вкус их должен быть особым для тебя. И для тебя и для твоих детей».

Ханум-гары отправлялась в Бина рано утром, чтобы застать сына дома. Стоя в Бузовнях у шоссе,

она дожидалась автобуса, едущего в Баку. Известно, что на апшеронских дорогах водители проявляют уважение к старым людям, и маршрутные автобусы останавливались перед Ханум-гары, она садилась, а потом просила остановить так, чтобы выйти, где надо. Когда на этот раз рядом с ней остановилась большая машина, старуха удивилась:

— А-а-а... Это что за машина? Холодильник?

Но это был не рефрижератор, это был алюминиевый фургон Мамедага, и на бортах его разноцветные буквы складывались в слова «Пневматический транспорт».

Открыв дверцу кабинки, Мамедага сказал:

— Это не холодильник, ай хала¹. А куда тебе надо?

— Я еду в Бина. Показалось, что автобус, вот и махнула рукой.

— Садись.

Все-таки Ханум-гары сначала внимательно оглядела фургон, потом, видимо, решила, что в такой большой машине можно ехать спокойно, и, подняв плетеную корзину, полную инжира, попыталась взобраться в кабину, но ступенька была слишком высока для нее, и попытка Ханум-гары оказалась безуспешной. Тогда Мамедага, спустившись на дорогу, помог ей. Когда фургон тронулся в путь, Ханум-гары, втягивая щеки и приводя в порядок искусственные зубы во рту, сказала:

— Молодость моя прошла в этих местах, как ястреб, отсюда влетела, оттуда вылетела. А теперь в божью машину сесть не могу... Правильно сказано, валлах², что хотя все смотрят на время, время ни на кого не смотрит.

В переднем зеркале Мамедага разглядывал выцветшие маленькие глаза этой старухи, ее сморщенное лицо, выбивающиеся из-под черного келагаи и покрасневшие от хны седые волосы, и вдруг подумал, что, может быть, было время, когда и эта старуха беседовала с морем и, может быть, тоже разогревала для кого-то хлеб на Янаргае? Мамедага подумал об этом с болью в сердце: годы пролетят, как птицы, и эта удивительная летняя ночь на пустынном берегу Загульбы станет засохшим, как цветок, воспоминанием.

Но неужели все действительно так и будет?!

Сын Самедуллы Фазиль учился в университете на физическом факультете. Раньше большинство детей в квартале, где жил Мамедага, мечтали стать шоферами и, вырастая, осуществляли свою мечту. Помимо шоферов, в моде были специальности зубного техника и сапожника. Но теперь времена изменились, квартальные ребята, окончив школы, поступали в институты и становились кто врачом, кто инженером, а сын продавца бензина Мейрангулу — Алигулу — стал поэтом и писал стихи, как Маяковский, «лестницей». Алхас-бек, поставив деревянный табурет на тротуар возле своего дома, садился и, нацепив очки с толстыми стеклами, читал в газетах стихи Алигулу и приговаривал: «Молодец! Берек-аллах!»

Так вот, Фазиль этим летом окончил третий курс и говорил иногда такие странные вещи, что ни у кого в квартале не оставалось сомнений в том, что Фазиль в будущем станет великим ученым. Фазиль рассказывал: на ровном месте перед куском железа устраивают разные преграды, вроде лабиринта, а за ними устанавливают магнит, и кусок железа начи-

нает двигаться к магниту, но, задевая преграды, останавливается; и так повторяется и раз, и два раза, и три, и четыре, но на пятый раз кусок железа, словно прозрев, будто бы находит путь между преградами и добирается до магнита.

Мамедага вспомнил этот разговор с Фазилем и подумал, что кусок железа — это всего лишь кусок железа, но и он находит путь к своему магниту. Подумав так, он прибавил газу и пожелал, чтобы в ближайшие дни в Загульбе дула только моряна.

А Ханум-гары все еще ворчала по поводу своего возраста; глядя на убегающую под колеса асфальтированную дорогу, она подумала, что эта машина идет мягче автобуса...

В овощной ларек с утра прибыли свежие помидоры, и перед киоском собралось много народу. Надевшая белую вязевую куртку, продавщица набирала помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы, высыпала овощи в сумки покупателей.

Милиционер Сафар, медленными шагами приблизившись к киоску, посмотрел на поставленные друг на друга помидорные ящики и подумал, что в этом году отличный урожай овощей и фруктов. Милиционер Сафар подумал и о том, что никакие помидоры на свете не сравнятся с апшеронскими, что бы ни говорили, даже помидоры из его родных мест.

Милиционер Сафар по обыкновению начистил свои форменные металлические пуговицы зубным порошком, и теперь на кителе и на фуражке пуговицы сверкали, посылая лучи во все стороны.

Милиционер Сафар подошел к весам и, протянув руку, взял из ящика помидор, оглядел его со всех сторон и, как бы разговаривая с самим собою, тихо сказал:

— Жаль мне тебя, и я не стал оформлять паспорт... Минимум два года получил бы. Но пятнадцать суток опять просидит...

— И очень напрасно. Не делай мне одолжений.

Милиционер Сафар, снова повертев помидор в разные стороны, сказал:

— Не считай это одолжением, — и, немного смущаясь, добавил: — Пока молодая, подумай о себе, потом будет поздно... Не человек он... Нет!

«Собака он, собака!» — Но эти слова милиционер Сафар произнес не вслух, а про себя. И, положив наконец помидор обратно в ящик, пошел от овощного ларька.

Продавщица, накладывая помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы.

Покупатели требовали выбирать помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой царственной птицы упала на девушку в белой вязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры.

Перевел Генрих МИТИН.

Баку.

¹ Ай хала — тетушка.

² Валлах — ей-богу.



Евгений
Евтушенко

СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА

ПОЭМА

1

За что эта северная надбавка?
За —
вдавливаемые
вьюгой
внутрь
глаза,
за —
мороза́ такие,
что кожа на лицах,
как будто кирза,
за —
ломающиеся,
залубневшие торбаза,
за —
проваливающиеся
в лед
полоза,
за —
лустой рюкзак,
где лишь смерзшаяся сабза,
за —
сбрасываемые с вертолета грузы,
где книг никаких,
за исключением двухсот лятидесяти экземпляров
научной брошюры
«Ядовитое пресмыкающееся наших лустынь —
гюрза...»

2

«А вот пива,
товарищ начальник,
не сбросят, небось, ни раз...»
«Да если вам сбросить его —
разобьется...»

«Ну хоть полизать,
когда разольется.
А правда, товарищ начальник,
в Америке — пиво в железных банках!»
«Это для тех,
у кого есть валюта в банках...»
«А будет у нас «Жигулевское»,
которое не разбивается!»
«Не все, товарищи, сразу...
Промышленность развивается».
И тогда возникает
северная тоска по ливу,
по русскому —
с кружечкой,
с воблочкой —
лиру.

И начинают:
«Когда и где
последний раз
я его...
того...
Да, боже мой, братцы, —
в Караганде!
Лет десять назад всего...»
Теперь у парня в руках
весь барак:
«А как!»
«Иду я с шабашки
и вижу —
цистерна,
такая бокастая,
рыжая стерва.
Я к ней — без порыва.
Ну, думаю, знаю я вас:
написано «Пиво»,
а вряд ли и квас...»

Барак замирает,
как цирк-шало:то:
«А дальше-то что!»
«Я стал притворяться,
как будто бы мне все равно.
Беру себе кружечку, братцы,
и — гадам я буду — оно!!»
«Холодное!» —
глубокомысленно
«Холеное...» вопрос, как сухой наждачок.
«А не прокислое!»
«Ни боже мой —
свежачок!»
«А очереди!»
«Никакошенькой!»,
и вдруг пробасил борода,
рассказчика враз укокошивший:
«Какое же пиво тогда!
Без очереди трудящихся
какой же у лнвв вкус!
А вот постоишь три часика
и столько мотаешь на ус...
Такое общество избранное,
хотя и табачный чад.
Такие мысли, не изданные
в газетах, где воблы торчат.
Свободный обмен информацией,
свободный обмен идей.
Ссорит нас водка, братцы,
пиво сближает людей...»
Но барак,
притворившийся только, что спит:
«А спирт!»
И засыпает барак на обрыве,
своими снами
от выюги храним,
и радужное,
как наклейка нв лизе,
сиянье северное
над ним.
А когда открывается
навигация,
на первый,
ободранный о льдины пароход,
на лодках
угрожающе
надвигается,
размахивая сотенными,
обеспивевший народ,
и вздрагивает мир
от накопившегося пыла:
«Пива!
Пива!»

3

Я улывал
на одном из таких пароходов.
Едва успевший в каюту влезть,
сосед, чтоб главного не прохлопать,
хрипло выдохнул:
«Пиво есть!»
«Есть», — я ответил.
«А сколько ящиков!» —
последовал северный крупный вопрос,

и целых три ящика
настоящего
живого пива
буфетчик внес.
Закуской были консервные мидии.
Под сонное бульканье за кормой
с бульканьем
пил из бутылок невидимых
и ночью
сосед невидимый мой.
А утром,
способный уже для бесед,
такую исповедь
выдал сосед:

«Летать Аэрофлотом!
Мы лучше обождем.
Мы мерзли по мерзлотам
не за его боржом.

Я сяду лучше в поезд
«Владивосток — Москва»,
и я в брюшную полость
себе налью пивка.

Сольцой, чтоб зашипело!
Найду себе дружок,
чтоб теплва капелла
залела бы с боков.

С подобием улыбки
сквозь пенистый фужер
увнжу я Подлнпки,
как будто бы Танжер.

Аккредитивы в пояс
зашил я глубоко,
но мой финкарь пролорист —
отпаривать легко.

Куплю в комиссионке
костюм — сплошной кремплин.
Заахают девчонки,
но это лишь трамплин.

Я в первом туалете
носки себе сменю.
Двадцатое столетье
раскрою, как меню.

Пять лет я торопился
на зтот пир горой.
Попользую я «пильзен»,
попраздную «праздрой».

Потом, конечно, в Сочи
с компашкой закачусь —
там погуляю сочию
от самых полных чувств.

Спроворит, как по нотам,
футбольнейший подкат
офицнаит с блокнотом:
«Вам хванчкару, мускат!»

Но зря шустряк в шалмаие
ждет от меня кивка.
«Компаний — шампаний!
А для меня — пивка!

Смеешься иадо мною?
Мол, я не из людей,
животное пивное,
без никаких идей!

Скажи, а ты по ягелю
таскал теодолит,
не пивом, а повальнойю
усталостью иалит?

Скажи, а ты счастливо,
без всяких лососии
пил бархатное пиво
из тундровых трясины!

А о пивию пеиу
крутящейся пурги
ты бился, как о стену,
когда вокруг ии зги!

Мы теплыми телами
боролись, кореш, с той,
как ледяное пламя
дышавшей, мерзлотой.

А тех, кто приустила,
виутрь приняла земля,
и там, в гробу хрустальном,
тела из хрусталя.

Я, кореш, малость выжат,
прости мою виу.
Но ты скажи: кто движет
на Север всю страну!

На этот отпуск —
кусочек жития,
на пиво и на Сочи
имею право я!

Я северной иадбавкой
не то чтоб слишком горд.
Я мамку, деда с бабкой
зарыл в голодный год.

Срединная Россия
послевоенных лет
глядит — теперь я в силе,
за пивом шлю в буфет!

Сеструха есть — Валюха.
Живет она в Клину,
и к ней еще до юга,
конечно, заверну...

Пей... Разве в пиве горечь,
что ерзаешь лицом?
По пиву вдарим, кореш,
пивцо зальем пивцом...

4

Эх, иадбавка северная,
вправду сумасшедшая,
на снегу посеяная,
на снегу взошедшая!

Впрочем, здесь все рублики,
как шагрей, сжимаются.
От мороза хрупкие
сотии здесь поаются.

И, до боли яркие,
в самолетах ерзя,
прилетают яблоки,
все иасквозь промерзлые.

Тело еще вынесло,
ночью изъелозилось,
а душа не вымерзла —
только подморозилась.

5

В столице были сплпшиеся дни...

Он пегче стал
на три аккредитива
и тяжелей

бутылок на сто пива,
и захотелось чаю и родии.
Особенно он как-то испугался,
когда, просиувшись,

вдруг нащупал галстук
на шее у себя, а на ноге
почувствовал чужую чью-то ногу,
а чью — понять не мог.

придя и итогу:
«Эге,
пора в дорогу...»

Сестру свою не видел он пять лет.
Пропахший запланированным «пипьзенном»,
как блудный брат,

в кремплине грешном вылез он
в Клину чуть свет
с коробкою конфет.

В России было воскресенье,
но

очередей оно не отменяло,
а в двориках тишайших

домиио
гремело иаподобье аммонала.
Не знали покупатели трески
и козпозабиватели ретивые,
что в поясе приезжего с Москвы
на десять тыщ пежат аккредитивы.
Московскою «гаваию» дымя,
он шел,

сбивая новенькие «корочки».
Окончилились красивые дома
и даже некрасивые окончились.
Он лостучал в окраинный барак,
иоторый столь похожим был на северный.
«Чего стучишь?

Открыта дверь и так...» —

угрюмо пробурчал старик рассерженный.
Вошел приезжий в длинный коридор,
смущаясь:

«Мне бы Щелочкину Валю...»
«Такой здесь нет...»

Все ходят,
носут сор,
и, кстати, нас вчера обворовали...»
«Как нет!»

Я брат ей...
Я писал сюда.
Ну, правда, года три последним разом.
Дед, вспомни —

медицинская сестра,
С рыжцей!
Косит немного левым глазом!»
«Ах, эта Валька —

Юркина жена!
Я хоть старик,
а человек здесь новый
и путаюсь в фамилиях.

Она
не Щепочкина вовсе,
а Чернова»,
«А где они живут?»

«Вон там живут.
Был Юрка на бульдозере,
а нынче

Валюха его тянет в институт,
и мужа
и двоих детншек нянча,
Валюха,

доложу тебе,
душа...
А как насчет уколов хороша!
И даже ездит

к самому завскладом,
и всаживает шприц легко-легко...
Как видишь, оценили высоко
своим —
научно выражаясь —

задом». Рванул приезжий дверь сестры слегка,
и ручка вмиг с шурупами осталась
в его руке,

и вздрогнула рука,
как будто бы нечаянно состарясь.
Он в мокрое внезапно ткнулся лбом
и о прищелку щеку оцаралал.
Пеленки в блеске бело-голубом
роняли, как минуты, капли на пол.
И он увидел,

сжавшийся в углу,
раздвинув тихо закавес пеленок:
одни ребенок ерзал на полу,
и грудь сестры сосал другой ребенок.
А над электроплиткой,

юн и тощ,
половником помешивая борщ,
сестренки муж читал,
как будто требник,
по дизельной механике учебник.
С глазами наподобие масла
в жабо воздушином

у электролитки
здесь, правда, третий лишний был —
ио это не считалось —

на открытке.
Приезжий от леленок сделал шаг,
и сдавленно он выговорил:

«Валя...» —
как будто призрак тех болот и шахт,
где есть концерты шумные едва ли.

Сестра с подмошкой ношей своей
привсталла,

грудь прикрыла на мгновение.
Всё женщины роняют от волненья,
но не роняют никогда детей.
«Я думала, что ты уже...»

«Погиб!»
Как бы не так!
Держи, сестра, конфеты!»
«А что ж ты не писал!»

«Я странный тип...»
К тому ж у нас нехватка на конверты...»
«Мой муж...»
«Усек...»

«Племяники твои...»
«И это я усек...»

Я, значит, дядя!
А где твой шприц?
Шампанского вкопни!
Да, завязав глаза, вкопи,

не глядя!»
«Шампанского, Петюша!
Я сейчас...»

Сестра засуетилась виновато,
в момент из-под левца-лауреата
достав десятку —
тайный свой запас.

«Петр Щепочкин,
ты, братец, сукин сын!» —
в сердцах подумал о себе приезжий.

Муж приоделся
и в сорочке свежей
направился в соседний магазин.
Петр Щелочкин за ним тогда вдогон,
ему у кассы сотенную сунул,
но даже не рукой,

а просто сумкой
небрежно отстранил дензнак он.
Петр Щепочкин его зауважал —
иет,

этот ларень явно не нахлебник,
не зря, как видно, дизельный учебник,
страннцы в борщ макая,
он держал.

А в комнатку тащил, что мог, барак —
гость северный,
особенный,
еще бы!

Был холодец,
и даже был форшмак!
Был даже красный одноклассник —
с изысканною щедростью трущобы!
Не может жить Россия без пиров,
а если пир,

то это пир всемирный!
Приперся дед,
боявшийся воров,
с полупустой бутылочкой имбирной.
Принес монтер,

как битлы, долгогрив,
с вишневкой, простоявшей зиму, четверть,
и, марлю осторожно приоткрыв,
стал вишенки

из чашки
ложкой черпать.
Зубровку —

неизвестное лицо
внесло,
уже в подпитии отчасти,

прибавив к ней вареное яйцо,
и притащила кяня —
тетя Настя —
больничных нянь любимое вино —
кагор,
напоминающий причастие.
Был самогон,
взлепленный в селе,
с чуть липловатым
свекольным отливом...

Лкш лва не случилось на столе.
В Клинну в то время

плохо было с ливом.
И даже не мешало ребятье,
и так сняла Щепочкина Валя,
как будто в эту комнатку ее
все население Родины созвали.
Но отгонявший тосты, словно мух,
напоминая, что она — Чернова,
шампанское прихлебывая, муж
украдкой листал учебник снова.
Глаз Валли, словно в детстве, чуть косил,
но больше на него,
им озабочен.

«Ты счастлива?» —
Петр Щелочкин спросил.
«Ой, Петенька, — вздохнула, —
очень...

Чего,
а счастья нам не брать взаимы.
Да только комнатка тесновата.
Три года,
как на очередн мы.

А в кооператив —
не та зарплата...»
Петр Щелочкин как шваркнулся об лед:
«Ты сколько получаешь?»

«Сто лятакдцать.
Там Юнна стипендия пойдет,
и малость легче будет нам подняться...»
Петр Щелочкин

плеснул себе кагор.
залип внешневкой,
а потом зубровкой,
и старинку сказал он с расстановкой:
«Воров боншсья!
Я, старик, не вор...»

Он думал —
что такое геронзм!

Чего геройство показное стонт,
когда оно вздымает гнри ввысь,
наполненные только пустотой!
А настоящий геронзм —
он есть.

Ему неважно —
призкан ли,
не признан.

Но всем в глаза
он не желает лезть,
себя не называя
геронзмом.

Мы бьемся с тундрой.
Нрав ее крутой.

Но женщины ведут не меньше битву
с бесчеловечной вечной мерзлотой
не склонного к оттаиванию быта.
Не меньше, чем солдат поднимать в бою,
когда своим геройством убеждают,
геройство есть —
поднять свою семью,

и в этом гибнут
или побеждают...
Все гости постепенно разошлись.
Заснула Валя.
Было мирно в мире.
Солели дети.
Продолжалась жизнь.
Петр Щелочкин и муж тарелки мыли.
Певец вздыхал с открыткн,
но слабо

солнсту было,
выпрыгнув оттуда,
пожертвовать воздушное жабо
на протиранье вилки и посуды...
Хотя чуть-чуть кружилась голова,
что делать, стало Щепочкину ясно,
но если не подысканы слова,
мысль превращать в слова всегда опасно.
И, расставляя стулья на места,
нащупывая правильное слово,
Петр Щелочкин боялся неспроста
загадочного Юрия Чернова.

Петр начал так:
«Когда-то, огольцом,
одку старушку я дразнил ягою.
Кривую,
с рябоватым лицом,
с какой-то скобаченной ногою.
Тогда сестренке было года три,
но мне она тайком, на сековале
шелнула,
что старушка та внутри
красавица.

Ее заколдовали.
Мне с той поры мерещилось, нет-нет,
мерцание в той сгорбленной старушке,
как будто голубой, нездешний свет
внутри болотной, кривенькой гнилушки.
Когда оснротели мы детьми,
то, притащив заветную заначку,
старушка протянула мне:

«Возьми...» —
бечевкой перетянутую пачку.
Как видно, пачку прятала в стреху —
пометом птичьим, паклей лахли деньги.
«Копилка для надгробья старинку,
но камень подождет.

Бернте, дети».
Старухин глаз едкнственный с тоской
слезой закрыло —

медлелкой,
Большую,
но твердо бабка стукнула клюкой,
нам приказав:

«Бернте — не чужое...»
Сестра шепнула на ухо:
«Берн...»

И с детства,
словно тайный свет в подспудьн,
мке чудятся

красные вкутри
и лкш нерасколдованные люди...»
Петр Щелочкин стянул с тарелки шпрот:
«Сестренка с детства

в людях разумеет...»

Чернов,
лалшнику направляя в рот,
с достоинством кивнул:

«Она умеет...»
Был замечен весь праздничный погром,
а Щелочкин чесал затылок снова,

пока исчезла с мусорным ведром
фигура монолитная Черкова.
Он гостью раскладушку распластал.
Почистил зубы,
щетку вымыл строго
и преспокойно на голову встал.
Гость вздрогнул,
впрочем, после понял —
«йога».

И Щепочкин решил:
«Ну — так не так!
Быть может, легче,
чтоб не быть врагамн,
душевный устанавливать контакт,
когда все люди встанут вверх ногами...»
И начал он,
решительно уже,
чуть вилкой не задев,
как будто в схватке,
качавшиеся чуть настороже
черновские мозолистые пятки:

«Я для тебя, надеюсь, не яга,
хотя меня ты все же дразнишь малость,
но для меня Валюха дорога —
из Щелочкиных двое нас осталось.
И пусть продлится щепочкинский род,
хотя и прозывается черновским,
пусть он во внуках ваших не умрет,
ну хоть в глазенках —
проблеском чертовским.

Ты парень дельный.
Правда, с холодком.

Но ничего.
Я даже приморожен,
а что-то хлобыснуло кипятком,
и я оттаял.

Ты оттаешь тоже.
С Валюхой все делили вместе мы,
но разговор мой с нею отлаждает.
Так вот:

я дать хочу тебе взаймы.
Тебе.
Не ей.

Взаймы.
А не в подарок.
На кооператив.
На десять лет.
И — десять тыщ.
Прими.
Не будь ханжой.

Той бабке заколдованной вослед
я говорю:

«Берите — не чужое...»
Но, целеустремленно холода,
чуть дергаясь,
как будто от кападок,
черновская возникла голова
на уровне его пропавших ляток.
«Легко заметить нашу бедность вам,
но вы помните этого заметьте:
всего на свете я добился сам,
и только сам всего добыю на свете.
Отец мой пил.

В долгу был, как в шелку.
Во мне с тех самых детских унижений
есть неприязнь к чужому кошельку
и страх любых долгов и одолжений.

Когда перед собой я ставлю цель,
не жажду я участия никакого.
Кому-то быть обязанным —
как цепь,
которой ты к чужой руке прикован.
«Как цепь?»
Ну что ж, тогда я в кандалах! —
Петр Щелочкин воскликнул шепоточком. —
Я каторжник!

Я весь кругом в долгах!
Вовек не расквитаться мне,
и точка!
Прикован я к Россин —
есть должок.
Я к старикам прикован,
к малым детям.
Я весь не человек —
сплошной ожог
от собственных цепей
и счастлив этим!»

«Вы человек такой,
а я другой... —
Чернов старался быть как можно мягче. —
Вы щедростью шумите,
как трубой
турнист-канадец на хоккейном матче.
Бывает, Валя еле держит шприц,
зажата стиркой,
магазинной давкой,
и вдруг вы заявляетесь,
как принц,
швыряясь вашей северной кадбавкой.
Но эта щедрость, Щепочкин, мелка.
Мы не бедны.

У вас плохое зрение.
Жалеть людей
наездом,
свысока,
отделавшись подачкой, —
оскорбленье...»

И осенило Щепочкина вдруг:
он,
призывая фильм-спектакль на помощь,
«Я — труп! — вскричал. —
Еще живой, но труп! —

И рыданул: —
Зачем ты с трупом споришь!
Возьми ты десять тыщ,
потом отдашь.

Какой я щедрый!
Я валяю ваньку.

Тебе открою тайну —
я алкаш.
Мои деньги, Чернов, ищи я няньку.
Пусть эти деньги смирно полежат, —
не то сопьюсь».

Он пальцы растопырил.
«Ты видишь?»
«Что!»
«Как что!»

«Они дрожат.

Особенная дрожь.
Тоска по спирту».

«Но Валя спирт могла достать,
а вам
шампанского красиво захотелось».
«Чернов,
недопустима мягкотелость
к таким, как я,
отрезанным ломтям!

С копыт я был бы сразу спиртом сбит,
и стало б меньше членом профсоюза.
На Севере,
смешав с шампанским спирт,
мы называем иаш коктейль:

«Шампузо».

Но это лишь на скромный опохмел.
Я спирт предпочитаю без разводки.
Чернов, я ренегат,

предатель водки
и в тридцать пять морально одряхлел.
Бывает иостальгия и во рту.

Порой,
как зверь ощерившись илыкасто,
пью,
разболтав с водой,

зубную пасту,
поскольку она тоже на спирту.
Когда тоска по спирту жжет,

да так,
что кулорос могу себе позволить,
досьоны лью,

пью маникюрный лак.
Способеи и на жидкость для мозолей.
Недавно,

в белокаменной греша,
я у одной любительницы Рильке
опустошил флакон «Мадам Роша»,
и иичего —

волюе прошло под кильки...»

Оторолев от ужасов таких,
изображенных Щепочкиным живо,
Чернов спросил,

бестактно поступив:
«Но почему не перейти на пиво?»
Петр Щепочкин Шаляпиным в «Блохе»
заохотал,

аж затрясло открытку,
и выразилось в яростном плеве
презрение к подобному налитку.
«У нас его на Севере завал!
Обпились пивом!

Слирт, ей-богу, слаще.
Я знал бы раньше —

организовал
тебе пивка спецбаночного ящик...»
«Как — баночного?»

«Думаешь, вранье!»
«Почти.

Из фантастических романов».
«А я, товарищ,

верю в громадьё,
как говорят поэты,
наших планов.

Все будет.
Все, быть может, даже есть,—

лишь выяснится это чуть попозже,
но в том прекрасном будущем —
похоже —

не выпить мне уже
и не поесть.

Чернов, Чернов,
меня не поиял ты.

До Сочи я еще в Москву заеду.
Мне там вошьют особую «торпеду»,
чтоб я не пил.

А вылью — мне кранты.
Но при бутылках,

а не при свечах
я пягу в гроб,

достойнейший из трупов.

И как не выпить,
если там, в Сочах,
на стольких бедрах
столько хулахупов!
Истиникты пожирают нас живьем.
Они смертельны,
но неукротимы.
Прощай, товарищ!
В поясое моем
защита смерть моя —
аккредитивы...»

Чернов его у двери —
за рукав:

«Постойте,
иу, куда вы на ночь глядя?»

И зарыдал,
детей предсмертно глядя,

Петр Щепочкин,
трагически лукав;

«Прощайте, дети...
Погибает дядя...»

Стальные волчьи зубы не разжав
на горле у Чернова —

он молился:
«Рожай, дружок, решеньице,
рожай...»

Ну, ну, родимый,
раз — и отелился!..»

Чернов отер со лба хоподный пот.
Задержался иадик,

худуш,
синеющ:

«Да,
вы в иелегком положении,
Петр...».

И Щепочкин услужливо:
«Савельич...»

«Я зиаю ваше отчество и сам.
Так вот что, Петр Савельич,
в этом деле

теперь все ясно.
Принимаю деньги.

С условием —
я вам расписку дам».

«А как же!
Без расписочки нельзя!

А где свидетель!» —
с радостным оскальцем

Петр Щепочкин куражился,
грозя

кривым от обморожеиностей пальцем.
«Бюрократизм проник и в алкашей»,—

Чернов подумал сдержанно и грустио,
но документ составил он искусно
под чмокание иевиных малышей.

В охалке гостем дед был принесен,
болтающий тесемками кальсон,
за жизнь цепляясь,

дверь срывая с петель
при слове угрожающем:

«Свидетель»,
Вокруг себя распространяя тишь,

легли без обаяния чистогана
в аккредитивах скромных десять тыщ

на мокрый круг от чайного стакаиа.
Там были цифры прописью ясны,
и гриф «иа предъявителя» был ясе!..

Петр Щепочкин застегивал штаны
и размышлял:

«Чернов еще опасен.

Возьмет он деньги —

и на срочный вклад.

А через десять лет вернет проценты.

До отвращения честен этот гад.

В Америку таких бы,

в президенты.

Вернусь на Север —

вскоре отобью

про собственную гибель телеграммку.

Валюха мой портрет отправит в рамку —

я со стены Муслиму подложу...

Приеду к ним лет эдак через пять —

все время слышит...

Даже страно как-то.

Но мы — живые люди,

то есть факты.

Нас грех списать.

Нас надо описать.

Жаль, не пишу.

Есть ларочка идей,

несложных,

без особых изиданий.

Вот первая —

нет маленьких страданий.

Еще одна —

нет маленьких людей.

Быть может,

исмышленный мой племяш,

ты превратишься в нового Толстого,

и в будущем ты Щепочкину дашь

им в прошлом неолученное слово.

И пусть продлится щелочкинский род,

в России, слава богу, нам не тесной,

и пусть Россия движется вперед

к России внуков —

новой,

неизвестной...

«Во мне, иак в ливе, пены до хрена.

Улучшусь.

Сам себя возьму я в руки.

Какие мы —

такая и страна.

Мы будем лучше —

лучше будут внуки».

Коичалась ночь.

В ней люди,

и мосты,

и дымкою подернутые дали,

казалось,

ждали чьей-то доброты,

казалось,

расколдованности ждали.

Цистерна,

оказав бараку честь,

прогрохотала мимо торолливо,

но не стараясь Щелочкин прочесть,

что на боку ее — «Квас» или «Пиво».

Он вспомнил ночь,

когда лурга мела,

когда и вправду, в состоянии трупа

тащил в рулоне иарту,

где была

пунктиром —

кимберлитовая труба.

Хлестал снежище с четырех сторон.

«Вдруг не дойду!» —

садила мысль занозой.

Но Щепочкин раскрыл тогда рулон,

грудь иартой обмотав,

чтоб не замерзнуть.

Ко сну тянуло,

будто бы ко дну,

но дотацил он все-таки до базы

к своей груди прижатую страну,

и с нею вместе —

все ее алмазы...

Так Щелочкин,

стоявший у окна,

глядел,

как иебо тихо очищалось.

Невидимой вокруг была страна,

но все-таки была,

но ощущалась.

6

Большая ты, Россия,

и шири и в глубину.

Как руки ии раскину,

тебя не обниму.

Ты вместе с пистолетом,

как рану, а не роль

твоим большим поэтам

дала большую боль.

Большие здесь морозы —

от них не жди тепла.

Большие были слезы,

большая крозь была.

Большие перемены

не обошлись без бед.

Большими были цены

твоих больших побед.

Ты вышлетала ртами

больших очередей:

нет маленьких страданий,

нет маленьких людей.

Россия, ты большая

и будь всегда большой,

себе не разрешая

мельчать ии в чем душой.

Ты мертвых, нас, разбудишь,

нам силу дашь взаймы,

и ты большая будешь,

пока большие мы...

7

Аэропорт «Домодедово» —

стеклянная ерш-изба,

где коктейль из «Гуд бай!»

и «Покедова!»

Здесь можно увидеть индуса,

летающего в лапы

к Якутии лютой,

уже опустившего уши

ондатровой шапки валютной.

А рядом — якут

с иевеселыми мыслями о перегрузе

верхом восседает

на каторжнике-арбузе.

«Je vous en prie...»¹ —

«Чего ты,

и не видишь коляски с ребенком, —

не при!»

¹ Я вас прошу (фр.).

«Me gusta mucho
andar a Siberia...»¹

«Зин, айда к телевизору...
Может, про Штрлнца новая серия...»

«Danke schön! Aufwiedersehen!...»²
«Ванька, наш рейс объявляют —
не стой ротозеем!»

Корреспондент реакционный
строчит в блокнот:
«Здесь шум и гам аукционный.
Никто не знает про отлет.
Что нищет русский человек
в болотах Тынд и Нарьян-Маров!
От взглядов красных комиссаров
он совершает свой побег...»
Корреспондент лопрогрессивней
строчит,

вздыхая нногда:
«Что потрясло меня в России —
ее движенье...»

Но куда!
Когда лншу я строки эти,
передо мной стоит в буфете
и что-то пьет —

сибирский бог,
но в нашем,
западном кремпине.
Альтернативы нет отныне —
с Россией

нужен диалог!»
А кто там в буфете кефирчик пьет,
в кремпине импортном,
в ляжной кепочке?

Петр!
Щепочкин!
Пьющий кефир!
Это что —

его новый чефирь!
«Ну кан там,
в Сочи!»

«Да так,
не очень...»
«А было пиво!»

«Да никакого.
Новороссийская квасоколка».
«А где же загар!»

«Летит багажом».
«Вдарим по пиву!»
«Я лучше боржом».

«Вшили «торпеду»!
Сдался врачу!»
«Нет, без торлед...»

Привыкать не хочу».
И когда самолет,
за собой оставляя свист,
взмыл в небеса,
то внзу,

над землей отуманенной,
еще долго кружился сплсочный лист,
Щелочкиным

ке отоваренный:
«Зам. нач. треста Сковородин —
в любом количестве валокордин.
Завскладом Курочкина,

вдова,—
чулки из магазнна «Богатырь».
Без шва.

Братья — геодезисты Петровы —
латроны.
Подрывник Жорка —

нить для сетей
из парашютного шелка.

Далее —
мелко —
фамилий полста:
детских колготок на разные возраста.
Завхоз экспедиции Зотов —
новых анекдотов.
Зотиха —

два —
для нее и подруги —
японских зонтика.
Для Анны Филипповны —
акушерки —

двухтомник Евтушенки.
Дне —
дыню.
Для Наумовичей —
обои.

Моющиеся.
Воспитательнице детсада —
зеленку.

Это — общественное. Личное — дубленку.
Парикмахерше Семечкиной —
парик.

Желательно корейский.
С темечком.

Для жены завгара —
крем от загара.
Для млнцнонера
по прозвищу «Пиф-паф» —
пластинку Эднт
[неразборчиво]

Пьехи или Пиафф.
Для рыбинспектора
по прозвищу «едрена феня» —
блесну «Юбилейная»
на тайменя.

Для Кеши-монтера —
свечи для лодочного мотора.
Для клуба —
лазурной масляной краски,
для общежития —
копченой колбаски,
кому —

неизвестно —
колесико для детской коляски,
меховые сапожки тила «Аляски».
Ганс Христиан Андерсен «Сказки».
Летал и летал

воззывающий список,
как будто хотел
взлететь на Луну,
и таяло где-то,
в неведомых высях:

«Бурильщику Васе Бородину —
баночку лива.
Хотя бы одну».

1976—1977.

¹ Мне очень приятно отправиться в Сибирь (и с п.).

² Спасибо! До свиданья! (и с м.)



Вл. ВОРОВОВ

СВЕРКАЮЩИЙ РУБЕНС

К 400-летию
со дня рождения

Однажды известный английский алхимик Брендель предложил Рубенсу стать его компаньоном по эксплуатации намечавшегося открытия философского камня, который должен был превращать любой металл в золото. До нас дошел лаконичный ответ фламандского художника: «Господин Брендель, вы пришли ко мне с опозданием на 20 лет, так как уже в то время я обрел подлинный *Lapidem Philosophicum* в кисти и красках».

Рубенс не преувеличивал: он в самом деле умел превращать простые минеральные краски в золотую живопись, доныне спящую на его полотнах. Он был известен в Европе как серьезный знаток античных древностей, один из богатейших коллекционеров греческих и римских статуй, камей и гемм, лучших произведений итальянского Возрождения. Он мог на равных беседовать с выдающимися учеными своего времени, подробно рассуждая о культовом и бытовом назначении египетских треножников или о качестве новонайденных мраморов с острова Делос...

При чтении его писем часто возникает ощущение, что написаны они тремя разными людьми: придворным сановником и дипломатом, подолгу общавшимся с сильными мира сего... Или блестяще образованным гуманистом (так называли в Италии специалистов по ренессансной и античной культуре), свободно об-

суждающим достоинства латинских первоисточников, переходя с итальянского на французский или английский языки, с немецкого на испанский, фламандский или латынь... Или темпераментным, преуспевающим художником, знающим с точностью до флорина цену своим произведениям и картинам своих учеников, а среди них были знаменитые Ван Дейк, Йорданс и Снайдерс.

И все же столь разные письма принадлежат одному человеку; три таких несхожих лица он вместил в своей личности, сумев остаться самим собой, гигантом европейской живописи XVII века, беспокойного времени, сотрясаемого непрерывными войнами, династическими и религиозными. Рубенс целиком принадлежит своему веку, у которого еще свежи воспоминания о высоком и гармоничном искусстве Леонардо и Рафаэля, Тициана и Веронезе. Но уже Микеланджело нарушил прежнюю гармонию, утверждая в XVI веке героического человека, рвущего путы ограниченного существования.

Итальянские веяния к началу XVII века докатились до самого севера Европы, вызвав, впрочем, весьма разное отношение: буржуазная Голландия, добившаяся независимости от Испании, осталась равнодушной к так называемым «романтистам». Рембрандт слышать не хотел об итальянских мастерах, сам не поехал и учеников не пускал за Альпы.

Иначе отнеслись к итальянским традициям во Фландрии, оставшейся под властью испанской короны; князья католической церкви в пышных, буйных формах европейского барокко, в грандиозных религиозных и мифологических картинах увидели возможность эмоционально увлечь свою северную паству. Получив от папы Святого Луки звание художника, двадцатитрехлетний Рубенс для совершенствования своего мастерства 9 мая 1600 года отправился в Италию. Там он попал прежде всего в Венецию, это было случайно, но изучение мастеров венецианской школы — Тициана, Веронезе, Тинторетто — определило дальнейшие живописные искания молодого фламандца.

С ревностью старательного ученика он пишет копии с лучших картин, зарисовывает скульптуры и архитектурные ансамбли, жадно впитывая в себя пышное праздничное искусство города Святого Марка. Там он познакомился с одним офицером из свиты мантуанского герцога Гонзаго I; офицер, зная фламандские увлечения своего патрона, назвал Рубенса в Мантую и представил его герцогу.

Сейчас трудно сказать, какую роль сыграл тридцативосьмилетний Виченцо Гонзаго в творческой судьбе фламандца, ставшего придворным художником в Мантуе. Как ни странно, Гонзаго собирал произведения мастеров Фландрии и, наверно, поэтому оставил Рубенса «при себе». История числит за ним несколько явных заслуг: он, например, освободил поэта Торквато Тассо из сумасшедшего дома, куда его упер герцог Феррары; капельмейстером в Мантуе служил великий Монтеверди, основатель итальянской оперы. Гонзаго переписывался с Галилеем, обсуждая его научные идеи. Интересный герцог, хотя и вздорный по своему характеру, он упорно считал Рубенса копиистом и, отправляясь в очередной поход, посылал фламандца в Рим для снятия копий с известных картин... Впрочем, Рубенсу только это и нужно. Получив рекомендательное письмо к кардиналу Монтеальто, одному из министров папы Климента VII, он едет в Рим. Правда, вскоре герцог призывает художника к себе и поручает ему посольскую миссию: отвезти подарки испанскому королю (1603). Гонзаго почувст-



Портрет камеристки инфанты Изабеллы. Около 1625 г.
Государственный Эрмитаж, Ленинград.

Из произведений Пётера Пауля РУБЕНСА. 1577—1640.



Сатир и девушка с корзиной фруктов. Около 1615—18 гг.
Картинная галерея. Дрезден.



Возвращение Дианы с охоты, Около 1615—17 гг, Картинная галерея. Дрезден.



Возчики камней.
Около 1620 г.
Государственный Эрмитаж.
Ленинград.



Вирсавия. Около 1635 г.
Картинная галерея, Дрезден.

вовал в Рубенсе способности улаживать трудные отношения, сглаживать ссоры.

Еще в отрочестве Рубенс послужил пажом в доме графини де Лип в Антверпене; он был светски образован, красен, внушитель и легко справился с поручением. В апреле 1604 года вернувшегося в Мантую художника герцог опять посадил за копию, заставляя делать даже копии собственных копий. Через год с небольшим Рубенс послан снова в Рим, а в 1606 году мантуанский правитель требует художника обратно, хотя Рубенс в то время занят выполнением важного заказа для главного алтаря церкви Санта Марии-ин-Валичелли. Даже ходатайство кардинала Боргезе не помогло: не закончив работы, Рубенс уезжает из Рима. Его уже знают как способного художника, да и сам Рубенс чувствует зреющие в нем силы. Поэтому в октябре 1608 года, прочитав тревожное письмо из Антверпена о болезни матери, Рубенс без колебаний покидает Мантую и отправляется домой. Он не застал матеря в живых, и ему остается только достойно почтить ее память.

После восьмилетнего отсутствия Рубенс снова в родном городе, на зеленых берегах Шельды. Ему тридцать второй год, он полон сил и хорошо представляет, чего хочет. Он известен как художник в Италии и Франции, он обласкан при испанском дворе (писал там портреты герцога де Лерма). Только этого обстоятельства достаточно было, чтобы правитель Фландрии эрцгерцог Альберт и инфанта Изабелла приветливо отнеслись к Рубенсу, сделав его придворным художником...

Именно с 1609 года начинается собственно Рубенс, тот живописец, который обессмертил родной Антверпен. До того он еще совершенствовал свою кисть, упражнял глаз и руку на античных мраморах и итальянских шедеврах. Теперь пришло время сказать свое слово.

Так что, очевидно, Рубенс не был вундеркиндом — ни по тогдашним, ни по нынешним меркам. На четвертом десятке начинать самостоятельную жизнь и сформировать свой талант — случай нечастый в истории мировой живописи. И, пожалуй, этим фактом можно объяснить колоссальную работоспособность Рубенса; он словно наверстывал упущенное время. Кстати, именно в то время Испания, оставив за собой Фландрию, заключает перемирие с Голландией, и Антверпен, обескровленный войнами, выглядевший, по словам современника, «большой пустыней», словно пробуждается к новой жизни.

Уже почти никто не вспоминает трагическую судьбу Яна Рубенса, отца художника, доктора теологии и юриспруденции, осужденного в свое время за дерзкую связь с Анной Саксонской, женой Вильгельма Оранского. Яну Рубенсу грозила по тем временам смертная казнь, но, боясь огласки, которая повредила бы репутации легкомысленной баронессы, дело замяли, а семья оказалась в изгнании (там, в вестфальском городке Зигене, и родился в 1577 году Петер Пауль Рубенс). Потом Яна Рубенса обрели на домашний арест, запретив ему заниматься торговлей и юридической практикой, посещать церкви и даже выходить из дому. В письменных прошениях отчаянный отец семейства доказывал все-таки, утверждая свое бюргерское достоинство, что «доктор, имеющий хотя бы один диплом, может искать руки баронессы, не унижив ее своим предложением». Двенадцать лет страданий и унижений подорвали здоровье отца, и он простился с этим миром, когда Петеру-Паулу было десять лет.

Не удалось фламандскому бюргеру Яну Рубенсу стать своим человеком в «высшем свете». То, что не

удалось изгоя-отцу, с блеском исполнил сын, добившийся высших почестей от европейских монархов. Ему даровано дворянское звание, он «кавалер, секретарь тайного совета его величества и камер-юнкер ее высочества принцессы Изабеллы». В 1630 году, провожая Рубенса после удачной дипломатической миссии, английский король Карл I пожаловал художника в рыцари Золотых шпур, подарил ему свою шпагу, которая была при короле во время коронации, шнур с королевской шляпы и бриллиантовое кольцо...

Петера Пауля Рубенса часто называют счастливым, блистательным, и для этого есть немалые основания. Унаследовав от матери рассудительность и практичность, он по возвращении в родной Антверпен решает прочно там осесть. В октябре 1609 года Рубенс женится на восемнадцатилетней дочери секретаря городского регентства Изабелле Брант. Широко известен автопортрет художника с молодой женой, парадный бюргерский портрет, еще суховатый, лишенный живописной рубенсовской маэстрии тридцатых годов. Но портрет доносит сквозь века атмосферу спокойствия и душевного единения супружеской четы. Через полтора года Рубенс покупает дом на улице Ваппер рядом с королевским дворцом, перестраивает и украшает свое жилище, создает огромную мастерскую, куда стекаются лучшие молодые художники Фландрии. Рубенс уже не в силах справиться с многочисленными заказами, идущими к нему из придворных кругов испанского наместника, от монастырей и католических орденов, от спятельных особ... И тогда он ставит производство картин на конвейер, выражаясь современным языком. В Рубенсе открывается еще один талант — великолепного педагога и организатора.

Всего лишь за несколько десятилетий до создания рубенсовской мастерской Микеланджело в Риме собственноручно расписывал потолок Сикстинской капеллы в Ватикане: лежа на помосте, запрокинув голову, он по многу часов писал грандиозные фрески, ежедневно, до изнеможения...

Семнадцатый век создал новый тип художника — придворного деятеля, умеющего выгодно продать свои полотна, разумно организовать труд. Рубенс воплотил в себе этот тип мастера бюргерской Фландрии в высшей степени. Впрочем, работает Рубенс, пожалуй, не меньше, чем его предшественники. В шесть утра после утренней мессы он уже в мастерской у мольберта или за рабочим столом. Десятки эскизов на бумаге и картоне, рисунки пером и карандашом, обход учеников, размещенных в большом зале (каждый из них специализировался на каких-то отдельных элементах картины, а некоторые ученики, наиболее одаренные, работали над целыми композициями по эскизу учителя), потом прописывание уже готовых картин, выполненных учениками. Оно сводилось чаще к тому, что мэтру достаточно было «тронуть» своей кистью отдельные места или «пройтись» по всему полотну... От этого зависела окончательная цена произведения, и в письмах художника к заказчикам четко проводятся различия между вещами, написанными собственноручно, или всего лишь «прописанными» мастером, или только «тронутыми» его безошибочной кистью.

Мастерская Рубенса сразу же стала средоточием талантливых живописцев Фландрии и одним из крупнейших художественных центров Европы. В соседней Голландии что ни город, то своя школа: Утрехт, Амстердам, Гаага, Дельфт... А здесь, во Фландрии, в мастерскую Рубенса стягиваются все талантливые живописцы; можно подумать, что страна, не полностью

освободившаяся от испанского владычества, словно не хочет распылять свои творческие силы, собирает их вместе, чтобы лучше выразить собственное национальное самосознание.

Антверпенские соборы, дворцы испанской и фламандской знати украшаются полотнами Рубенса. Особенно прославил его имя на первых порах картина «Снятие с креста»; она имела необыкновенный успех, и автору пришлось сделать несколько повторений (одно из них находится в Ленинградском Эрмитаже). Художник здесь почти полностью преодолел мощное влияние своих итальянских учителей; а в фигуре стоящей на одном колене Магдалины, в облике цветущей фламандской блондинки уже найден любимый художником тип женской красоты.

В начале 20-х годов Рубенс исполняет сложнейший заказ Марии Медичи, французской королевы-матери, решившей украсить полотнами фламандского художника только что отстроенный Люксембургский дворец в Париже. За три года выполнить 21 картину и три портрета для дворцовой галереи — такое не мог бы сделать никто другой в Европе, хотя итальянские и французские коллеги откровенно завидовали удачливому фламандцу. Одновременно Рубенс пишет десятки мифологических композиций с спленами, вакханками, амурами... Именно в них воплотилась подспудная народная основа рубенсовского мировосприятия, карнавальная природа его творчества, так полно и блистательно выразившая жизнелюбие фламандцев начала XVII века. Но и в религиозных, алтарных образах и в исторических декоративных панно художник остается верен себе: в «Пире у Симона-фарисея», в «Счастливом правлении» или «Коронации Марии Медичи» он прославляет радость жизни, торжество человеческой плоти.

Дразнящая чувственность его образов, пирующие вакхи и силены, вакханки и нимфы, ненасытная жажда упоения этим звучным, полнокровным миром страстей и желаний — как все это совмещалось с иезуитской Фландрией ханжей и монахов, католической мистикой и религиозными канонами? Вопрос трудный, но интересный. Ответ на него надо искать в народном мироощущении фламандцев той поры. Ведь они совсем недавно вместе с северными нидерландскими провинциями воевали против испанских завоевателей. Дух этой освободительной борьбы через двести пятьдесят лет после Рубенса воплотит другой генеральный сын Фландрии — Шарль де Костер в романе «Тиль Уленшпигель», — там можно почувствовать духовное состояние фламандцев XVI века. Кальвинистская Голландия, утвердившая свою независимость от Мадрида, и католическая Фландрия, пошедшая на временный компромисс с испанцами, — обе страны, хотя и очень по-разному, утвердили свою духовную независимость, национальное сознание.

Ромен Роллан в статье о романе «Тиль Уленшпигель» замечал, что настоящие фландрские божества находятся в народном «Мире Стихий», «на табашке весенних духов, на пасхе соков земли». Давно замечено, что фламандцы, пожалуй, единственный народ на севере Европы, сохранивший в те годы языческое мироощущение «вакханалии жизни» (выражение И. Репина), упоения праздничным ликом торжествующей земной радости. Восхищение человеческой красотой, которое, по словам Роллана, в других странах Севера почти всегда грубо и принижено, «в стране ярмарочных празднеств умеет сохранить свою глубокую чистоту. В этом прекрасном фруктовом саду, в этой Фландрии, тело — всегда цветок или плод. Его вкушаешь или его выдыхаешь. Полотна Рубенса — вот поэтическая и пыльная кладовая Фландрии. Ляжки и бедра «Дочерей Левкиппа» родственны пионам



П. П. РУБЕНС. Автопортрет. Около 1638—1640 гг. Вена.

и пушистым персикам. Здоровая чувственность смеется, изнемогая, — счастливая, как распускающаяся роза».

Характер фламандцев нашел в картинах Рубенса свое убедительное толкование, особенно это относится к женским типам. Только что вышедшая в Москве интересная книга «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы XIX—XX веков. Весенние праздники» позволяет заглянуть в национальные обычаи небольшого, своеобразного народа, населяющего нынешнюю Бельгию. Весенние массовые карнавалы, праздничные шествия, театрализованные уличные представления, сопровождавшиеся необузданным весельем, обряды, связанные с водой и огнями, с пробуждением природы, когда «солнце танцует от радости», — все это идет еще от дохристианских времен, от римских сатурналий. Народный календарь фламандцев знал немало поистине языческих «дней безрассудств и шалостей» с обильной едой и питьем, с плясками и хороводами. Не поискать ли здесь истоков праздничной, карнавальной рубенсовской живописи, учитывая, конечно, требования «большого стиля» барокко? Никто — до и после Рубенса — с таким упоением и свежестью не писал женское тело, цветущее, теплое и нежное. Перелпы золотистых, жемчужно-серых, голубых тонов передают очарование и трепет живой плоти, горячий блеск глаз, мерцание выходящих локонов. Гвидо Рени как-то полусухо говорит Рубенсу, что тот, наверно, подмешивал в свои краски немного натуральной человеческой крови. Как бы то ни было рубенсовские вакханки, нимфы, пастушки и сатиры, полные несколько тяжелой грации, излучают жизнь и радость. Конечно, у этой

праздничной живописи есть свои пределы; ей недоступны духовные глубины мысли и чувства, раскрываемые, например, современником Рубенса — Рембрандтом, жившим недалеко от Антверпена, за рекой Маасом, в Голландии. Рубенс, кажется, и не догадывался о подобных задачах. Странно только, что во время поездки в Голландию в 1636 году Рубенс посетил всех знаменитых нидерландских художников, исключая... Рембрандта. И в письмах своих ни разу не упомянул его имени. А молодой Рембрандт в 30-е годы был достаточно известен в родной стране. Впрочем, оба великих художника ставили перед собой прямо противоположные творческие задачи, и каждый достиг своих вершин. Разница только в том, что Рембрандт умер в нищете и забвении, а Рубенс — в блеске прижитной славы.

При жизни он действительно был удачлив — в творческой судьбе, в умении ладить с людьми, в семейной жизни. Почти семнадцать лет он безмятежно счастлив с Изабеллой Брант, и смерть ее в 1626 году переживает как сильное потрясение. «Она не была ни суровой, ни слабой, но такой доброй и такой честной, такой добродетельной, что все любил ее живую и оплакивал мертвую, — писал художник своему другу. — Эта утрата поражает меня до самых глубин моего существа...» Почти пять лет он проводит в путешествиях, дипломатических поездках, пытается найти «единственное лекарство от всех скорбей — забвение, дитя времени», и, вернувшись в 1630 году в Антверпен, Рубенс, уставший, входит в опустевший дом...

Он добился многого, но им владеет одно желание — быть подальше от капризов и прихотей сиятельных особ, полностью погрузиться в любимую живопись. В письме к французскому ученому и библиофилу Пейреску Рубенс пишет, что «возненавидел дворы» и понял, «как медлительны государи, когда им приходится платить, и насколько легче им творить зло, чем добро». Таких резких слов в письмах сдержанного, светски воспитанного фламандца немного — тем больше они впечатляют.

И все же последнее десятилетие жизни Рубенса не прошло в эмоциональных сумерках; оно освещено жаркой, захватывающей любовью, вспыхнувшей в сердце пятидесятилетнего художника к Елене Фоурмен, шестнадцатилетней дочери торговца шелком Даниэля Фоурмена. Художник давно был связан с этим домом: сын Даниэля Фоурмена был женат на Кларе, сестре первой жены Рубенса. В семье почтенного бюргера с его одиннадцатью дочерьми художник провел немало вечеров; его внимание вначале привлекла Сусанна — сохранилось несколько ее портретов, выполненных Рубенсом (особенно известен один из них под названием «Соломенная шляпа»). Но — как в старых сказках — младшая дочь была самой прекрасной, и в декабре 1630 года художник обвенчался с юной Еленой в церкви Святого Якова. Рубенс не любил открывать свою душу даже близким друзьям, и в письме к Пейреску, датированном 1634 годом, он объясняет свой выбор не только чувством любви.

«Я решил снова жениться, — пишет художник, — потому что не чувствовал себя созревшим для воздержания и безбрачия; впрочем, если справедливо ставить на первое место умерщвление плоти, то будем пользоваться дозволенной страстью с благодарностью. Я взял молодую жену, дочь честных горожан, хотя меня со всех сторон старались убедить сделать выбор при Дворе; но я испугался обычной для знати дурной черты — надменности, особенно сильной у этого пола. Я хотел иметь жену, которая бы не праснела, видя что я берусь за кисти, и, сказать по правде,

мне показалось жестоким потерять драгоценное сокровище свободы в обмен на поцелуй старухи».

Эти рассудительные слова 37-летнего художника только скрывают эмоциональное состояние, владевшее им после женитьбы на Елене Фоурмен. Гораздо более красноречива его кисть. Достаточно сравнить портреты Изабеллы и Елены, чтобы понять Рубенса. Если отношение к первой жене отличалось спокойной, ровной нежностью, то любовь к Елене Фоурмен вылилась в бурную, всепоглощающую страсть. Бюргерски благоприличная Изабелла в затянутых платьях и ослепительная красота Елены в знаменитой картине «Шубка»... Он изображает свою юную спутницу в брачном одеянии и в повседневной одежде, полуодетой и обнаженной, одну и с детьми, дома и в саду, улыбающейся и сдержанной, серьезной и мечтательной... Фигура и лицо Елены проходят через многие композиции Рубенса 30-х годов — мифологические, аллегорические, героические, даже религиозные; она выступает то в облике Венеры, останавливающей Марса, то в виде нимфы, преследуемой сатиром, или юной богородицы, наставляемой Анной, — вот где выражены истинные чувства, переполнявшие художника. Весь мир для него сосредоточился в Елене; она принесла новую весну в его жизнь, новых детей в его дом и новое вдохновение в его искусство; она помогла ему почувствовать себя в шестьдесят лет таким же юным, как в двадцать... И сегодня, спустя три с половиной столетия, рубенсовская Елена известна в мире не меньше, чем Елена греческая: портреты фламандской Елены радуют людей в музеях Мюнхена, Вены, Ленинграда, Гааги, Амстердама, Парижа, Мадрида, Нью-Йорка...

Последнее десятилетие оказалось лучшим в творческой судьбе Рубенса. Он обращается к пейзажу и к сценам народной жизни. Художник все чаще предпочитает писать небольшие полотна — собственноручно, не прибегая к помощи учеников. Жесточкий ревматизм разламывает и сковывает его суставы; едва оправившись от приступов болезни, он снова идет к мольберту.

В 1640 году художник умер от паралича сердца. ...На Зеленой площади Антверпена, в центре города, сегодня стоит бронзовый Рубенс, приветливо встречая прохожих. Он изображен в просторной блузе-безрукавке, в шароварах и сапогах, у ног его — палитра с кистями... Здесь долгое время в летние вечера по средам и субботам давались концерты в честь художника. И часто в Бельгии, когда хотят сказать об Антверпене, говорят просто «родина Рубенса». Наверно, это и есть самые лучшие слова, которые хранит народная память о великом фламандце.



Галина
КОРНИЛОВА

СОЗВЕЗДИЕ РАКА

РАССКАЗ

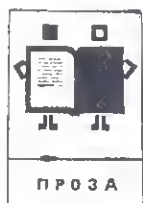


Рисунок
Г. ПОНДОПУЛО.

Мы были с ней подругами, хотя я всегда считала ее человеком не очень интересным, даже ограниченным, но все-таки добрым. Как-то уж так получилось, что мы стали подругами, и она всюду таскалась за мной словно тень. Но странное дело, всем вокруг казалось, что тень — это как раз я. Люди, попадавшие нам на улице, в кино или на бульваре, всегда замечали ее, а не меня. Они улыбались ей, останавливались возле нее, заговаривали с ней. Меня же при этом словно здесь и не было, мною они ничуть не интересовались.

Но не надо думать, что от этого у меня развивались всевозможные комплексы и переживания. Ничуть я не переживала. Я скромненько стояла в стороне, слушала, что они ей говорили — всегда одно и то же, — и дожидалась своего часа. Примерно минут через сорок они обращали свое снисходительное внимание и на меня. Оглядывались как бы нехотя, искоса бросали взгляд и тут же, отвернувшись, что-то говорили ей. Потом глядели еще раз с любопытством, слегка удивившись чему-то. А потом вдруг выяснялось: разговаривают они вовсе не с ней, Лелькой, идут не за ней.

Объяснение всем этим вещам я нашла позже в одной старой книжке с таким названием: «Люди и знаки Зодиака». Весь фокус, оказывается, заключался в том, что я была человеком Рака. В той книжке говорилось: человек, рожденный под созвездием Рака, обладает одним удивительным свойством — он способен вести за собой людей, тайно руководить другими.

Я тайно руководила своей подругой Лелькой, хотя это мог делать без всякой тайны кто угодно. Потому что Лелька была существом фантастически вялым и пассивным. Но зато она была красивой. Она была самой хорошенькой девочкой в нашей школе, и поэтому абсолютно никого не интересовала, активна она или пассивна, глупа или умна. Она была красивой, а значит, и умной. И, несмотря на замечательные качества людей Рака, дружба наша с Лелькой со стороны выглядела вот так: ходит себе очень хорошенькая девочка с розовым, как у куклы, личиком и таскает за собой непонятно что, пустое место, тень.

Один только раз Лелька на моих глазах проявила инициативу, когда решила записаться в юношескую театральную студию. Неизвестно, что это на нее вдруг нашло, только однажды утром Лелька встретила меня у дверей класса и затараторила в необычном для нее возбуждении:

— Ты видела? Объявление в раздевалке? Как же ты не видела? Набор в юношескую театральную студию. Сегодня к нам в школу приедет режиссер и будет отбирать. Представляешь? Нужно прочесть басню или стихотворение. Знаешь, — Лелька в смущении потупилась, — я хочу попробовать. А ты не хочешь?

Последнюю фразу она произнесла неуверенно. Она и сама прекрасно понимала, что мне-то в театральной студии делать нечего. Действительно, что мне там делать с моей никакой внешностью? Смешно было даже думать об этом. Но я и не собиралась думать. Меня нисколько не интересовала какая-то студия. Тоже мне занятие — кривляться перед толпой совершенно незнакомых людей!

Лелька же по своему обыкновению уже начинала ныть:

— Пойдем туда со мной, а? Ну прошу тебя, чего тебе стоит! Одна я просто умру со страха.

— Чего тебе бояться? — удивилась я. — Ты что думаешь, тебя не примут? Да тебя в любой театр примут, если только ты захочешь.

Все девчонки нашей школы считали, что Лелька с ее светлыми кудряшками и большими голубыми глазами — вылитая Людмила Целиковская. Кого же, как не ее, принимать в эту студию?

В конце концов я уступила Лелькиным мольбам и согласилась пойти вместе с ней в кабинет биологии после пятого урока. Там должно было начаться прослушивание. Хотя гораздо больше хотелось мне идти домой и поскорее дочитать книгу А. Дюма «Двадцать лет спустя».

Когда прозвенел последний звонок, я пошла в раздевалку, взяла с вешалки свое пальто и накинула его на плечи.

— Чегой-то ты? — удивилась Лелька, увидев меня. — И так жарко...

— А мне, наоборот, холодно, — отрезала я.

Я знала, что за пальто мне могло здорово влететь от завучихи, встретить я с ней где-нибудь в коридоре. Но зато теперь не видно было заплат, красующихся на локтях моей вязаной кофточки. Каждый раз мама уверяет меня, что заплаты совершенно незаметны. Кроме того, она всегда сообщает, что в моем возрасте носила одну-единственную вязаную кофту поочередно с тремя сестрами. И уж на той-то доисторической кофте вообще живого места не было. Но все это было для меня довольно слабым утешением.

Когда мы с Лелькой поднялись наконец на четвертый этаж, то увидели перед дверью кабинета биологии целую толпу. Тут было несколько восьмиклассников, человека три из седьмого «А», параллельного с нами класса, один мальчик в очках из шестого, две неразлучные подружки из девятого, исполняющие на школьных вечерах дуэтом песню про тонкую рябину, и даже одна великовозрастная дылда из десятого.

Тихо переговариваясь друг с другом, они то и дело поглядывали в другой конец коридора, где находилась учительская. С минуты на минуту оттуда должен был появиться режиссер театральной студии.

Вдруг двери учительской широко распахнулись. Сначала в коридоре появилась наша старшая пионервожатая Соня, а следом за ней из учительской вышла высокая женщина в темном шелковом платье с маленькой, тоже темной шляпкой на голове. Парочка, которая двигалась сейчас от учительской к нам, выглядела очень смешно. Толстенная, коротконогая Соня в сбитом на сторону красном галстуке (концы его, как всегда, болтались у нее где-то на плече) катилась по коридору, словно колобок. Мадам в шляпке плыла рядом с ней, выпрямив спину и величественно откинув назад голову. Издали она была похожа на «Неизвестную» художника Крамского, которая только что вылезла из своей коляски.

Еще не дойдя до нас несколько шагов, пионервожатая Соня заговорила-зататорила:

— Ребята, внимание! Вот это режиссер театральной студии Анна Максимовна Астахова. Она прослушает вас всех по очереди. Я прошу вас соблюдать дисциплину, не шуметь и не толкаться. Помните, что вы пионеры и комсомольцы...

Режиссерша из-за Сониного плеча важно наклонилась к нам свою шляпку, и тогда мы увидели вот что: вся эта особа была накрашена. Черной краской у нее были подрисованы брови, ярко-красной — губы, а на лбу, щеках и на крупном носу с горбинкой лежал слой белой пудры.

— Дети! — заговорила раскрашенная режиссерша низким, глубоким голосом. — Сейчас каждый из вас исполнит какое-нибудь стихотворение или басню. При желании можно прочесть и отрывок из прозаического произведения.

— А если свои стихи, то можно читать? — пропи-

щал вдруг рядом со мной очкарик-шестиклассник, и все сейчас же повернулись в его сторону.

— Конечно, можно, — улыбнулась Анна Максимовна. — С тебя мы и начнем. Минут через пять зайдешь сюда в класс и прочтешь мне свои стихи.

С этими словами она исчезла за дверью кабинета биологии. Вожатая Соня поправила галстук, пожелала нам всем «ни пуха ни пера» и понеслась дальше по своим многочисленным неотложным делам.

Режиссерша театральной студии мне сразу же ужасно не понравилась. Можно сказать, что я ее возненавидела с первого взгляда. За что? На этот вопрос я, наверное, не смогла бы даже ответить. Скорее всего дело заключалось в том, что она была поразительно не похожа на мою мать, моих теток, наших соседей по коммунальной квартире и даже на учительниц школы, где я училась. На женщин бедных послевоенных лет, донашивающих платья, сшитые перед войной, стесняющихся накрастить ярко губы, не имеющих денег на то, чтобы купить флакон духов. Жгучее чувство, овладевшее мной при виде режиссерши, точнее всего можно было бы определить словами «классовая ненависть». Хотя известно, что антагонистические классы в нашей стране давно ликвидированы.

Желая поделиться с Лелькой своими ощущениями, я выразительно посмотрела на нее и неодобрительно покачала головой. Но Лелька меня не поняла. Она глядела бессмысленно куда-то в пространство и при этом что-то беззвучно шептала. Наверное, повторяла про себя басню «Кот и повар», которую собиралась читать. Будь Лелька немного поумнее, она и сама могла бы сообразить, что учиться у этой расфуфыренной и раскрашенной дамочки ей нечему. Но ни о чем таком Лелька даже и не думала. Она протиснулась вперед и теперь прижималась ухом к двери класса.

— Читает, читает! — зашипела она, словно гусыня, и вся толпа тоже полезла к дверям в надежде что-нибудь услышать. Но тут скоро в коридоре показался сам экзаменуемый поэт-очкарик. Вид у него теперь был довольно сконфуженный.

— Велела подождать, — объявил он в ответ на расспросы и недоуменно пожал плечами.

— Значит, тебя приняли, — убежденно сказала Лелька. — Если бы не приняли, зачем тогда ждать?

Вслед за поэтом в кабинет биологии отправилась каланча-десятиклассница, а за ней подружки-певуньи из девятого. Выходили они все оттуда смущенные, с красными, растерянными лицами. Похоже было на то, что режиссерша не очень-то спешит брать их в свою студию.

Тем временем подошла и Лелькина очередь. Не только я одна, все ребята, собравшиеся в коридоре, в один голос уверяли мою подругу, что ее-то примут обязательно. Среди девчонок, желающих записаться в студию, просто не было ни одной, которая могла бы соперничать с Лелькой красотой. Сама же Лелька хоть и рассказывала всем, что умирает от страха, однако впрорхнула в дверь класса довольно бойко, взбив предварительно обеими руками свои пышные кудри.

Оставалась Лелька в кабинете биологии очень недолго, пожалуй, меньше, чем все остальные ребята. Не успели мы оглянуться, как она уже выходила оттуда, прижимая к глазам чистый носовой платок.

— Ты что?! — Я подбежала к ней, расталкивая ребят, повела ее к окну. — Не приняла? Не может быть!

Лелька затрясла головой и всхлипнула. Толпа вокруг нас тихо ахнула.

— Да что она вообще понимает! — возмутилась



я.—Подумаешь, режиссер! Я так и знала, что она ничего не понимает. Сразу же видно. Брось ты реветь, Лелька! Ты пойдешь в городской Дом пионеров, и тебя запросто примут. Знаешь, какая там студия!

Пока я утешала Лельку, из кабинета биологии вышло еще несколько человек. Прослушивание было закончено. Теперь они все ждали, что скажет им в заключение режиссерша. Даже Лелька, несмотря на мои уговоры плюнуть и пойти домой, не трогалась с места.

Наконец Анна Максимовна показалась на пороге. Шляпки на ее голове уже не было, темные волосы были стянуты на затылке в тяжелый узел. Прозрительными, сверкающими из-под черных бровей глазами она быстро оглядела притихших ребят и вдруг повернулась ко мне:

— Вот ты, девочка, еще не была. Заходи, пожалуйста, я жду.

И повернувшись, исчезла опять за дверью.

Я стояла как столб и в изумлении глядела на эту дверь, а ребята вокруг меня шумели.

— Иди!—крикнул мальчик в очках.—Она же ждет!

— Иди!—строго повгорила десятиклассница и, осуждая меня, покачала головой.

— Иди!—хором выкрикнули певички.

— Иди, иди,—горячо зашептала мне в самое ухо Лелька.—Прочти ей «Свинью под Дубом», ну что тебе стоит!

И тогда я вошла в кабинет биологии. Только потому, что мне казалось невежливым заставлять ждать себя взрослого человека. Пусть даже этот человек мне очень не нравится. Конечно, никаких басен я ей читать вовсе не собиралась. Я вошла в класс лишь для того, чтобы объяснить: произошло недоразумение, и я совсем не собираюсь поступать в ее студию.

Кабинет биологии похож был на тропический лес. Вьющиеся растения выползали из горшков, карабкались по стенам и окнам, и среди листвы верещала парочка попугаев-неразлучников. Можно было догадаться, что в этом лесу водились также свирепые хищники-людоеды. Потому что в углу под хилой пальмой притулился аккуратно обглоданный человеческий скелет.

Здесь пахло сырой землей, листьями, меловой пылью, а когда я приблизилась к столу, остро запахло духами, которыми надушилась режиссерша. Она сидела за столом в такой позе, словно под ней было мягкое удобное кресло, а не обычный стул. Откинувшись на спинку «кресла» и заложив ногу за ногу, она чуть постукивала пальцами с багровыми ногтями по столу. Она небрежно кивнула мне, давая

понять, что готова слушать. Я открыла рот, чтобы объяснить ошибку, посмотрела еще раз на ее белое лицо и красные ногти и неожиданно для себя самой громко и злобно сказала:

**Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой...**

Конечно, я любила эти стихи за то, что Лермонтов оплакивал в них самого любимого мною на свете человека — Пушкина. Для него он тоже был самым любимым. Но мне они нравились еще и потому, что каждая строчка в них как будто клокочет от ярости и ненависти к людям, погубившим поэта. В туманном моем воображении эти «надменные потомки» рисовались сейчас очень похожими на облаченную в шелка, крашеную режиссершу.

Глядя прямо в ее напудренное, бледное лицо, я упоенно, набирая силу, перешла к строкам про жадную толпу у трона, где каждое слово бьет, как пощечина. Я орала их на всю школу, прямо заходясь в своей классовой ненависти, а когда закончила, то вдруг подумала: сейчас она поднимется и вышвырнет меня отсюда. Или побегит жаловаться директору. Но на что? Я скажу тогда, что всего лишь прочла ей известное стихотворение М. Ю. Лермонтова.

Но она пока не вставала и никуда не бежала. Снизу вверх она пристально глядела на меня, а с ее носа тихо осыпалась на стол пудра.

— Ты училась где-нибудь? — наконец спросила она. — Ты когда-нибудь играла на сцене?

Я отрицательно покачала головой. Никогда в жизни я не играла ни на какой сцене. Зато дома, едва уходили из квартиры взрослые, я разыгрывала для самой себя целые спектакли. Я вытаскивала из книжного шкафа толстую книгу, на коричневом переплете которой золотом было написано: «Вильям Шекспир. Избранные произведения». Я раскрывала ее на «Короле Лире» и раскрытой клала на диван. А потом мир переставал существовать для меня. Как в лихорадке, металась я по нашей тесной, заставленной громоздкой и совершенно ненужной мебелью комнате. Я вздевала к потолку руки, падала на колени на пол, брела вдоль стены, слепо ощупывая углы бабушкиного сундука и верблюжий горб швейной машинки «Зингер». Лицо мое то искажал гнев, то заливали его потоки самых настоящих слез.

Ибо почти одновременно я становилась то нежной Корделией, то ее бессердечными сестрами, то благородным Эдгаром, то ничтожным Эдмундом. Но самое главное — я была несчастным королем Лиром, изгнанным из своего королевства, обманутым и оскорбленным. Мои ноги увязали в жидкой грязи, дождь мочил мою одежду, но, не замечая ничего этого, брела я сквозь ночь, поглощенная одной мыслью, которая терзала мое сердце:

**...В душе смятенной буря
Все чувства заглушила, бьется тут
Одно: дочерняя неблагодарность!..**

Когда я вдруг запинаясь, забыв текст, я бросалась к дивану, отыскивала нужную строчку и снова неслась навстречу дождю и ветру...

Разумеется, ничего этого я не могла рассказать женщине, сидевшей передо мной за столом. Да и зачем было рассказывать?

Между тем она все-таки поднялась со своего места, прошлепав шелком платья, пошла мимо меня к дверям.

— Дети! — услышала я у себя за спиной ее голос. — Заходите все сюда.

И когда «дети» один за другим втиснулись в тесный проход между партами, она опять повернулась ко мне.

— Я хочу, чтобы ты почитала еще. Пусть они тоже послушают. Прочти какое-нибудь стихотворение или, может быть, басню. Вы же в школе учите басни...

Я шевельнулась и сбросила свое пальто на парту. Плевать на эти заплаты — мне казалось, что от невозможной жары у меня на спине между лопатками образовалась лужа. Я все еще стояла посреди класса, молча, уставившись в синее окно, по которому ползли вверх завитки листочков. Пока не почувствовала, как на плечи мне наваливаются дряхлость и безысходная тоска короля Лира. Свирепые ветры струились с меловых холмов Британии и все разом ударили мне в лицо. Согнувшись под их ударами, чувствуя, как ливень просачивается сквозь одежду, я горестно воскликнула:

**— В такую ночь
Прогнать меня!
Лей, лей, я все стерплю!
В такую ночь...**

Изо всех сил боролась я не только с этим дождем и ветром, а еще и с темным безумием, которое надвигалось на меня вместе с разбушевавшейся стихией, и все-таки нашла силы, заставила замолчать свою, кричащую в голос тоску:

— Ни слова больше!..

Когда, переведя дыхание, я подняла глаза, то увидела прямо перед собой Лелькино лицо. Рот у нее был полуоткрыт, глаза вытаращены. Как никогда, она была похожа на глупую куклу, выставленную в витрине магазина игрушек.

Среди полной тишины раздался снова голос Анны Максимовны:

— Это, — негромко говорила она, обращаясь к ребятам, — монолог короля Лира из драмы Шекспира «Король Лир». — Она повернулась, посмотрела на меня, потом продолжала: — Я хотела собрать вас всех здесь, чтобы объяснить, что такое талант и какими качествами нужно обладать, чтобы играть на сцене. Но я надеюсь, что теперь, когда вы ее послушали, вы многое поняли и без моих слов. Верно?

Ничего они не поняли, однако все разом закивали головами. А мальчик-поэт из шестого класса пропичал:

— Она как настоящая артистка...

— Она и есть артистка, — сказала режиссерша и положила мне руку на плечо. — То есть я хочу сказать, что у нее есть настоящие способности. Но, конечно, нужно еще много работать.

Они все столпились вокруг и пялили на меня глаза, как на какое-нибудь чудо-юдо. И тут вдруг в самый неподходящий момент я с ужасом почувствовала, что начинаю дико краснеть. Сначала у меня запылали щеки и вспотел лоб, потом жар пополз куда-то вниз, к шее. Я стояла перед ними и постепенно наливалась жуткой краснотой, как поспевающий на солнце помидор. Даже уши нестерпимо горели у меня под волосами.

И все это происходило оттого, что человек Рака — как было сказано в той же самой старой книге — по своей природе необыкновенно застенчив.

Виктор ЕРМИЛОВ,

Герой
Социалистического
Труда,
слесарь московского
станкостроительного
завода
«Красный пролетарий»
имени А. И. Ефремова



будьте преданы делу

Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий» имени А. И. Ефремова имеет давнюю историю. Он был основан еще в середине прошлого века. Однако подлинное свое рождение пережил уже после Октября, в годы первой пятилетки. Тогда здесь был сконструирован знаменитый советский токарный станок «ДНП» («Догнать и перегнать капиталистические страны»).

В это время и пришел на «Красный пролетарий» Виктор Васильевич Ермилов. В судьбе слесаря Ермилова прослеживается не только история становления крупного советского промышленного предприятия, но и развитие новых социалистических отношений между людьми, рост самосознания рабочего человека, его путь к управлению государством.

Многогранна деятельность рабочего В. В. Ермилова. Он избирался делегатом XXII, XXIII и XXIV съездов партии, был депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, членом ЦК КПСС, членом комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, заместителем председателя Общества дружбы с ГДР. За свою трудовую деятельность Ермилов удостоен звания Героя Социалистического Труда, многих правительственных наград. Почти полвека отдал Виктор Васильевич родному заводу и сейчас продолжает трудиться на самом сложном участке производства, передавая свой богатый жизненный опыт молодежи.

Как-то во время поездки по одной братской стране мне довелось побывать на заводе электронно-вычислительной техники. Собеседниками моими были немолодые уже рабочие, люди моего поколения, седовласые и седоусые. Тем не менее разговор у нас все время шел вокруг молодежных проблем: кто приходит на смену ветеранам? Какие они, рабочие ребята нынешнего поколения? Некоторые мои коллеги сетовали на легкомыслие нового пополнения рабочего класса, отсутствие должного трудолюбия, терпения, недостаточную граждан-

скую зрелость. Помню, я сказал тогда своим коллегам:

— Вы создаете машины, которые будут работать в пределах той информации, какую заложите в них. Так и с молодежью: если мы не заложим в их го-

На снимке: В. В. Ермилов со своими воспитанниками Валентином Крутовым и Владимиром Берзовским.

Фото Л. ГЛАГОЛЕВА.

ловы наши идеи, наши убеждения, наше упорство в достижении цели — что ж? Останется пенять только на самих себя...

Потом я не раз мысленно возвращался к этому разговору. Вроде бы убедительно высказался, а все же какие-то сомнения не давали покоя. Вспоминал свою молодость, тех, кто учил меня уму-разуму. Отца, который так тревожился о моем будущем. Политрука Крысина из госпиталя на Украине, куда меня эвакуировали из голодающего Поволжья. В этом госпитале нас, десятерых оборванных мальчишек из эвакуированного эшелона, приютили красноармейцы. Там мы прожили почти год, вплоть до окончания гражданской войны, когда госпиталь был расформирован. Политрук Крысин понимал, что наша встреча продлится недолго, и спешил дать нам побольше элементарных политических знаний, как он говорил, хотел видеть нас настоящими «маленькими пропагандистами»...

Вспоминаю себя выпускником профессионально-технической школы, первые рабочие шаги на уральском заводе в Невьянске и, конечно, нашу по-детски наивную мечту: вчетвером мы намеревались взять расчет, купить большую лодку и из родной Елабуги спуститься вниз по Каме и Волге, чтобы попасть на Сталинградский тракторный завод...

Июль 1930 года, Москва. Отдел кадров завода «Красный пролетарий». Мы с товарищем только что приехали с Урала. Сквозь застекленную галерею замороженно смотрим в первый механический цех. До нас долетает ритмичный шум работающих станков, грохот мостового крана. Манящая картина напряженно работающего завода. Но мы лишь наблюдатели. Не имея направления с биржи труда, мы без всякой надежды спрашиваем:

— Скажите, пожалуйста, вам слесаря не нужны?

Оказывается — нужны. Первая советская пятилетка делает свои первые шаги. И я стараюсь идти с ней в ногу. Мы делаем ДИП, знаменитый ДИП! Рядом с сегодняшними стаиками с числовым программным управлением, которые выпускает теперь наш завод, каким неказистым, просто замухрышкой выглядит старенький ДИП. Но тогда... ДИП — это было больше, чем станок, это был лозунг эпохи: догнать и перегнать капиталистические страны!

Для юноши семидесятых годов долгий путь от первой до десятой пятилетки — лишь отрезок истории нашей страны. Эти годы он без труда может классифицировать в соответствии с учебником по периодам: индустриализация, коллективизация, послевоенное восстановление народного хозяйства... Для моих сверстников довольно затруднительно пересчитать эти годы, как косточки на счетах. Это наша жизнь, пройденная вместе со страной. Это наше поколение осуществляло индустриализацию и коллективизацию, вынесло тяготы войны и разрухи. Мы поднимали страну, а эпоха великих революционных преобразований воспитала нас.

...И все-таки, по-моему, не следует чересчур идеализировать прошлое: когда я стоял почти полвека назад в отделе кадров ставшего теперь родным «Красного пролетария», и знаний и культуры у меня было вдвое, а то и вчетверо меньше, чем у сегодняшнего выпускника ПТУ. Да и гражданскую зрелость я им не вручал вместе с пропуском на завод — годами накапливалась она, всей нашей жизнью. А мы сегодня нет-нет, да и попытаемся сравнить «по всем показателям» семнадцатилетнего мальчишку с нашим братом, ветераном. Сравним,

да еще носом покрутим: и дисциплина не та и сознательность не та, вообще слабоват против кадрового рабочего!

Впрочем, можно обратиться и к современной истории «Красного пролетария». В 1973—1974 годах у нас на заводе сложилось нелегкое положение с кадрами. Дело в том, что к тому времени мы перешли на выпуск новой модели станка 16К20. При этом это потребовало сложной перестройки заводской структуры. Внедрялась специализация, расширялись кооперированные поставки, одним словом, осуществлялись те меры, которых требует современный уровень развития станкостроения.

Казалось бы, все это вопросы организации производства, не имеющие прямого отношения к молодым рабочим. Но взглянем в эту ситуацию пристальней.

Наш завод относится к той категории предприятий, где довольно много еще физического труда. Не каждый выпускник школы или ПТУ бежит к нам, что называется, вприпрыжку. С другой стороны — реконструкция. Хлопотливое, трудное дело: сверхурочные, переработки. Всем ли это по плечу?! Короче говоря, даже некоторые опытные рабочие уходили с завода. И получилось так, что мы за это время пополнились чуть ли не в половину новенькими, главным образом это была молодежь, выпускники нашего базового ПТУ.

И вот этим мальчишкам и предстояло в кратчайшие сроки доверить новое производство. Но ведь и нам, кадровым рабочим, и оборудование и технология тоже были неизвестны. Выпускаемый сейчас высокоточный, долговечный станок потребовал высокого качества изготовления деталей и узлов.

Трудно было. Учили молодых и учились сами. На моем веку это не первая реконструкция, всегда нелегко приходилось. Но тут особенно боялись — уж очень молодыми кадрами пополнился завод. Но реконструкция прошла успешно. Я не хочу сказать, что все было гладко. Конечно, отсеивались люди. Некоторых мы даже вынуждены были уволить с завода — не устраивало нас их поведение.

В семьдесят третьем году мы сумели освоить проектную мощность. Правда, с заводов, покупавших у нас новые станки, поступало много нареканий: то одна деталь барахлит, то другая, а то, глядишь, и целый узел вышел из строя. Вот тогда партийная организация и обратилась ко всем рабочим: добивайтесь высокого качества изготовления и сборки каждой детали, каждого узла.

В ответ на этот призыв почти на каждом участке были созданы комсомольско-молодежные бригады. Началась борьба за культуру производства, широко развернулось рационализаторское движение. Ко мне зачастили молодые изобретатели.

— Посмотри, Василий, не лучше ли будет эту операцию так выполнять? — приходит один.

— Конфигурацию детали надо изменить, — кипитесь другой, — тогда время на сборку узла сократится вдвое. Честное слово, я всю ночь думал...

Мне вспомнились мои первые рационализаторские шаги в уральском городке Невьянске. Я работал тогда в ремонтной группе у слесаря Потальца.

— Смотри, здесь смекалка нужна, братец мой, — говорил он мне, давая задание. — Первое дело — вышабрить одну направляющую параллельно винту, потом по этой направляющей другую, чтоб каретка ровно ходила. Смекаешь? Делай все по контрольным валикам.

— Я еще вчера подумал,— сказал я Потапычу,— зачем здесь контрольные валики? Куда проще сделать по каретке с клином, по натиру.

Потапыч чешет лысину.

— Наше дело команду слушать и выполнять, что скажут. Небось деды наши над этим думали, мудрили, а ты... без валиков.

И все же я довольно быстро сделал по-своему.

— Уже готово? Без валиков? Ну берегись, ОТК тебе задаст. Будешь все заново переделывать,— пригрозил Потапыч.

— Больно вы приткие, молодые. А надо в нашем деле как? Семь раз примерь...— ворчал старичок контролер.

Я принес контрольные валики: к сожалению, индикаторов у нас не было. Стали замерять, и направляющие оказались непараллельными.

— Так-то, сынок. Молодо-зелено. Тише едешь — дальше будешь,— поучал меня контролер.

Но я не сдавался:

— Каретка ходит ровно, и если я сниму хоть одну десятую миллиметра, где по валикам плюс получается, болтаться будет каретка. Вы сами тогда не примете работу,— заявил я контролеру и Потапычу.

— Это ты верно говоришь,— согласились они.— Так в чем же тут дело?

— Очень просто. Валик лежит не на шабренной поверхности, а на той, что выбрана когда-то резцом под клин. Поэтому и показывает неверно,— объяснил я.

Потапыч с контролером переглянулись; им явно не хотелось сознаваться в своей ошибке, тем более что особо хвалить молодых людей на этом заводе было не принято.

— Делай дальше,— коротко бросил контролер...

Не в пример Потапычу я старался всячески подержать молодых краснопролетарцев: очень много дельных предложений поступало от рационализаторов.

Однако внедрение технических новшеств всегда вызывало да и сейчас вызывает множество возражений, изобретателю, рационализатору нередко приходится отбивать мощные контратаки на разных уровнях. Отчего это происходит? Самый добросовестный, квалифицированный конструктор, делая общую разработку узла, может ошибиться в деталях. Даже не то, чтобы ошибиться: просто всего не предусмотреть в чертежах, на то и существует практическая проверка. Рабочий же, не имея инженерной подготовки, не обладая квалификацией конструктора, но десять лет «просидев» на данной операции, сразу видит дефекты новой конструкции. Естественно, слесарь или наладчик предлагают свой вариант. Конструктор соглашается, в принципе он «за», но вносить изменения в чертежи не торопится. Ведь ему начесть сделать: куда раньше смотрел? Все. Круг замкнулся. Вроде бы «Потапычей» нет, все приветствуют рационализацию, поощряют рабочую инициативу, а дело не движется. Не потому ли рационализатор, месяцами обивающий пороги,— самая популярная фигура в цеховых стенгазетах?

Тем не менее, повторяю, на нашем участке внедрение предложений рабочих проходило довольно успешно. Этому в значительной мере способствовал авторитет кадровых производственников, старых коммунистов.

Началась аттестация на Знак качества, и в конце 1974 года станок 16K20 получил этот почетный знак.

Я вижу здесь не просто решение важной технической задачи. Скорее это результат того эффекта,

который подготовлен нашей воспитательной системой, всей нашей действительностью.

Сама обстановка нашей рабочей жизни все время напоминает, что на дворе последняя четверть двадцатого века — эпоха научно-технической революции. Производство, допустим, у нас на «Красном пролетарии» часто требует таких знаний, которыми даже не все опытные, кадровые рабочие обладают. Более того, инженеры, окончившие институт каких-нибудь семь-восемь лет назад, не могут без специальной переподготовки участвовать в работе по производству станков с программным управлением. И хотя у нас на заводе имеются замечательные кадры конструкторов, создававших все предыдущие модели, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) — дело рук и ума совсем молодых инженеров. Так что первейшая, наиглавнейшая задача, которая стоит перед нами сегодня, — это постоянная учеба и переподготовка кадров, освоение новых профессий.

Самая трудная профессия на участке станков с ЧПУ, где я работаю, — сколько себя помню, всегда приходилось осваивать новую технику, — это профессия наладчика. Наладчик должен в совершенстве знать станок, научиться им управлять не хуже, а лучше токаря-профессионала. Он должен уметь обнаружить любой дефект, подсказать, как его устранить; либо должен сам устранить неисправность. Сейчас у нас от заказчиков отбоя нет — и отечественные и зарубежные заводы с удовольствием покупают станки с ЧПУ. А отладить станок, запустить его в работу на каждом конкретном предприятии — дело наладчиков. Где же такую пропасть народа взять?! Вот и решили мы переучить бывших слесарей, да и молодых, приходящих на наш участок, по определенной системе. Жуков, Березовский-младший, Пашков, Матвеев — немало уже у нас квалифицированных специалистов. Система же наша вот в чем заключается. Перемещаем рабочего с операции на операцию. То он, скажем, работал на участке гидродвигателей, потом переходит на монтаж кареток, затем на третий участок. У нас даже вывешена специальная таблица: кто сколько профессий — точнее, не профессий, а разновидностей слесарно-наладочных работ — освоит. Как только достигнет человек совершенства на очередном участке, так против его фамилии квадратик заполняется. Вот обычно в душевой после смены наши молодые «подкусывают» друг друга: «Чего наработал сегодня? Опять, небось, не за зарплату, а за квадратик стараешься?!»

Конечно, квадратики никак не могут передать тех сложных внутренних изменений, которые происходят с человеком, связавшим свою жизнь с рабочим коллективом. Одного профессионального мастера, ох, как мало, чтобы называться рабочим-краснопролетарцем. Я вот что хочу сказать. Сейчас, например, в нашей стране форсируется промышленное роботостроение. Через пять-шесть лет станки с программным управлением сможет обслуживать один из таких «железных ребят». Смогу я его назвать своим учеником? Нет, конечно. Потому что, воспитывая ученика, прежде всего стремишься сделать его приемником твоих убеждений, идей. Не всегда это просто, я бы даже сказал, всегда непросто.

Я уже упоминал Березовского-младшего. Пришел Владимир к нам после окончания средней школы. Молодой, здоровый парень, спортсмен. Ходил по участку и похвалялся:

— Я долго на заводе не задержусь. Что тут интересного? Бокс — это штука! Выиграю еще несколько боев, стану мастером спорта — уйду из цеха...

Мы, помню, не стали разубеждать его, говорить громкие слова. Пусть боксирует, играет в регби, раз силушка есть. Я тоже в его возрасте двухпудовыми гирями играл. А сами стали подкидывать Володе работу посложнее. Такую, где подумать надо, вечером над книжками посидеть. Проходили недели, месяцы, и постепенно спорт отодвигался в жизни Березовского на второй план. Втянулся он в работу, все слесарные операции освоил, стал учиться мастерству наладчика. Кончилась девятая пятилетка, смотрю, нашего Володьку представляют к ордену Трудовой Славы III степени.

Дальше — больше. Окончил курсы мастеров, стал наладчиком первостатейным. В прошлом году дал я ему рекомендацию в партию. А нынешней зимой решили мы, что настала пора нести Березовскому партийную награду. Рекомендовали его пропагандистом участка. Он на дыбы:

— Какой из меня пропагандист? Вот Ермилов — он на любой вопрос ответить может, в разных землях побывал. А я что...

— Не кляйтесь, Володька, — говорю ему. — Я ведь тоже когда-то с нуля начинал. Когда стал депутатом районного Совета, боязно было к делам подступаться. Получил депутатскую книжку, а опыта никакого. А потом — ничего, даже в Верховном Совете не тусовался. Теперь не могу представить свою жизнь без общественной работы, бедная биография получилась бы...

Одним словом, убедил. Начал Березовский посещать семинары пропагандистов. Ходит исправно, а вот первую беседу провести никак не решается.

— Ну, что ж, — говорю, — давай для начала вместе попробуем.

Подшли в перерыв к столикам, где наши ребята в домино играют. Володька читает по бумажке, а рабочие знай костяшками стучат. Влопуха слушают. Тут я его перебил. Рассказал к месту случай, происшедший со мной в Англии. Отставили люди домино, заинтересовались. А я Володьку потихоньку наставляю:

— Ты газеты ребятам не перечитывай, они сами грамотные. Лучше растолкуй международные события, вспомни пример, который вам на семинаре пропагандистов приводили. Да поменьше в бумажку смотри, своими словами приучайся изъясняться.

И что же, пошло дело. Вторая, третья беседа. Теперь рабочие сами к Березовскому с вопросами обращаются.

Мне часто приходится выступать перед школьниками, и почти всегда разговор заходит о выборе жизненного пути, профессии. При этом некоторые молодые люди хотят получить чуть ли не готовый рецепт: как строить свою жизнь, кем быть? В таких случаях я отвечаю: самое главное — быть на своем месте.

Лично я выбрал свою дорогу, пойдя учиться в профессионально-техническую школу. Выбрал дело по призванию, по душе. И, как оказалось, прочно, на всю жизнь. А с тридцатого года стал краснопролетарцем. С тех пор до нынешних дней у нас с заводом одна судьба, крепко-накрепко повязались. Оглядываясь на прожитое, вспоминая даже самые трудные годы, прихожу к выводу: счастливую я выбрал судьбу. С удовольствием шел по ступенькам рабочего мастерства. Объездил и повидал полмира — от Индокитая до Британских островов. Участвовал в работе высшего законодательного органа страны — Верховного Совета СССР. Был членом Центрального Комитета партии, делегатом трех съездов КПСС.

Судьбы других выпускников нашей профессионально-технической школы сложились по-иному. Многие стали инженерами, педагогами, учеными. Но твердо уверен, что рабочая профессия, которую каждый получил в школе, крепко помогла в дальнейшей работе. Да что далеко за примерами ходить. Ведущий конструктор «Красного пролетария» Валентин Тихонович Левшунов начинал свою биографию токарем. Впоследствии на его «боевом счету» было множество станков — от ДИПов до самых совершенных моделей. Не раз мне приходилось слышать от Валентина Тихоновича, как помогло ему практическое знание токарного дела в конструкторской работе.

Так что, как ни крути, а рабочие университеты были и остаются основой основ.

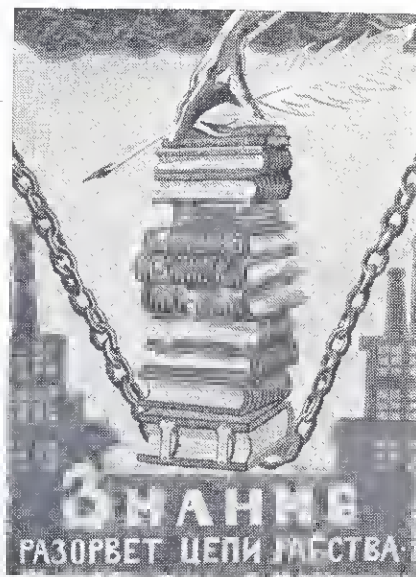
С другой стороны, не так-то просто определить профессиональный путь другого человека. Пусть даже такого близкого, как родной сын. Например, думалось мне, что мой Владимир будет продолжателем семейной традиции, если не рабочим, то инженером придет на «Красный пролетарий». Есть у нас на заводе рабочая династия Байковых. Глава династии Михаил Михайлович — мой коллега. И сыновья его на завод по отцовской дорожке пришли, на нашем участке работали. Ну, думаю, мой Владимир в Институт стали и сплавов поступил, придет к нам специалистом. Вышло по-другому. Прочувшись немного, он был призван в армию. А когда вернулся, поступил в педагогический на художественное отделение. С детства мог часами сидеть за листом картона, рисование было еще в школе его самым любимым предметом. И вот добился своего: сам еще только на втором курсе, а уже преподает в начальных классах изобразительное искусство.

Это, разумеется, частный случай, но, я думаю, настойчивость и целеустремленность в молодом человеке всегда похвальны. От людей, любящих свою работу, на любом участке общественного производства самая большая отдача. И что не менее важно — сам человек чувствует себя, так сказать, «у дел», испытывает душевное равновесие.

Когда утром я иду через проходную в родной цех, часто вижу приветственные «молнии». Поздравляют победителей социалистического соревнования. Читаю: «Комсомольско-молодежная бригада Олега Суворова из восьмого механического...», «Комсомольско-молодежная бригада Алексея Тюрина из первого сборочного цеха...» Я этих ребят не знаю, как и многих других, что здороваются со мной: они недавно пришли на завод. Но, прочитав их имена, я радуюсь за молодых краснопролетарцев. Пусть это даже не мои ученики, на рабочую дорогу их вывели мои друзья — ветераны завода. Я раскланиваюсь с молодыми рабочими, как со старыми знакомыми, ощущая, что все мы — одна большая семья. Как тут не вспомнить слова Леонида Ильича Брежнева, сказанные на XVI съезде профсоюзов СССР:

«Для человека коллектив, в котором он работает, — это своего рода и дом, и семья, и школа. Именно здесь от одного поколения к другому переходят профессиональный опыт, мастерство, привычка трудиться на совесть. Именно здесь — из сердца в сердце — передаются молодежи коммунистическая идейность, верность делу партии, готовность быть всегда впереди, на самых трудных, на самых решающих участках».

Рассказывает
режиссер
Игорь
Романовский



так делается

Каждую пятницу мы спешим к телевизорам, чтобы посмотреть очередной видеофильм из цикла «Наша биография». Эти впечатляющие фильмы выпускает к 60-летию Советской власти Главная редакция программ для молодежи Центрального телевидения (главный редактор Евгений Широков, художественный руководитель цикла Галина Шергова). О том, как делаются эти фильмы, и пойдет рассказ.

Обращаясь к какому-либо знаменательному событию одного из шестидесяти советских лет, мы чаще всего зримо разворачиваем его во времени.

Так, вспомнив о первом коммунистическом субботнике, состоявшемся в девятнадцатом году в депо Москва-Сортировочная, мы показываем, как затем здесь сложилась «лаборатория» коммунистического труда. И вот уже сегодняшние ребята говорят в нашем фильме, в чем для них смысл этих субботников.

«Наша биография» — это фильм для молодежи, и поэтому мы постоянно стремимся показывать, чем дорога современным комсомольцам каждая веха в истории Советской страны. Это предопределяло, например, выбор сквозного действия фильма «Год 1919-й» (сценарист Георгий Кузнецов).



В тот год делегаты украинского комсомола, собравшиеся в Киеве, в составе одного из полков Красной Армии отправились на борьбу с бандой атамана Зеленого, но пали жертвой предательства. Бандиты учинили зверскую расправу над комсомоль-

цами: расстреливали их, сбрасывая с обрыва в Днепр...

Прошло семь лет, и в киевской молодежной газете появилось объявление, которое приглашало юношей и девушек 16—17 лет принять участие в съемках фильма. Указывалось, что предпочтение будет отдано тем, кто умеет скакать на коне, прыгать с обрыва... Так украинские кинематографисты, задумавшие фильм «Трипольская трагедия», отобрали шестьдесят «артистов» на роли героев-комсомольцев, которые сражались в девятнадцатом году с бандитами. Среди этих шестидесяти был и юный Сережа Королев — будущий Главный конструктор... Факт символический, не правда ли?

И вот в сентябре прошлого года в киевской газете «Молодая гвардия» появилось точно такое же объявление, как и в двадцать шестом году. Оно было прочитано и по радио и по телевидению. В назначенный день в Первомайский парк Киева, на нашу съемочную площадку, пришло около шестисот юношей и девушек. Мы знакомылись с ними, задавая им интересующие нас вопросы.

О чем, например, по их мнению, мечтали их сверстники в девятнадцатом году? Чем они, сегодняшние, отличаются от тех — из девятнадцатого? Да, вроде бы традиционная тема преемственности поколений, но какие удивительные ответы мы получали в этом непринужденном разговоре! Одного парня мы вдруг спросили: «Если бы ты мог отправить посылку в девятнадцатый год, что бы ты послал?» Он сказал, что работает на авиационном заводе и послал бы в девятнадцатый чертежи современных самолетов, а уж те ребята бы в них разобрались и, понастроив себе



Плакаты из телевизионного видеофильма «Год 1919-й».

«наша биография»

таких самолетов, быстро расправились бы со всякими белыми там и зелеными...

Вот какой шел разговор, а когда ребята стали интересоваться, кого из них мы пригласим на съемки и когда они начнутся, мы открыли карты, сказав, что съемка уже состоялась, что сам процесс отбора на съемки — это и есть действие нашего фильма. А шестьдесят парней и девушек, ответы которых нас наиболее подкупили, мы пригласили в студию Киевского телевидения для съемки еще одного эпизода: на встречу с героями девятнадцатого года — генерал-лейтенантом в отставке В. Е. Васильевым и академиком Н. П. Дубишным.

Чтобы сразу ввести ребят в атмосферу времени, мы развесили в студии плакаты девятнадцатого года. Сейчас уличный плакат не претендует на ту роль, которую он играл в девятнадцатом году. Сейчас есть телевидение... Но в ту пору и требования дня и последнюю новость «выкрикивали» на улицах плакаты. Знаменитый плакат «Все на защиту Петрограда» был сделан за одну ночь, а наутро был уже расклеен на стенах домов. Плакаты девятнадцатого года очень точно доносят свою главную мысль — стопроцентно «работают» и реалистические плакаты Моора и плакаты, сделанные под наивный лубок. Плакаты появляются уже в прологе фильма «Год 1919-й». Скачет конница, и из взрыва возникает плакат: «Все на разгром Колчака».

Скачет конница и в финале нашего фильма, и под нарастающим кланч «Даешь!» уходит ввысь космическая ракета. Разве случайно юный Сережа Королев захотел сняться в «Трипольской трагедии» в роли героя — комсомольца девятнадцатого года?

Каждый фильм из цикла «Наша биография» длится один час. Но как уложиться в этот час, когда всякий раз на тебя обрушивается лавина фактов? Теряешься: чему отдать предпочтение? И этот факт необычайно важен и интересен, и этот...

У каждой творческой группы (в создании «Нашей биографии» участвует семь таких групп) свой почерк, свой принцип работы над фильмом. Я был режиссером уже четырех фильмов и сошлюсь на свой опыт.

Мы поступаем так: берем судьбу какого-нибудь человека и вокруг него формируем материал года. В каждом фильме доминируют три новеллы о трех судьбах. Наше отношение к событиям и героям персонажируются в фигуре ведущего. В тех фильмах, о которых идет речь, ведущей была известная журналистка Галина Шергова. Ее комментарий — связующее звено между новеллами фильма, кульминация мыслей, заключенных в них, размышления над событиями и фактами года. В нашей группе, кстати сказать, обязанности сценариста и режиссера четко не разграничены. Мы рассматриваем сценарий как «предлагаемые обстоятельства» для создания документального видеофильма. Я с самого начала «влезаю» в работу над сценарием, а сценарист, в свою очередь, участвует в съемках, а потом садится рядом со мной за монтажный пульт. Думаю, что фильмы от этого только выигрывают.

Так, в фильме «Год 1931-й» есть эпизод, когда Герой Социалистического Труда Иван Васильевич Комзин — бывший прораб «Магнитостроя» — рассказывает о «прорыве». Это был обиходный термин тех лет. Тогдашняя терминология вообще носила «фронтовой» характер.

Мы нашли документальные кадры такого «прорыва», но долго не могли придумать, как органично смонтировать их с кадрами сегодняшней Магнитки. А это было необходимо — этого требовала сама идея цикла «Наша биография». Пробовали вставить сегодняшнюю Магнитку и в середину очень эмоционального рассказа Комзина и по окончании его, но сценарист фильма Сергей Муратов каждый раз говорил, что уж лучше вообще отказаться от сегодняшних кинокадров, чем разрушать ими этот яркий эпизод...

Шла уже вторая бессонная ночь, а мы никак не могли смонтировать Магнитку. И вдруг нас озарило — эти ребята из тридцать первого года, идущие с факелами на ликвидацию «прорыва», должны были видеть, каким станет их город, их завод. И столь же естественно, что сегодняшние комсомольцы Магнитки осязаемо представляют своих сверстников, которые шли тогда с факелами на борьбу с «прорывом».

И мы выразили в монтаже это взаимопроникновение временных пластов: идут те ребята с факелами, сегодняшние студенты читают книгу, и опять те — с факелами, будто зажженными от сегодняшнего мартена...

Короче, эпизод удался.

Так вот — мы ищем человеческие судьбы, вокруг которых можно сгруппировать яркие факты конкретного года. Как же идут эти поиски?

В 1926 году в здании Царскосельского лицея, в котором учился Пушкин, начались занятия рабфака народов Севера. Сценарист фильма «Год 1926-й» Вадим Спивак стал выяснять, кто же был среди первых студентов этого рабфака? Он разыскал интересный документ, с которым прибыл учиться чукча Тэвлянто. Это было письмо председателя Анадырского окресткома, призывающее оказывать Тэвлянто, который еще далек от современной цивилизации, всяческую помощь, ибо в нем несомненно скрыты таланты... Затем в кинохронике того года мы нашли кадры о рабфаковце Тэвлянто. Встретились в Ленинграде с преподавателями факультета народов Севера Педагогического института имени Герцена, которые в свое время учили рабфаковцев и помнят Тэвлянто. Они рассказали, как поначалу удивлялся Тэвлянто, видя в Ленинграде бесконечную уличную толпу. Он спрашивал: «Люди ходят и ходят по улицам... А когда же они охотятся? Когда добывают пищу?» А на одном из первых занятий вышел к доске и нарисовал мелом череп, сплошь покрытый трещинами. А из этих трещин — вопросы. Он просил поскорее научить его русскому языку, чтобы он мог получить ответы на свои бесконечные вопросы. Успешно закончив учебу, Тэвлянто возвратился домой и стал сам учительствовать.

Однако материала, собранного о Тэвлянто (его уже нет в живых) нам не хватало, чтобы построить, основываясь на его судьбе, законченный сюжет о том, как Советская власть преобразила жизнь народов Севера. Тогда мы обратились к истории создания первого чукотского букваря, а затем писатель Юрий Рытхэу рассказал о новом букваре, выпускаемом к 60-летию Советской власти.

Но мы до сих пор сожалеем, что не смогли по-настоящему рассказать в фильме историю чукчи Тэвлянто, рисовавшего на доске вопросы, от которых буквально разламывалась его голова.

Это потери... Но зато как радостны были находки. Например, история тракториста Кирилла Ивановича Шайдаюка, которая вошла в фильм «Год 1931-й». О Шайдаюке я услышал еще несколько лет назад, когда работал в Винницкой области над передачей «От всей души», и специально поехал в село Зозов, чтобы познакомиться с этим трактористом. В сорок первом году, прежде чем идти на войну, он закопал в лесу свой «Интер», а в сорок пятом, возвратив-

шись с фронта, откопал машину и снова выехал на ней в поле, которое его односельчане вспахивали на коровах да на тощих трофейных лошадях... Но на этом, как теперь вы уже знаете, история тракториста Шайдаюка не заканчивается — в прошлой пятилетке (в то время его «Интер» уже занимал место в экспозиции Винницкого музея) он собрал из своих односельчан-ветеранов ударную бригаду и был награжден за трудовые успехи орденом Ленина.

И когда я начал работать над фильмом «Год 1931-й», то сразу рассказал сценаристу историю Шайдаюка, которую уже несколько лет держал в памяти. В фильме рассказывается о рождении Харьковского тракторного завода, и именно с этого начинается история Шайдаюка: первый колхозный тракторист садится за руль нового советского трактора — «Интернационал-ХТЗ»...

На золотую свадьбу Лазоревых из деревни Елшанка близ города Хвалыиска на Волге съемочная группа фильма «Год 1926-й» попала, идя по следам американского писателя Альберта Риса Вильямса, который был свидетелем Великого Октября, встречался с Лениным, а вновь приехав в нашу страну, провел двадцать шестой год в деревнях Саратовской губернии. Его тогдашний очерк «1917 год и сегодня» имел подзаголовок «Завоевания Октября в деревне».

Мы нашли у Вильямса описание крестьянских свадеб, на которых он побывал, и вот, пятьдесят лет спустя, приехал в одно из этих сел. В двадцать шестом здесь было сыграно шесть свадеб, и в Елшанке до сих пор помнят Вильямса.

Правление колхоза, узнав о нашем замысле, решило преподнести сценаристу Лазоревым: с тройками, чаепитием и подарками отпраздновать их золотую свадьбу. А Лазоревы и не знали, что затевается, — получили приглашение на открытие колхозного Дворца культуры, а их повели к столу. И живые застольные воспоминания этих людей о своей молодости, которые мы смонтировали в фильме с кинокадрами тех лет, снятыми в селах Хвалынского района, создали подкупающе правдивую картину сельской жизни двадцать шестого года, телезрители увидели, как приметы нового, завоевания Октября врывались в крестьянский быт.

Во время съемок к Дворцу культуры неожиданно подъехала машина, из которой вышел девушка в фате и ее жених. Они приехали с цветами, чтобы положить их к обелиску погибшим в годы войны односельчанам. Мы их тут же пригласили на съемки, усадя за стол рядом с нашими героями...

Мы многое предусмотрели в сценарии — например, пригласили в тот день в колхоз фольклорный ансамбль Саратовской консерватории, который помог собравшимся вспомнить старые свадебные песни, — но появление на золотой свадьбе молодоженов было приятной неожиданностью.

Когда выйдет июньский номер «Юности», телезрители уже посмотрят фильм «Год 1945-й», над которым я сейчас работаю (кстати, в содружестве с тем же Вадимом Спиваком, сценаристом фильма «Год 1926-й»). Пока мне кажется, что меньше чем в две серии не уложусь. Столько материала!

К сожалению, в каждом из трех предыдущих фильмов одними кадрами вообще приходилось жертвовать, а другие, уже отснятые эпизоды, резко сокращать. Я не жалуюсь. Каждый фильм длится ровно час. И для такого фильма это, пожалуй, оптимальный хронометраж. Но как много интересного, о чем хотелось бы рассказать, все-таки остается «за кадром». Вот почему я хочу воспользоваться журнальными страницами, чтобы восстановить хотя бы

некоторые подробности одного важного — а для нас, работников телевидения, особенно — события 1931 года.

Мы рассказали в фильме, что в октябре 1931 года в маленькой студии Московского радиовещательного узла, расположенного напротив ГУМа, начались опытные, но уже регулярные телепередачи. А не правда ли, интересно, что же это были за передачи? Как они велись? Кто делал эти первые передачи советского телевидения?

Три молодых технических сотрудника радиовещания — Александр Корчмарь, Александр Пилатовский и Яков Шапировский — вот кто это делал. Каждому из них было по двадцать одному году. Они разработали профессиональную передающую технику, создали аппаратную, а затем, совмещая обязанности режиссеров, операторов и артистов, провели первые телепередачи.

Каждая передача длилась час, и, чтобы вести ее, хватало двух человек. Один стоял в аппаратной у камеры и через окошко в стене водил световым лучиком по другому, который сидел в маленькой темной студии. Она была не более шести квадратных метров.

— Когда пучок света пробегал по твоим глазам, — рассказывал нам Пилатовский, — было не очень приятно. Я, например, жмурился. Телезрители этого, правда, не замечали, поскольку изображение было тридцатистрочным. Лица, показанные крупным планом, были отличны одно от другого, но если мы показывали человека во весь рост, то можно лишь было понять — мужчина это или женщина.

А знаете, к чему, оказывается, сводились самые первые телепередачи? Зрителям предлагалось определить, что и как видно. Видно ли, например, что этот человек читает газету, а сейчас держит в руках ножницы? С экранов первого десятка телевизоров, только что собранных московскими радиолюбителями, постоянно звучал вопрос: «Что он делает?» И наиболее пронзительного телезрителя вдруг осеняла догадка: «Он ест сосиски. Режет их ножом и ест!..»

Цикл видеофильмов «Наша биография» — одно из свидетельств того, какой путь проделало за прошедшие годы советское телевидение.

Записывая видеофильм, я одним щелчком тумблера могу превратить изображение из позитива в негатив, красное сделать синим, а синее — зеленым. Эффектов много, и они различны. Уже в первых двух фильмах цикла режиссеры Анатолий Монастырев и Олег Корвяков сразу продемонстрировали возможности видеофильма. Помяните знаменитые кадры разгона Июльской демонстрации 1917 года? Бегущая толпа, снятая с верхней точки. В центре этой толпы, как в амбразуре, вдруг появляются глаза Керенского. Эти глаза тут же сменяются пулеметом, и ты уже видишь во весь экран летящие из этого ствола рвущиеся пули. И падающих людей видишь... Эффект потрясающий!

И эта и другие технические возможности магнитного способа съемки позволяют решать важнейшие творческие задачи. Одна из них, и, пожалуй, самая важная, — возможность вести длительное наблюдение в процессе съемки. Ведь при традиционном киноспособе очень жесткий лимит пленки. Я же могу тратить на съемку в тридцать раз больше пленки — с тем, чтобы выбрать несколько ценных кадров, а всю остальную пленку размагнитить и опять пустить ее в дело. Посудите, как можно предугадать, снимая рассказ человека (если не писать ему, конечно, заранее текст), когда он достигнет высшего эмоциональ-

ного пика и скажет самые трепетные, самые важные слова? Видеофильм позволяет снимать такой рассказ хоть час, хоть два.

В фильме «Год 1945-й» мы решили рассказать историю солдатского подвига. Историю Солдата — одного из сотен тысяч...

И наконец выбрали такую историю. Вот она, рассказанная самим солдатом:

— Это было в Германии, на реке Шварцвассер. Одна деревня представляла для нас важный стратегический пункт. Пехоты не было, нужно было собрать добровольцев — я был тогда артиллеристом, — и мы организовали три штурмовых группы. Нам нужно было форсировать небольшую речку, быстро пересечь определенную зону и отрезать отход фашистам. Своя артиллерия поддерживала, был у меня автомат, в сапогах по две обоймы, гранаты «лимонки» — вот мы и пошли. Сели в лодку, а лодка опрокинулась, мы промокли, но, однако ж, переехали. А когда пошли по болоту, стали вязнуть и очень медленно двигались, но все же пробились. Там нас встретил огонь. Уже темнело, и всю нашу операцию осложнял один только дом. Он стоял на отшибе, и там на чердаке засели немцы с пулеметом. Но сопротивление было небольшое, и нужно было как-то добраться. Единственный выход — по-пластунски. И вот я решил проползти — двести метров, больше даже. Только так, чтобы не заметили. Ведь я же не мог бросить гранату издалека. Ну, я пробрался к этому дому, потом кинул «лимонку», и все решилось. На войне часто так бывало — решается все очень просто. Просто сделать — трудно добраться.

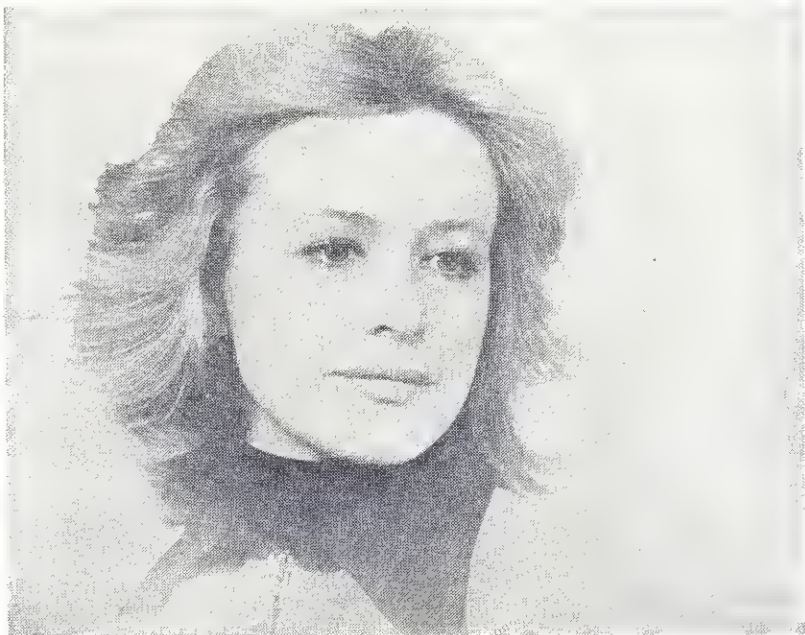
За этот подвиг солдат был удостоен ордена Красного Знамени. Он очень гордился этим орденом. Для него это была не просто боевая награда. Его отец, участник гражданской войны, был тоже кавалером этого ордена.

Мы хотели, чтобы солдат сам рассказал обо всем этом в нашем фильме, чтобы славный орден Красного Знамени № 557650 зрители увидели на груди солдата. У нас были уже выписаны командировки в Ворошиловградскую область, где на шахте Перевальской работал солдат, но тут мы узнали, что он умер. Вот почему в фильме появляется лишь его фотография (рассказ солдата, приведенный выше, был в свое время записан корреспондентом журнала «Кругозор»). А историю солдатского подвига рассказывает в фильме председатель советского Комитета ветеранов войны генерал армян П. И. Батов. Этот драматический и совершенно неожиданный сюжетный поворот дал повод и для рассуждений о том, как необходимо собирать и записывать воспоминания ветеранов.

И как бы хотелось, чтобы в музее рядом с боевым орденом Красного Знамени № 1, который носил на груди маршал В. К. Блюхер, находился бы и орден Красного Знамени № 557650, которого был удостоен его сын, солдат Всеволод Блюхер!



«Я НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЮ ПОКОЯ!..»



Дорогая редакция!

В одном из номеров вы опубликовали материал о Софии Ротару¹, обещав читателям и дальше знакомить их с молодыми мастерами искусства. Я хочу предложить рассказать в журнале об актрисе Марине Нейловой. Она молодая, и поэтому кому как не «Юности» о ней писать. Она очень талантлива, это знают все ваши читатели, которые видели ее во многих картинах, а мы, москвичи, знаем ее и как прекрасную актрису театра «Современник». Спектакли с ее участием всегда идут под гром аплодисментов. Встретиться с ней на страницах «Юности» было бы очень интересно.

Москва.

Э. МУСАЕВ

Моя первая встреча с Мариной произошла в театре. После спектакля я подошла к ней и...

— У меня очень плохо со временем. Может быть, лучше завтра днем?

Но завтра днем тоже не получилось. Оказалось, что актриса улетает на съемки. Узнав об этом, я тут же заказала себе билет на самолет...

— Да!.. Когда человек прилетает к тебе за две тысячи километров, то тут уже понимаешь, что «попал в капкан» и от разговора никуда не деться... С чего начнем?

— С работы в «Современнике».

Первой моей ролью была Валентина в пьесе Михаила Рошина «Валентин и Валентина». Это спектакль интимный, основанный на тончайших взаимоотношениях героев, поэтому в нем необычайно важно партнерство. И мне очень повезло, что моим парт-

нером был Константин Райкин. Он во многом мне помог, а для актера, входящего в спектакль, это так важно и дорого. Игра с хорошим актером вообще доставляет огромное наслаждение. Что он тебе дает, как он на тебя смотрит, как он тебя «подталкивает», как он тебе помогает и как он тебя «вытаскивает» — это ни с чем не сравнимое счастье чувствовать нот так друг друга!

Почти три года я играю роль Валентины и каждый раз необычайно волнуюсь. Да и вообще это был первый спектакль, в котором я не могла оторвать глаз от всех актеров на сцене, потому что следить за их игрой — удовольствие! Конечно, это большой минус в том смысле, что иногда на сцене я просто отключаюсь и сама становлюсь зрителем. Это непрофессионально, и сознаваться в этом тяжело.

До сих пор «Валентин и Валентина» вызывает во мне какое-то — если так можно выразиться — ностальгическое чувство.

— Марина, о том, какая вы на сцене и на экране, написано уже много. Мне бы хотелось спросить о другом: какая вы перед выходом на сцену?

— Момент «подхода» к спектаклю очень интересен. Бывает такое состояние, настроение, при котором трудно играть тот или иной спектакль. Хотя бы потому, что утро, организм твой еще спит, и ты думаешь о том, как организовать себя, как привести себя в это состояние души, в этот градус, как вытащить из себя, откуда-то из глубины, то, что тебе сейчас необходимо — кажется, этого «крючка» нет! Но тебе помогают первые шаги за кулисами, первые аккорды музыки — что-то срабатывает, такое прекрасное, непонятное, необъяснимое, как... Похоже на сердце, когда с горы летишь: ах! — и все. И туда, дальше... Вот после этого ты уже можешь играть. С тех пор, как я работаю в театре, жизнь моя складывается таким образом, что мыслю себя и вижу себя только в соединении с ним. Вся жизнь распределена в зависимости от того, что в театре. Недаром актеры говорят: нужно работать в театре и сниматься в кино. Именно «и сниматься».

¹ «Юность» № 4 за 1976 г.

Но говорить обо всем этом... Для меня это тяжелая, невыносимая работа. Несмотря на то, что я в последнее время говорю больше, чем нужно, каждый раз это для меня мучительно, неловко и почти ненавистно. Появляется ощущение чего-то непривычного, ибо говорить без конца о себе просто стыдно... Поэтому всегда, если можно избежать встречи с кем-то и подобного разговора, я это делаю...

— Но, так как в этот раз вам «не повезло», — еще несколько вопросов. И первый из них вот о чем: «Премьера спектакля» — эти слова звучат празднично, и зритель всегда идет на премьеру именно с ощущением праздника в душе. А актер? Как он относится к роли после премьеры?

— Премьера — это не конечная точка, а, я бы сказала, изначальная. Работа над ролью только начинается, приобретает новые качества благодаря тому, что в зале сидят люди, которые слушают тебя, смотрят на тебя, чувствуют вместе с тобой и дают тебе очень многое. Это не просто банальная фраза, что зритель — соучастник, соавтор и партнер, это действительно важный компонент, потому что спектакль часто рождается именно в тот момент, когда в зал входит зритель. Поэтому, когда сдают спектакль, в труппе говорят: «Надо подождать, пока придет зритель». И действительно, спектакль меняется, приобретает порой совершенно неожиданные для актера качества, дает неожиданные ощущения, потому что реакция зрительского зала вдруг рождает в тебе какие-то чувства, которые были неизвестны до того, как ты вышел на сцену. И у тебя начинается работа именно со спектакля премьерного. Только начинается вторая, самый интересный этап работы.

— Но это в театре. А кинематограф? Ведь там после премьеры сделать уже ничего нельзя. Как говорится, фильм начал жить своей жизнью...

— В том-то вся и беда! Поэтому я неохотно снимаюсь в кино.

Этой несколько неожиданной репликой Марина избавила меня от традиционного вопроса «театр или кино?», хотя зрителям хорошо известны фильмы «Старая, старая сказка», «С тобой и без тебя», «Тень», «Монолог», «Слово для защиты» и другие.

— Но все-таки у вас есть фильмы любимые и нелюбимые?

— Самый любимый фильм — «Монолог» Ильи Авербаха. А нелюбимые я даже не хочу вспоминать. Они есть, и я вообще в последнее время боюсь сниматься в кино. Причины разные. Из всего того, что я играю в театре, я не назову ни одной роли, которую хотела бы исключить из своего списка. А в кино я не могу тем же похвастаться. И назвала бы только несколько фильмов, за которые мне не стыдно; все остальные готова вычеркнуть. И, к ужасу своему, я понимаю, что это так и будет продолжаться. Кого-то одного винить нельзя. Но это уже тема для отдельного большого разговора...

Погода испортилась. Все небо заросло облаками, смешалось с тусклыми просторами моря, непрерывно идет дождь. Однако отменить предстоящие ночные съемки нельзя, как нельзя вынуть крохотную деталь из сложного и точного механизма.

Режиссер Родион Нахапетов снимает фильм по пьесе А. М. Горького «Враги». Съемочная площадка залита ослепительным светом. А вокруг глухо шумит полночь, холодные струи дождя, гонимые ветром, кругами несутся по асфальту, летят в темную пучину моря, стекают по лаковой тверди вечнозеленых растений. Только здесь, на крохотном пятачке, под густым сплетением ветвей столетнего дерева, нет

дождя. Громадный зонт спасает от брызг кинокамеру и оператора Александра Княжкиского.

Я не узнаю Марину. Небольшого роста, хрупкая, в джинсах и кожаном пальто — к такой Марине я успела привыкнуть и легко представляла ее за рулем, в уютном кресле, за чаем, во время разговора... А эту Марину я видела впервые: совершенно незнакомая мне высокая стройная женщина с прекрасным одухотворенным лицом. Непринужденная, грациозная и величественная одновременно. Я никогда не замечала в ней этого движения рук, этого поворота головы, этого выражения глаз!..

Было холодно. Сырость пронизывала до костей даже сквозь дубленку. А в это время Марина в длинном платье пепельно-зеленого цвета улыбалась и что-то говорила под пристальным взглядом камеры...

Лишь под утро автобус доставил съемочную группу в гостиницу. Мельком поймала в зеркале свое отражение: усталое, бледное, осунувшееся от бессонницы лицо. Взглянула на Марину.

— Вы, Люда, устали, потому что ничего не делали. А мне бы сейчас только работать! Жаль, что все так быстро закончилось.

Еще в гримерной, сразу после съемок, началось обратное перевоплощение, но долго на протяжении нашего разговора я чувствовала в Марине ту, другую женщину и не могла привыкнуть к этому чувству.

— Знаете, Люда, сцена — странное место... Это лечебница! Лечебница от всех заболеваний, в самом прямом смысле этого слова. Действительно, никто не чувствует боли. Я знаю человека, у которого на сцене был инфаркт, и он этого просто не ощутил, а как только занавес закрылся — упал. Какой-то физиологический феномен, совершенно непонятный! Как знаменитый Певцов — в жизни запкался, а на сцене нет.

Другой актер, к примеру. У него был страшный ракулит, и я видела, каким он шел на сцену. Он вообще не мог идти! А роль была построена таким образом, что, помимо драматических коллизий, состояла еще из целого набора трюков. Он мог бы, конечно, не делать все эти трюки, которые практически невозможно было сделать в его состоянии. Однако он все это сделал, потом вышел за кулисы совершенно зеленый. Все меняется, совершенно все меняется на сцене. Я испытала это и на себе, знаю это состояние потери всех болезненных и болевых ощущений, всех недугов — прекрасный эффект сцены.

О театре Марина говорит страстно, увлеченно, расставляя неожиданные акценты. И, может быть, поэтому мне показалось, что на вопрос, как она стала актрисой, я услышу в ответ какую-нибудь необыкновенную историю. Однако...

— Для меня никогда не существовало вопроса, кем я буду. Сколько помню себя, всегда знала: актрисой. И поэтому очень трудно отвечать на письма, в которых молодые люди спрашивают, кем им стать. Это невозможно — советовать стать актером, геологом, ветеринаром или продавцом. Я совершенно убеждена в том, что у каждого человека есть талант, но его не так-то просто найти в себе, развить, обогатить. Для того, чтобы найти себя, свое призвание, свое основное предназначение — надо внимательнее отнестись ко всему, что происходит вокруг и внутри себя. Часто спрашивают, кто мой идеал. Я не против идеала вообще, но категорически против слепого подражания кому-то, чему угодно, даже идеалу. Что касается меня самой, то я ни на кого не хочу походить. И ес-

ли бы мне сказали, что я похожа пусть на самого прекрасного, талантливого человека, меня бы это очень огорчило. Я этого просто боюсь!..

Какой-то поэт сказал: «Развивай в себе странности»... Но это уже другая крайность. Здесь опасность таится в том, что, увлекшись культивированием в себе странностей, можно превратить это в самоцель и тоже потерять индивидуальность, если она, конечно, есть.

— Марпна, читатели «Юности» в своих многочисленных письмах часто спрашивают, как вы отнеситесь к музыке, поэзии?..

— Музыка? Увы, я абсолютный дилетант. Музыка во многом помогает мне иногда, хотя я воспринимаю ее чисто эмоционально, потому что совершенно в ней не разбираюсь, к стыду своему, и так завидую людям, которые в этом понимают. Не могу объяснить, почему, но одну музыку я люблю, а другую нет. Иногда музыка в спектакле или услышанная до спектакля что-то поднимает во мне. Вот, например, песни французских шансонов приводят меня в какое-то возбужденное состояние. Я очень люблю Эдит Пиаф, не могу слушать ее без волнения. Иногда слушаю и думаю: как жалко, что у меня сейчас нет спектакля, я бы так хорошо сыграла!

Поэзия? Я люблю поэзию, но не как люди, которые этим действительно занимаются, увлекаются ею. Читая вслух или просто, читая, запоминают стихи. У меня абсолютно нет памяти на стихи. У меня вообще какой-то «выборочный склероз». Я запоминать только те вещи, которые мне могут пригодиться в работе.

У меня ужасный характер! Ужасный! Мне все плохо, у меня же не бывает хорошо. Если меня спрашивают: «Марпна, у тебя все хорошо?» — у меня все плохо. Потому что я начинаю заранее программировать свою жизнь, понимая, что никакой программе она не поддается. Но мне нужно знать, что вот я завтра должна уехать. Я начинаю ворчать, если я не уезжаю. А если мне говорят: «Хорошо, ты уедешь», — то думаю, почему я уезжаю, когда нужно сделать то-то. Или я устала, мне нужно отдохнуть. Но сказали, что завтра выходной — и это ужасно, потому что вместо того, чтобы работать, я буду отдыхать. И все у меня плохо. Солнце — плохо, потому что в этот день я сижу, когда могла бы работать. Но если дождь — тоже плохо, потому что я могла бы в этот день работать. Никогда я не испытываю покоя! И вокруг меня люди близкие — тоже, потому что уж им-то я не даю быть спокойными никогда.

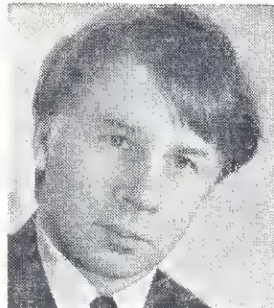
Если получаю новую роль, то первое, что говорю: «Я завалюсь в ней, абсолютно, с позором провалюсь!» Если же не очень проваливаюсь и мне говорят: «Вот видишь!» — я все равно нахожу какие-то выходы отрицательных эмоций. У меня положительных эмоций не бывает.

— И последний вопрос — ваши планы.

— Планы? Я не могу определить их одной ролью. Это может быть какое-то направление. Но, во-первых, я считаю, что все, произнесенное вслух, теряет свой смысл. Поэтому и не люблю говорить. А во-вторых — и это главное, — такая роль, может быть, и есть, но если это в моих мечтах, то мечты на то и мечты, чтобы не произносить их вслух...

Беседу вела Людмила БУКИНА.

Александр Романов



В тундре

Пусть только что в тягостном звуке
вдали от огня и крыльца
мне слышалось:
тундровой вьюге
не будет, не будет конца!

Оленн
на месте застыли —
дорогу укрыл снега, —
устало к земле опустыли
крутые антенны-рога...
Какне ж слова долетели
от милых сердец и страннц,
осилив просторы метелн,
не ведающей границ!

О мнлость — минутио вглядеться
в далекие лица и дни!
Прощальной улыбкой согреться —
чем больше помогут они!
Но сила призыва ли, взгляда
пробила метельиую ночь,
стараясь, пока еще надо,
пока еще можно, помочь.

И чудо пришло...
Слава богу,
скрпнящие иарты креия,
олеии узнали дорогу,
умчав от несчастья меня.



Не осталось табака ни крошки.
Проходил я шесть часов подряд.
Желтенькие ягоды морошкн
в котелке заманчиво горят.
Сухарей немного остается!
Как-нибудь дотянем, не впервой.
Спички на исходе?
Что ж, придется
друг о друга греться нам с тобой.



Теодолитам иииче — отдых сладкий,
дождливые явились облака.
А нам не сладко. Снова у палатки
прорвалась крыша, протекли бока.
Дождь обиагнел.
В прорехи так и целит.
И как помочь! И что ему сказать!
Он добрый, теплый, травы мягко стелет,
но ох как нам не мягко будет спать!

Твое свободное время...



Здравствуй, «Юность»! Я являюсь постоянной твоей читательницей, мне нравится, что ты не оставляешь без внимания проблемы своих молодых читателей, отвечаешь на их многочисленные вопросы, стараешься помочь разобраться в затруднительных положениях. Возможно, ты ответишь и на мое письмо.

Я студентка Московского института культуры, факультета библиотекосведения. Несколько часов в день уходит у меня на учебу в институте, все остальное время в полном моем распоряжении. Что делать дальше? Впрочем, над этой проблемой мы с друзьями никогда особенно-то головы и не ломали — всегда есть к кому пойти, посидеть, поболтать о жизни, послушать «диски», и, конечно, обсудить массу общих проблем. Но когда я прихожу домой, то постоянно вижу недовольные лица родителей. Дело не в том, что часто мы засиживаемся допоздна. Причина их недовольства в том, что у меня, по их мнению, происходит пустая трата времени. Идут бесконечные разговоры о том, что молодость, студенческие годы — время, когда нельзя распылять свою жизнь по мелочам, т. е. на развлечения, разговоры, танцы, «прожигание жизни». И так изо дня в день.

Я пытаюсь спорить с ними, объясняю, что почти все мои знакомые студенты ведут такой же образ жизни, и никто не видит в этом ничего зазорного и порочного. Мы ведь и читаем много... А перед сессией и вовсе ночи не спишь... Зато потом... Разве впереди у нас еще не вся жизнь?

Хотелось бы знать, на что уходит свободное время у других моих сверстников. Или у них каждый час расписан и проблемы свободного времени не существует как таковой?

Ира НОВИКОВА

г. Москва.

Дорогая редакция! Я работаю на одном из больших московских заводов. За три года работы успел познакомиться со многими рабочими и знаю, какие вопросы волнуют заводскую молодежь. Один из таких вопросов: что делать после работы? Дело в том, что иногда получается, что после рабочего дня и заняться нечем... Семь человек в нашей бригаде, из них шестерым нет и двадцати пяти лет. У троих семьи. И они спешат домой после смены; еще двое учатся вечером. И те и другие жалуются: времени никогда не хватает. А я пока не женат и не сижу на лекциях по вечерам, еще только собира-

юсь поступить в вечерний институт. Так что времени у меня хватает. Только вот на что его тратить? Что мне делать в свободное время — в выходные дни и после работы? Куда податься? Практически делать нечего. И хотя живу я в Москве, где, казалось бы, на каждом углу зазывают к себе афиши театров, кино, музеев, — этот вопрос мучает меня ежедневно. Ведь не будешь каждый день ходить в кино, а в театры на хорошие вещи билет очень трудно достать...

Есть у нашего завода прекрасный клуб — оркестр, хор, танцевальные ансамбли, новый спортзал, аудитория для занятий в кружках иностранных языков, кинозал, театр (заводской). Только из пятисот человек, которые занимаются в клубе, заводских ребят всего восемьдесят. Охотнее принимают со стороны. Художественный руководитель откровенен: «У меня заводские наши ассоциируются с плакатом: «Водка — яд!»

Получается замкнутый круг — в клуб ребят не пускают из-за того, что они, мол, пьют, а пьют-то они чаще всего потому, что им нечем заняться.

Что же делать?

Сергей БЕЛЕВИЦКИЙ



Много писем, затрагивающих проблему свободного времени, приносит почта в «Юность». Чаще всего читатели спрашивают редакцию: чем заняться в свободное время? Как сделать его богаче, ярче? Что можно сделать в их городе, селе, классе для того, чтобы досуг ребят стал интереснее и полезнее?

Мы выбрали из этой почты два письма и хотим с них начать разговор о свободном времени. Что бы вы посоветовали авторам этих писем? Чем вы сами занимаетесь в свободное время?

Ждем ваших писем.

ПОЕЗДКА В НОРИЛЬСК



В начале нынешнего года по инициативе редакции журнала «Юность» и Отдела печати МИД СССР в Норильске, Красноярске, Дивногорске, Абакане, Саяногорске, Шушенском, Новосибирске побывала группа иностранных журналистов.

Сегодняшний рассказ — только одна страница их коллективного репортажа о енисейском меридиане. Норильск — самая северная точка этого необычайного журналистского маршрута. Отсюда началось путешествие, но, как мы увидим, этот город привлек журналистов не только экзотикой и суровым климатом. Норильск, как первый итог освоения богатейшего края, демонстрирует и размах и стиль освоения. Этот далекий заполярный город, ничуть не уступающий лучшим городам Большой земли, показывает уже сегодня, какой будет Сибирь завтра.

Привлек журналистов и сибирский характер. И хотя трехдневное пребывание в городе (что поделаешь, нужно было спешить на юг, вниз по меридиану) не позволило журналистам «плотно» познакомиться с людьми Норильска, даже короткие встречи запечатлелись, запомнились, неизменно вызывая удивление и восхищение наших иностранных друзей.

Фото ТАСС.

Сопровождали группу советник Отдела печати МИД СССР Владимир Васильев и заведующий отделом публицистики нашего журнала Алексей Фролов.

Борис ПОП ДЖОРЧЕВ,
«Нова Македония», СФРЮ

ПОЛИГОН ЦИВИЛИЗАЦИИ

Когда четыре десятилетия назад было принято решение о строительстве горно-металлургического комбината в Норильске, ученые дали следующее заключение: «Здесь могут

жить только Мужчины в возрасте до 35 лет, которым после двухлетнего пребывания в обязательном порядке надлежит пройти шестимесячный курс санаторного лечения».

Этот штрих, наверное, поможет лучше понять, почему Норильск можно считать самым суровым городом в мире, который в то же время называют «полигоном цивилизации на Крайнем Севере». Сегодня в нем насчитывается свыше 50 тысяч детей, при этом большинство их здесь и родились. Дей-

ствительно, Норильск и его граждане уже давно дали ответ на главные вопросы: можно ли построить и обжить город на этих приполярных широтах?

Сегодня в Норильске вместе с прилегающими к нему поселками живет 200 тысяч металлургов и горняков, промышленных рабочих и научных работников, студентов и учащихся. В городе 40 улиц, 1600 домов — среди которых и 13-этажные, — есть театр, кинотеатры и библиотеки, гостиницы и рестораны, индустриальный инсти-

тут и средние школы, Дома культуры и спортивные сооружения. Сюда приезжают люди буквально со всех концов СССР и даже с самого юга; здесь за год справляется в среднем 3 тысячи свадеб и рождается 4 тысячи детей.

Казалось бы, «нормальный» город, как любой другой. И все-таки необычна, исключительна трудна жизнь здесь, в этом ледяном царстве, где немалую часть года температура держится на уровне 40—50 градусов ниже нуля, а восемь месяцев подряд сменяют друг друга темные и полутемные варианты полярной ночи.

На улицах Норильска была проведена интересная анкета: из десятика прохожих, которым был задан вопрос «чего вам не хватает, когда нет солнца?», восемь ответили: «Солнца!»

Да, Норильск успешно сдал много экзаменов, прошел всевозможные испытания. И все же солнце остается солнцем. По нему тоскуют, о нем говорят все, оно самое желанное, незаменимое, несмотря на многочисленные лампы ультрафиолетового излучения, которые светятся через окна многих общественных зданий и жилых домов. Может быть, именно поэтому долгожданная и короткая солнечная улыбка здесь самая частая тема детских и ученических рисунков. Наряду с зеленой травой, деревьями, цветами, которых здесь очень мало. А на улицах города вывешены многочисленные названия: кафе «Солнце», детский сад «Солнышко», магазин «Солнечный луч»...

В разных городах можно встретить надписи, призывающие жителей экономить воду, электроэнергию, газ...

В Норильске главный лозунг — «берегите тепло». Везде в мире — Норильск в этом не исключение — может быть перебой в общественном снабжении, неполадки с бытовым обслуживанием, но в Норильске отопление неприкосновенно. Что бы ни случилось, теплоцентраль должна работать круглосуточно с полной нагрузкой. Ведь даже в июле здесь температура может опуститься до шести градусов ниже нуля. Чтобы исключить любые неожиданности, дома могут обогреваться и газом, и нефтью, и углем. Таким образом, норильцам обеспечено основное условие существования — тепло, которое здесь меряют не в калориях, а в гигакалориях. Одна такая «гига» может целый час поддерживать температуру в 25 граду-

сов в пятиэтажном доме. Вход во все здания города имеет тройные двери.

«Хожdenие по мукам» начинается, когда надо выйти на улицу — отправиться на работу, в школу, пойти за покупками. Будут ли работать предприятия и учреждения, будут ли занятия в школах, — это зависит от количества баллов, которое получается умножением минусовой температуры на силу ветра. При критической границе — а она наступает нередко — местное телевидение и радио прерывают свои программы и объявляют «активровку». Этот неологизм, содержащий слово «акт», существует только на Севере, и им обозначается санкционированный государственными органами перерыв работы или занятий, чаще всего из-за ураганного холодного ветра, когда нельзя высунуть нос на улицу, а веки буквально спадают. Случается, что пурга налетит в середине дня, когда заканчиваются занятия в школах, и тогда приглашают с работы родителей забрать своих детей. Родители укутывают головы ребят платками и так, «вслепую», ведут их домой.

Недлегко ходить по норильским улицам. Правда, снег убирают, но все время падает новый, а мороз появляется с середины августа и держится до конца июня следующего года. Ветер сшибает с ног...

Заключение, сделанное четыре десятилетия тому назад, насчет обязательности шестимесячного лечения после двухлетней работы, уже давно модифицировано. Норильцы теперь соединяют несколько своих отпусков (а длительность отпуска у них 53 рабочих дня) и через каждые три года, используя свое право получать бесплатный авиабилет до любой точки СССР, отправляются на несколько месяцев в путешествие, на отдых, в первую очередь туда, где есть солнце. Но и у себя дома они находятся под постоянным медицинским контролем (в городе работает 930 врачей), и часто после рабочего дня горожане идут не домой, а на базы отдыха и в лечебные учреждения санаторного типа (профилактории), расположенные в окрестностях города, там проводятся терапевтические процедуры, включающие угощение различными «кислородными» «фирменными» норильскими коктейлями.

Если говорить о льготах, которыми норильцы пользуются в качестве компенсации за трудности, обязательно надо сказать о зарплате. Сибирский коэффициент в

Норильске составляет 1,8, то есть здесь на каждые 100 приходится еще дополнительные 80 рублей. Необходимо упомянуть и «норильскую надбавку». В первые четыре года она ежемесячно растет и в конце достигает 80 процентов зарплаты. Практически заработок в Норильске в два с половиной раза больше, чем «на материке».

Словом, норильцы зарабатывают неплохо, но они обижаются, если им скажешь, что именно такие «мнинистерские» зарплаты приводят их сюда. Они рассказывают долго и подробно о романтике Севера, о советском патриотизме, о любви к работе, хотя, конечно, не отрицают и материальный фактор. Несомненно, во всем этом кроется ответ гостю, приехавшему на несколько дней в «царство холода».

Перевел
В. ПОПЛАВСКИЙ

Мартин МАРКОС,
«Нуэстра палабра», Аргентина.

ОПТИМИЗМА ИМ НЕ ЗАНИМАТЬ

З а несколько дней до нашей поездки в Норильск телеграф принес весть о том, что в некоторых районах моей родной Аргентины зарегистрирована самая высокая температура на всем земном шаре +40°. Представьте себе, что в те же самые дни в Норильске было —50°. Превосходная деталь к репортажу для латиноамериканцев: «Ваш корреспондент ведет рассказ о полнокровной, кипучей жизни в той части земли, где сейчас на 90° холоднее!»

И в самом деле, мое пребывание в Норильске дало мне достаточно материала, чтобы написать хронiku, полную экзотических подробностей. Ну, скажем, неуверенность моих движений, вызванная естественным отсутствием навыков хождения по замерзшей, оледенелой земле, привела к неоднократным, очень смешным падениям. После чего я с полным правом могу заявить, что мои кости вполне убедились, насколько крепка вечная мерзлота за Полярным кругом.

Никогда прежде я не видел столько снега, не видел этой удивительной тундры.

И все-таки для восприятия всего этого я был психологически подготовлен. А вот чего не ожидал, так это оказаться (говоря без преувеличения) в теплой тропической атмосфере дворцов, детских кафе Норильска, в замечательном профилактории с вечнозелеными растениями, черепахами, аквариумами, с экзотическими птицами из Южной Америки и даже с обезьянами. Все это великолепие предназначалось для создания у отдыхающих рабочих положительных эмоций. Так нам сказала восторженно и оптимистически настроенная директор профилактория. Кстати, она, по-видимому, посчитала и нас слегка ослабленными этим свиданием с Севером и угостила коктейлями богатыми витаминами В, кислородом. Такие коктейли отдыхающие получают здесь ежедневно.

Мое внимание привлекло и очень разумно организованное освещение в городе, и великолепный, исполненный на высоком художественном уровне антураж в кафе и ресторанах, и спортивные сооружения с бассейнами, где вода подогревается до $+36^{\circ}$, и дома отдыха, и большое количество детей на улицах.

Но главная особенность Норильска все-таки в большом трудовом накале, который ощущается повсеместно. Что ни говори, а в нелегких условиях работает здешний металлургический комбинат, превосходно технически оснащенный, использующий лучшие достижения инженерной мысли. В нелегких прежде всего потому, что в Норильске не сможет жить тот, кто приехал сюда только в погоне за романтикой, приключениями или, как у вас говорят, за «длинным рублем». Каждому живущему здесь, как воздух, необходим высокий уровень сознательности, чувство ответственности, иначе не найти своего места, не стать полезным обществу. После Норильска я отчетливо понял, что нет преград, способных остановить созидательную силу коллективного гурда, направленную на улучшение жизни.

Одним из самых запомнившихся мне моментов было посещение молодой семьи Григория и Эмилии Грибовых, где я в домашней обстановке, за столом, мог, никуда не торопясь, поговорить о житье-бытье молодых людей молодого города. Мы говорили и о зарплате, и о квартирных делах, и о ближайшем будущем моих новых знакомых, об их планах и планах их друзей. Они связывают свои успехи с успехом и процветанием всего общества. После танцев Гри-

горий Грибов, очевидно, разглядев мою тяжеловесную фигуру, сказал, что мне, несомненно, пошло бы на пользу, если бы я немного поработал в его бригаде. А я подумал, что очевидная польза в этом случае заключалась бы еще и в том, что в деле я смог бы понять норильских ребят еще лучше.

По всей вероятности, я больше никогда не увижу Григория, но простая мысль, высказанная им, запомнится мне навсегда. «Те, кто решил остаться здесь, не жалеют об этом», — сказал Григорий. — Мы оптимисты, мы видим свое общественное назначение в жизни и работе здесь и получаем от пребывания в Норильске удовлетворение, которое можешь получать только на переднем крае».

Перевел
И. ПОПОВ

Матти ПЮКЯЛЯ,
«Тиедонантая», Финляндия.

ДВА СЕВЕРА

По природным условиям район Норильска и Северная Лапландия Финляндии схожи. Однаковая лесотундра, только вместо норильской лиственницы в Лапландии растет чахлая сосна. Одинаковые «лысье» сопки, из недр которых в Норильске извлекают медь, никель, кобальт и другие ценные металлы, в Лапландии пока мало изучены. Хотя последние геологоразведочные работы, проведенные совместно с советскими исследователями, показали, что в лапландских сопках есть богатства, разработка которых дала бы населению этого края работу и хлеб.

К тому же природа в Лапландии все-таки более милосердна, чем в Норильске. Среднегодовая температура здесь -1° , тогда как в Норильске -10° . Морозных дней в Лапландии — 202, а в Норильске — 288. Благодаря Гольфстриму в Лапландии нет вечной мерзлоты, которая в Норильске доставляет немало хлопот, увеличивая затраты на изыскание и строительство.

Социальный облик Лапландии сегодня очень и очень унылый. Молодые люди тысячами покидают родные места, уезжают на юг или в соседнюю Швецию, ибо работы в родной Лапландии для них не находится. Лесорубы — эти чест-

ные, трудолюбивые «бродяги», как их называют в Финляндии, вынуждены по увечью (часто и преднамеренному) идти за другим выходом на пенсию. Свыше 10 процентов трудоспособного населения не имеет работы, но крупный предприниматель, не получая здесь высоких прибылей, обходит эту часть страны вниманием. Его не волнует судьба местного населения.

Совершенно другая, светлая и оптимистическая картина встретила нас в Норильске. Норильск строится, несмотря на то, что затраты на строительство здесь в 2,8 раза выше, чем на юге Советского Союза, и что здания здесь приходится возводить на сваях из-за вечной мерзлоты.

Нам сказали, что капиталовложения в этой пятилетке в районе Норильска составляют 5 млрд. рублей. На эту сумму будут строить новые шахты и рудники, обогатительную фабрику и другие промышленные объекты, реконструировать действующие, а также возводить новые жилые дома, магазины, детские учреждения, школы, новый театр и т. д.

Примечательно в жизни Норильска и то, что жителям предоставлены едва ли не лучшие условия, чем в самых крупных центрах СССР. Об этом говорит хотя бы тот факт, что горожанка средней полосы Союза покупает товаров на сумму около 1100 рублей в год, тогда как норильчанка на 1468 рублей. Ассортимент товаров в норильском продовольственном магазине несколько не беднее, чем в самом лучшем московском.

Поддержание нормальных жизненных условий далеко за Полярным кругом требует, конечно, немалых дополнительных затрат. В Лапландии эти затраты в конечном счете оплачивают сами жители. В Норильске их целиком берет на себя государство. Кроме того, государство ежегодно добавляет на каждого жителя 6000 рублей для создания жизненных условий, равных, а то и превосходящих условия юга.

Однако нам дали ясно понять, что, увеличивая объемы изысканий и работ, Норильск не стремится привлекать с юга лишних людей. Основа всех планов развития — механизация и автоматизация труда, достижение наивысшей производительности. Это главный принцип в строительстве и реконструкции горно-металлургического комбината.

Строительство комбината сейчас объединяет норильчан и финнов. Финляндия поставляет оборудование для новой обогатительной

фабрики в районе Надежды. Эти поставки обеспечивают работу тысячам финских рабочих, что немаловажно в нынешних условиях экономического кризиса на Западе.

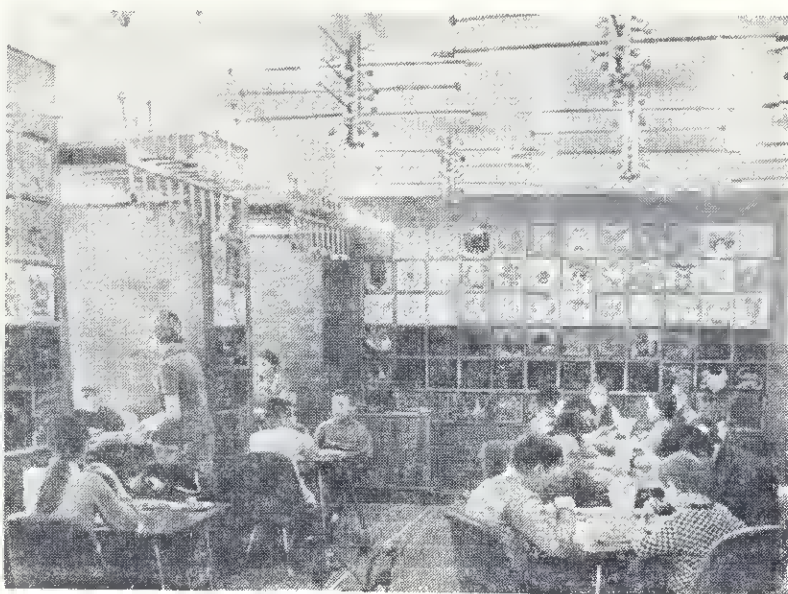
На металлургическом заводе Стрэмберг в городе Вааса, где изготавливается электрооборудование для Норильского комбината, создано отделение общества Дружбы Финляндия — СССР. За два года существования общества в него вступило 700 человек. О целях отделения говорит инженер Лейкас: «В наших странах разные условия и обычаи и разный образ жизни. Когда лучше узнаем друг друга, легче преодолеваем и возможные противоречия».

Сейчас около двухсот норильчан, среди которых много молодежи, знакомятся в Финляндии с новым оборудованием. В этом году финские специалисты поедут в Норильск на наладку оборудования. Так два Севера — советский и финский — встречаются в конкретном сотрудничестве. Надеемся, что в недалеком будущем придет черед финской Лапландии развиваться с помощью советских специалистов.

Элемер ЧАК,
радио Венгрии

**СЕГОДНЯ —
И ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НАЗАД**

После неоднократных поездок по Сибири и Дальнему Востоку меня уже не удивляют курьезы, вызываемые перепадами во времени; даже в свою обычную игру, которую всегда мысленно затевал, сейчас играю больше по инерции: если, скажем, остаться в Норильске навсегда, стану старше на четыре часа, то есть на разницу с московским временем... Да так оно и есть — современные скорости как-то сужают масштабы впечатлений, лишают путешествия вековой присущего им аромата — точно так же теряется вкус у клубники после обильных дождей. И все же, как только старика «ИЛ-18» наводит свои прожектора на посадочную полосу, начинаешь волноваться. Может, все-таки действует близость экзотики? Или это от необычности полярной ночи?.. И лишь когда вторично улавливаю



В детском кафе «Солнышко».

из разговора соседей по салону слово «электричка», понимаю причину волнения. Соседи гадают, сумеют ли поспеть на электропоезд, курсирующий между аэропортом и городом, а в моей памяти оживает тот самый, десятилетней давности момент, когда я — как сейчас вот в самолете — услышал впервые это русское слово — «электричка».

То была последняя неделя мая. Минус 12, метель. И хотя, по моим тогдашним расчетам, в Нориль-

ске полагалось быть ночи, первое, что я увидел на краю горизонта, был огромный алый диск, который сквозь снежную мглу неясно высвечивал окружающий ландшафт. У меня было ощущение, что передо мной увеличенная фотография зимнего пейзажа, которую я рассматриваю в затемненной фотолaborатории. В архиве памяти этот снимок запечатлелся с удивительной точностью. Следующий кадр — о посадке на поезд — расплылся, а вот на третьем снова



Памятник первой палатке под Талнахом.



В норильском универсаме.

все ясно, очерчена каждая деталь: нутро диковишного железнодорожного вагончика, люди, сгрудившиеся вокруг печки-буржуйки... Впервые и я прибыл в Норильск на такой электричке.

Это было десять лет назад, в период пезаходящего солнца.

Сейчас меня встречала полярная ночь.

Таково, видно, свойство памяти, что после второго моего приезда в Норильск я много раз замечал, что стоит оглянуться назад и попытаться воспроизвести виденное, как в поток самых последних «зпмнпх» кадров нет-нет да вторгнутся кадры «солнечные» — они словно спорят между собой, два эти года — 1967-й и 1977-й.

Год 77-й... Сдвин за покрытым белой скатертью столом в квартире семьи Гришко, на Талнахской улице. Двенадцатилетний Олег умоляет сесть потеснее, чтобы сфотографировать нас на память. Фоп выигрышный, ничего не скажешь: в хорошо обставленной двухкомнатной квартире в полном наборе все, что свидетельствует о достатке: в шкафах книги и хрустальная посуда; вот проигрыватель, холодильник и модной марки телевизор. При всем при том семья Гришко, как мне кажется, обычная норильская семья. Игорь Петрович — плавиальщик, его жена — оператор копировальной машины, оба, как и большинство норильчан, трудятся на комбинате. В Заполярье попали тоже сравнительно обычным способом: его, работавшего на Украине подручным мастера литейного цеха, зазвали в Норильск знакомые, уговорили прпехать сюда, в край необычного, сурового климата, ио

где работа может найтись по вкусу и неплохой заработок.

...Год 67-й... Другой голос:

«Я прежде о Норильске знал только то, что тут мне пересаживаться с одного судна на другое. Золото инбко интересовало меня, вот и подался на Колыму. Рейсовый пароход пришел в Игарку с опозданием, не успел я из-за этого на пересадку, пришлось ждать несколько месяцев, пока откроется движение по Северному морскому пути. Жить на что-то надо было, я и устроился разнорабочим на комбинат. Прошло полгода, и я убедился, что здешняя жизнь в царстве вечной мерзлоты и снежных выюг по меньшей мере такая же интересная, какой могла бы быть и на Колыме...»

...Год 77-й... В Норильске Игорь Гришко из безвестного подручного литейщика стал признанным мастером своей профессии. Вместо комнаты в коммуналке получил отдельную квартиру. Теперь семья живет в центре города, под рукой магазины для любых покупок, и «голова семьи» тоже нет-нет, а с удовольствием пройдет по ним с «авоськой».

...Год 67-й... «Я был здесь, когда сдавался первый многоквартирный дом. Долго будем о нем помнить: это был дом, как мы шутили, «со всеми неудобствами», потому что поврема не подключали воду, ни паровое отопление, даже электричества не было. И все же как мы радовались первенцу!..»

...Год 77-й... В материальном отношении у семьи Гришко есть все: растет вклад на сберкнижке; у стариков родителей в Кишиневе стоит и гараже автомашина, давно преизойден стаж, необходимый для повышенной пенсии. Мне было любопытно узнать, сколько они еще намерены пробыть в Норильске; сначала поинтересовался, собираются ли покупать новую мебель для норильской квартиры, а потом спросил напрямую. Игорь Петрович смущенно улыбнулся и, к моему великому удивлению, пространно заговорил не о сроках, а о секретах производства никеля, о плавильной печи, которой он управляет и в которой окисляется никелевый концентрат... О комбинате, который реконструируется, о новых возросших задачах, которые необходимо выполнять, несмотря на то, что из-за реконструкции замедлился темп производства. Говорил о чувстве ответственности у таких же, как и он, опытных, кадровых рабочих, о личных трудовых обязательствах и еще о том, что собирается уже в нынешнем году на 6 процентов перевыполнить норму, запланированную на год следующий... И что это зависит не только от него, ибо нужны коллективные усилия всех работающих с ним товарищей, всех участков; ясно же, что из плохого сырья не получить нужной продукции, ведь производство никеля — единый процесс, участники которого зависят один от другого, и потому так важно добиваться большей организованности, выработать по львовскому образцу систему ответственности, ну а на решение этой задачи потребуется не один год...

Сегодня, когда вспоминаю об этой беседе, я жалею о том, что не спросил у Игоря Гришко, видел ли он спектакль «Темп-29» в норильском театре, хотя как бы я спросил, если сам посмотрел его только на другой день. Теперь остается предположить, что если бы видел, то паверняка говорил бы о том полном борьбы, далеком годе как об интересном и поучительном прошлом, многие герои которого и стиль работы стали уже достоянием истории... Но той темы мы так и не коснулись, а вели мы речь скорее о будущем, о работе комбината в ближайшие годы, о планах семейства относительно очередного отпуска и о том, каким спортом займется Олег, когда окончательно оправится от перелома ключицы...

...Год 67-й... Опять тот же го-
лос:

«Не думаю, что надолго здесь останусь. Я искал романтики, а ее уже в Норильске нет. Механизированные шахты, производство, хозрасчет, трудовое соревнование... Даже снежных заносов не бывает, разные приспособления устроили... Если уж пошла такая обычная жизнь, я лучше подамся обратно, на Кубань. Да и как-никак «постарел» за это время на четверть века, — пенсия-то здесь растет куда быстрее, чем на материке».

...Год 77-й... Я распрощался с хозяевами, шел по Талнахской, с трудом преодолевая снежный поток разгулявшейся пурги, и думал о том, что постарюсь обязательно вернуться сюда через десять лет. Не из-за комбината — из-за норильчан.

Перевел
В. КСЕНИН

Терри БУШЕЛЛ,
«Морнинг стар»,
Великобритания.

КРАЙ, ГДЕ ВОЗМОЖНО НЕВОЗМОЖНОЕ

Я давно мечтал побывать в Сибири. Эту землю, превосходящую в два раза территорию США и гораздо большую, чем Европа, на Западе часто сравнивают с космическим простран-

ством, пазывая ее земным пределом стремлений человека к неизведанному.

Первый пункт нашей поездки — Норильск, температура воздуха — 50°. В Англии я не мог представить себе такого холода, и мне хотелось почувствовать его на себе. Нам сказали, что за последние десять лет эта зима особенно суровая, с сильными ветрами и морозами.

Вечером я решил пройтись по городу. В течение первых пяти минут я не мог понять, почему так много говорят о суровости климата: если хорошенько закутаться (что мы и сделали), то холода почти не чувствуешь. Но это было только начало. Постепенно холод стал заползать в меня, немилосердно жала лицо, заставляя вернуться в гостиницу. И это было в безветренную ночь. До сих пор я не могу представить, что испытывает человек, когда в мороз начинают дуть ветры, и, по правде говоря, не особенно стремлюсь к подобным экспериментам.

На следующее утро, выглянув в окно, я был поражен обычной городской жизнью: машины, люди, спешащие на работу, ожидающие на остановках автобусов.

Температура на улице была сегодня — 45°, а они только притопывали ногами да закрывали щеки и носы шарфами, больше никак не выражая свое отношение к морозу.

В одной из школ я видел лимонад, заморзивший прямо в бутылках, слышал рассказ старожил-норильчанина, как однажды впрягшись пришлось продавать на вес в виде кусочков льда.

Я раньше читал, что если лить воду из стакана на таком морозе, то она превращается в сосульку, еще не достигнув земли. Один норильчанин на мой вопрос, правда ли это, ответил: «А вы попробуйте лить воду очень медленно».

В Норильске мы провели великолепный вечер в семье строителей, которые одними из первых прпехали сюда и работают вот уже 20 лет: он — бульдозеристом, она — маляром. Это замечательные люди. Зина рассказывала, что, когда случается непогода или неполадки с машиной, Юрию, несмотря на непогоду, приходится чинить машину прямо в тундре, а вся семья ждет и волнуется.

Премьер-министр Канады Пьер Трюдо, посетив Норильск в 1971 году, назвал город одним из чудес света. И он был абсолютно прав. Норильчане поистине сотворили чудо — современный город со все-

ми удобствами, развитой системой коммуникаций, великолепным снабжением. И это в самом сердце снежной пустыни.

Из Норильска наш путь лежал в Красноярск.

Мне было особенно приятно посетить этот город, где производятся холодильники «Бирюса», которые экспортируются в Англию и называются там «Снежная шапка».

Я был поражен громадой Красноярской ГЭС, которая укрощает могучий Енисей. Вода, проходя через турбины, нагревается до +8°, «дымя» на холодном воздухе.

У нас в стране нет таких великих рек и гор, как в СССР, и нам не просто представить размеры и мощь советских сооружений.

Мы посетили и строительную площадку Саяно-Шушенской ГЭС. Дугообразное здание плотины будет возведено в узком месте по течению Енисея. Эта ГЭС по объему уложенного бетона будет превосходить Братскую и Красноярскую, вместе взятые, и после завершения строительства станет одной из крупнейших в мире.

Беседа в Академгородке под Новосибирском подвела итог впечатлениям, которые накопились во время поездки.

Андрей Алексеевич Трофимук, заместитель председателя Сибирского отделения АН СССР, рассказал нам, что принял решение занять этот ответственный пост потому, что понял — будущее Советской страны лежит в развитии Сибири. От него мы узнали, что ученые ведут поиск нефти уже на больших глубинах, чем в Тюменской нефтяной провинции, возраст основного пласта которой 20—30 миллионов лет. К востоку, в междуречье Енисея и Лены, находятся более древние породы, и геологи надеются открыть в них еще 4 или 5 нефтяных слоев.

Что еще привлекло мое внимание — это гораздо большая заселенность территории Сибири — большая, чем я ожидал.

Мы пролетали над множеством населенных пунктов, над сетью железных и шоссежных дорог.

Тот факт, что теперь Сибирь — это не просто край охотников и звероловов, имеет громадное значение для советского народа, тогда как многие на Западе, не зная об этих колоссальных изменениях, упускают из виду одну из самых замечательных страниц истории человечества.

Перевела
О. ЖИЛЯЕВА

Серж ЛЕЙРАК,
«Юманите», Франция.

РЕЖИССЕР ИЗ НОРИЛЬСКА

Неожиданным было скорее место нашей встречи, чем сам человек. Кто мог представить себе подобное свидание с искусством в Норильске? Для иностранца, направляющегося в этот город за Полярным кругом, довольно экзотики уже в условиях окружающей человека природной среды. Как француз, мне было важно, например, увидеть своими глазами падение ртутного столбика в термометре, чтобы иметь моральное право поведать потом моим соотечественникам о том, что такое мороз —45°. Еще более существенным, разумеется, было увидеть, что здесь, в Норильске, сделав для того, чтобы человек мог жить в условиях, приближенных к условиям жизни в других советских городах. Но обнаружить здесь такой театр!

Предубеждений у меня было предостаточно. К предложению провести вечер в городском театре драмы имени Маяковского я отнесся без большого энтузиазма. Ну можно ли ожидать многого от этой северной труппы?

В этот вечер шел спектакль по пьесе Погодина «Темп-29». Стремительный наплыв картин вводил нас в атмосферу первой пятилетки, когда буквально все приходилось начинать с нуля, когда план индустриализации воспринимался многими как вызов здравому смыслу и реальности, когда герои, преодолевающие трудности и собственное малодушие, выглядели как Дон Кихоты.

«Дон Кихоты. Нам яужны Дон Кихоты», — сказал Леонид Белявский, главный режиссер театра, когда мы встретились после спектакля в фойе. Он не выказал удивления, когда я поделился с ним своими колебаниями, которые я испытывал по поводу того, идти или не идти в театр. По правде говоря, склад ума этого человека еще более рельефно подчеркивал то впечатление, которое произвел на меня и трактовка и режиссура, часто просто превосходные. Это была подлинно профессиональная работа! Но что заставило очутиться здесь, вдали от признанных центров искусства, этого художавого сорокалетнего чело-

Погодинский спектакль «Темп-29» на сцене Норильского драматического театра.



века с седеющей головой; режиссера, обладающего, вне всякого сомнения, своей собственной творческой концепцией?

Леонид Белявский едва заметяо улыбался, когда один за другим посыпались вопросы. Ну, скажем, какие причины побудили его год назад оставить Русский драматический театр в Риге и перебраться с женой (актрисой) и ребенком сюда, в Норильск? «Слишком спокойной оказалась жизнь в Риге. Видямо, это и повлияло на мое решение». Можно объяснить и так. Больше он яичего не скажет. Но, к примеру, вполне можно предположить, что, кроме материальных гарантий, Норильск предложил ему уже обкатанную труппу, с которой можно было работать новаторски.

Искание. Это слово было многократно произнесено Белявским. Я просматриваю записи, вспоминаю наши разговоры. Нет, он ни разу не заговорил ни о трактовке образов, ни о репертуаре, ни о публике, не коснувшись идеи новаторства. «Мы ищем ясности в театральном языке. Ищем современные формы. Стремимся вовлечь зрителя в контакт с этими современными формами. Отсюда и использование элементов пластики, музыки, в частности в спектакле «Темп-29». Наверное, отсюда и минимум декораций и отказ от всякого визуального, сценического обозначения, отвлекающего зрителя от главного в пьесе — от сложности показываемого времени, от внутреннего богатства героев. «Темп-29» — харак-

терный пример, демонстрирующий одно из направлений нашего поиска. Мы хотим показать героев не простыми, а людьми со сложным внутренним миром, испытывающими высочайшую, доходящую до боли ответственность за свою работу».

Это был, пожалуй, один из редчайших моментов, когда Белявский позволил себе проявление страсти.

«Зритель сопереживает событиям, которые разворачиваются перед ним на сценических подмостках. Хотелось бы, чтобы основные идеи спектакля не были восприняты им как плакатные лозунги, надо, чтобы зритель проникся ими, чтобы они стали его плотью и кровью».

Мне думается, что человек, в театр которого зрители приходят при морозе в —48° с ветром, человек, который говорит, что порой приходится играть перед несколькими десятками зрителей, о том, как дороги они театру, — такой человек способен видеть в зрителе зрелого, достойного собеседника. И вовсе не случайно Белявский намерен обратиться к Брехту, к драматургу со столь выраженной философической ясностью.

«Мы думаем поставить «Кавказский меловой круг». Эта пьеса самая что ни на есть подходящая. Ее герой, прежде чем стать образцом для других, проходит через многие внутренние борения, испытания».

Чувство оторванности? Нет, Белявский его не испытывает. Он

много ездит, постоянно в курсе последних театральных новинок. Потому что сюда, в Норильск, другие театральные коллективы приезжают не часто и только телевидение освещает театральную жизнь огромного Советского Союза.

«...Отсюда важность репертуара, дающего богатую комповскую, включающего авторов классических и современных, советских и зарубежных. Мы хотим также, чтобы норильчане увидели на сцене и свою собственную жизнь. Отсюда и обращение к производственной теме, рассмотренной под углом зрения личной ответственности человека. Мы играем на предприятиях «Заседание парткома» — спектакль, который является, на мой взгляд, органическим продолжением «Темпа-29».

Вот и все. В конце концов я не очень-то много знаю о Леониде Белявском. Но я знаю, какая вообще это роскошь — встретиться с человеком, имеющим столь требовательный и творчески насыщенный взгляд на свою профессию. И не каждый день дано повстречаться за Полярным кругом с человеком, который вам скажет: «Нам нужны Дон Кихоты».

Перевел
В. КСЕНИН.

Палле АНДЕРСЕН,
«Ланд о фолк», Дания.

РАДУЕТ ЧЕЛОВЕК

За многие годы работы в Советском Союзе я порядком исколесил вашу страну и могу с уверенностью сказать, что нигде, как в Сибири, и, в частности, в Красноярском крае, куда на этот раз нас привели журналистские тропы, не приходилось встречать столько молодежи. Молодые рабочие, молодые мастера, начальники цехов, рудников, директора огромных заводов.

Первый секретарь Красноярского крайкома партии Федирко (не спросил, но, по-моему, ему тоже чуть за сорок), когда мы встречались и по-товарищески бе-



Талнах. Совсем недавно здесь была пустынь.

седовали несколько часов подряд, буквально оgoroшил нас, называя одного за другим красноярских руководителей и прибавляя при этом: «Пет и сорока...», «Немного за сорок...»

Можно по-разному объяснить подобный феномен, и когда мы были в новосибирском Академгородке, ученые-социологи предложили нам по крайней мере три объяснения. Наиболее любопытным мне представляется вот какое. Красноярский край привлекает для молодежи возможностью быстро и разносторонне проявить себя и вырасти... Дело тут, как вы понимаете, вовсе не в том, что в городе, или, как говорят в Сибири, «на Большой земле», все вакасин заняты. «Виной» такой мобильности по вертикали — красноярское «ускорение». Здесь край больших возможностей, и я особо не погрешу против истины, если скажу, что здесь каждый месяц то открываются новые месторождения, то начинается новая стройка, то вводится какая-либо новая мощность. И люди растут, поднимаясь по служебной лестнице в полном соответствии с темпами освоения. Конечно, вполне можно было бы привлекать на высокие хозяйственные посты, так сказать, людей «со стороны». Но мне больше по душе та кадровая политика, которая практикуется, скажем, в Норильске. Здесь многие руководители начинали когда-то рабочими. Потом «оседали», получали очное или заочное образование и

теперь успешно «правят бал». Это с разных точек зрения верно. Назову для краткости только две. Здесь не просто акклиматизироваться, привыкнуть к суровой, неласковой, переменчивой погоде — наверное, об этом мои коллеги напишут. Но уж если человек вошел в заполярную экологическую нишу, считайте, ему здесь приглянулось — и надолго. Ну а потом вырабатывается опыт профессионального и социального общения, и тогда уже человеку, без преувеличения, цены нет. Есть у меня в Норильске товарищ — директор рудника «Октябрьский» Вебер. Это тот самый тип молодого руководителя, который сегодня привычен для огромного края освоения. Вот, на мой взгляд, основные качества Вебера: партийная принципиальность, неукротимая энергия и деловитость, страсть к новому, развитое чувство инициативы, доверие к подчиненным, требовательность и исключительная уравновешенность. Вебер не один. Таких, как он, тысячи и тысячи...

Я хотел бы закончить эти заметки так: в краю интенсивного освоения, замечательных преобразований рождается и замечательный новый человеческий тип, о котором мечтал Владимир Ильич Ленин.

Перевела
Н. ВАСИЛЬЕВА.



Леонид
ЖУХОВИЦКИЙ

ПРИ СОУЧАСТИИ ДЖЕКА ЛОНДОНА...

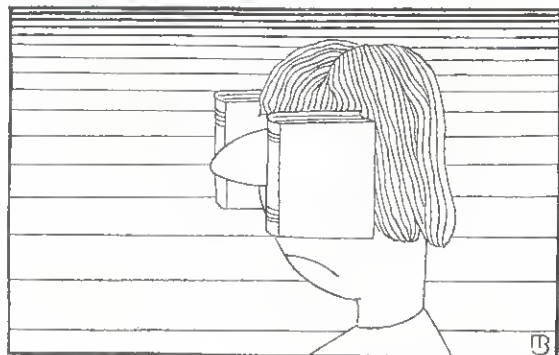
В редакцию пришло большое письмо. Собственно, даже не письмо, а статья. Семнадцать страниц на машинке, традиционная «препроводилка»: «Разрешите предложить Вашему вниманию...». Наконец, интригующее заглавие: «Криминальное чтение».

То есть чтение, ведущее к преступлению.

Что и говорить, интересно. Причины, порождающие преступность, сложны и далеко не очевидны. Всякое серьезное суждение по этому поводу незамеченным не пройдет. Тем более что автор статьи, приславший в редакцию, — юрист-криминолог.

К сожалению, привести статью полностью возможности нет — великовата. Придется ограничиться выдержками.

«Когда мы видим юношу или девушку, самозабвенно склонившихся над книгой и читающих ее «одним духом», мы невольно восхищаемся необыкновенным культурным ростом нашей молодежи. Это действительно справедливо.



Рисунки В. ПЕСКОВА.

Но задумывались ли мы над тем, как молодым человеком воспринимается читаемая книга, какие образы вызывают симпатию и почему, а другие, напротив, читателю антипатичны? Какие знания и для чего извлекает читатель из книги? Какой общий резонанс в сознании молодого человека вызвала прочитанная книга?

Часто родители и педагоги не нарадуются на то, что их воспитанник много читает, явно обнаруживает свою начитанность, а поэтому намного возвышается над своими сверстниками. «Читает много, это уже хорошо» — таково наше резюме, которым мы и довольствуемся, часто даже не поинтересовавшись, какие же книги попадают в руки молодежи.

Ведь мир книг — это целый океан, он таит в себе много коварства. История человеческой мысли — это взлеты и падения, великие открытия и заблуждения; они были у каждого крупного мыслителя и художника. Свое мнение они отстаивали всеми возможными способами, доказывали, убеждали. Часто эти заблуждения составляют большую часть произведений, а иногда они вкраплены в него, как «ядовитые зерна».

А ведь у молодого человека еще нет твердого марксистского мировоззрения, которое служило бы ему компасом в книжном океане. Он часто руководствуется своим порой ошибочным мировоззрением. Содержание прочитанной книги он, как правило, воспринимает поверхностно, не выходя в глубину содержания; он еще не может, что называется, смотреть «в корень», разобраться, где истина, а где ложь. «Раз написано в книге, значит, правда» — вот логика молодости.

Может произойти настоящая беда от книг, содержащих заблуждения человеческой мысли или предназначенных для взрослых, идейно сформировавшихся людей...

Как известно, литературу, пропагандирующую войну, насилие, национальную рознь, у нас в магазинах не продают и в библиотеках не держат. И речь идет не о пей.

Тогда что же это за книги, грозящие читателю и обществу «настоящей бедой»?

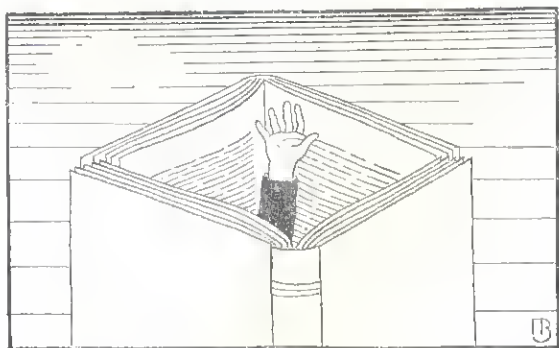
Разные, отвечает наш корреспондент. Например, «Пол и характер» Вейнингера. Ницше. Учебник психиатрии. Журнал «Следственная практика». Русские пословицы и поговорки. Конан-Дойль. Анатоль Франс. Джек Лондон. Ильф и Петров. Федор Михайлович Достоевский. Лев Николаевич Толстой.

Словом, любая домашняя и уж тем паче публичная библиотека опасна, как минное поле.

В статье юриста есть отдельные недостатки. Но уж в чем-чем, а в голословности его не упрекнешь. Каждая мысль аргументирована. На всякую сомнительную книгу — свой пример из жизни.

Скажем, такой. Федя С., когда ему было семнадцать лет, имел неосторожность прочесть книгу Стефана Цвейга «Три певца своей жизни»: о Толстом, Стендале и Казанове. «Детально изучив жизнеописание Казановы, его «методику» одурачивания людей, Федя решил испытать оную на собственном опыте и занялся мелким мошенничеством, за что был осужден народным судом.

Или еще. Десятиклассник Вова успешно учился и был хорошим товарищем. Но «как-то ему в руки попала книга Анатоля Франса «Взгляды аббата Жерома Куаьера», которая его крайне заинтересовала, он даже сделал себе выписки наиболее интересных ему изречений. Среди них были такие: «Человек по



природе очень злое животное», «Народная власть, так же как и монархия, основывается на фикции и живет уловками», «Смертные, будь они велики или малы, сами по себе являются лишь дикими и отвратительными животными».

Не учитывая времени, в которое жил и творил писатель, Вова механически распространил эти высказывания на все времена и народы, постепенно пропитавшись уверенностью в своих «взглядах», придя в конце концов к безысходной мизантропии. В поведении ученика появились презрение, бездушное отношение к людям, даже к своим родителям...

Постепенно его чтение приобрело хронически порочный характер. Его уже несколько не интересовали книги, которыми обычно увлекается молодежь его возраста (например, военные приключения). Его интересовали только такие авторы, у которых можно было что-нибудь почерпнуть о «греховности и порочности» человека, о ничтожности всех его желаний и стремлений.

Систематическое чтение «аморальных» писателей, постоянные размышления о человеке, имеющие явно патологический характер, сделали Вову морально неполноценным человеком, совершенно выбитым из колеи жизни».

Прочие примеры в том же роде.

Ну что сказать на это?

Можно заинтересоваться трактовкой Казановы как мелкого мошенника. Можно подивиться безукоризненной арифметичности построений автора статьи — все логично, все сходится, у каждого следствия своя прямая и несомненная причина. Одно вытекает из другого с редкой аккуратностью, даже педантичностью: прочитал книжку — убил старушку... Не случайно «Преступление и наказание» занимает столь видное место в перечне криминальных книг.

Можно позавидовать безапелляционности интонации: что ни суждение, то истина в последней инстанции, об обжаловании и думать смешно.

Можно вспомнить грибоедовского героя, в данном вопросе проявившего редкую решительность: чтоб зло пресечь, забрать бы книги все, да сжечь!

Можно, наконец, поддержать юриста-криминалиста и в дополнение к печальным историям про Петю В. и Машу Г. рассказать еще одну столь же поучительную — ну, хоть такую: «Старшеклассник Саша П., игнорируя рекомендации преподавателей, пристрастился к чтению «произведений» эротического содержания. Влияние подобной «литературы» на юношу с еще не окрепшим мировоззрением оказалось очень сильным. Постепенно она вытеснила из круга чтения Сашки книги, предписанные учебной программой. Даже окончив учебное заведение, юноша не смог приобрести по-настоящему правильное

отношение к этому «увлечению» и вспоминал о нем не со стыдом, а с удовольствием и даже бравадой:

«...В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...»

Можно, наконец, и саму статью «Криминальное чтение» причислить к криминальному чтению. Вдруг какой-нибудь Вася Н. с неокрепшим мировоззрением не разберется в оговорках автора и, возненавидев литературу за ее вредное влияние на молодежь, пустится жечь районные библиотеки?

Словом, «заходов» для литературного фельетона вполне достаточно.

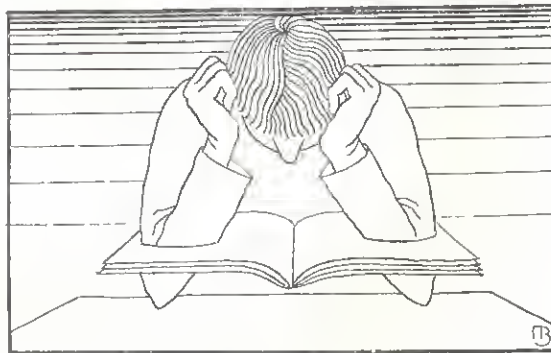
Но мне не хочется писать литературный фельетон.

В конце концов в чем виноват юрист-криминолог? Множество профессиональных критиков пишет о влиянии литературы на молодежь почти с той же степенью убедительности, не утруждая себя примерами из жизни. Просто профессионалы осторожнее и классиков не задевают: хрестоматийный глянец — вещь скучная, но от житейских превратностей оберегает надежно. А наш автор оказался человеком последовательным и подошел к Достоевскому и Франсу с тем же аршином, каким его опытные коллеги измеряют достоинства современников. И классика, не огражденная барьерами, не выдержала разговора по большому воспитательному счету.

Вообще много ли мы знаем о влиянии книг на читателя? Какая литература нужна молодому человеку?

Рекомендаций в этом вопросе полно, но до чего же они противоречивы!

То уверяют, что необходим идеальный герой, которому станут подражать, то — герой живой, с недостатками, в которого поверят. То утверждают, что читателю требуется приключенческая литература, воспитывающая мужество, то призывают оградить



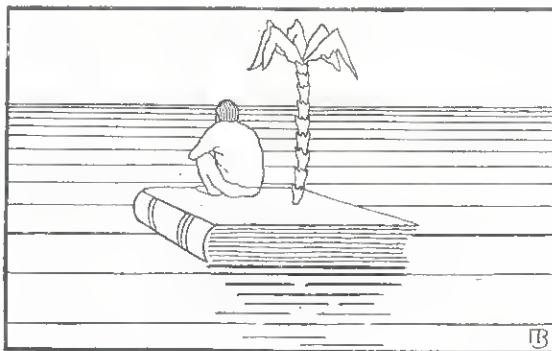
молодежь от потока детективов, воспитывающих жестокость...

Множество людей сталкивается с проблемой «подросток и книга» чисто практически.

Вот пишет инженер из Нижнего Тагила:

«Три дня назад вхожу — дочка читает Мопассана. Ей тринадцать лет. Не рано ли? Постояла за спиной, поколебалась — да с тем и отошел. Ну, а что делать? Наказать? Отнять книгу? Так ведь запретный плод еще слаще! Или пусть читает все подряд?.. Долго обсуждали с женой, но ничего не решили. Так и молчим... Посоветуйте, не откладывая».

Нет, шуткой от проблемы не отделаешься.



Ощутимую ясность, наверное, мог бы внести социолог, опирающийся на серьезную статистику. Но где он, тот социолог и где та статистика?

Наш корреспондент, юрист-криминолог, хорош уже тем, что добросовестно собрал, дотошно описал и проанализировал целый ряд случаев — едва ли не все варианты вредоносного, на его взгляд, чтения. Попробуем проанализировать эти случаи еще раз.

Начнем с уже приведенной истории, с десятиклассника Вовы, которого так коварно совратил франсовский аббат Куаньяр.

Итак, вполне благополучный Вова прочел трудную книгу, понял неверно, сбился с истинного пути и в конце концов стал «морально неполноценным человеком, совершенно выбитым из колен жизни».

Допустим, сами факты, ограничивающие эту эпопею, верны: Вова прочел книгу, Вова сошел с колен. Но как поверить в их прямую зависимость?

Сразу возникают сомнения. Ведь до этой сокрушительной книги Вова читал все, что положено по программе, штудировал учебники, под предводительством учителей одолел целую гору книг, гарантированно доброкачественных, прочно утвердившихся в школьных программах. Почему же влияние всей русской и советской классики оказалось таким поверхностным и шатким, что несколько пессимистических умозаключений мрачно настроенного аббата не оставили от них и следа?

Если бы процесс формирования юной личности заключался лишь в состязании одних книжных идей с другими, школьная программа всегда побеждала бы — хотя бы за численным преимуществом. Увы, на деле происходит по-разному. И книгу чаще сопоставляют не только с другой книгой, а с жизнью. Скорей всего еще до Франса жизнь поворачивалась к Вове своей отнюдь не радужной стороной, и десятиклассник, внешне вполне благополучный, искал в книгах лишь подтверждения и обоснования собственных тоскливых наблюдений.

Вспоминаю довольно давнее, но характерное происшествие в знакомой семье. Там все время говорили о деньгах, азартно подсчитывали и сопоставляли чужие доходы. Хозяйка дома, ставя на стол воскресный обед, иногда с гордостью, иногда с укором сообщала, во что он обошелся. Хозяин привозил из загранкомандировок модные носки и продавал знакомым. Даже глядя хоккей по телевизору, забытые пайбы тут же по каким-то псевдомым расценкам переводили в рубли... Когда же десятилетний сыннишка хозяев стянул со стола у соседей пятачку, провели следствие и обнаружили не только причину столь возмутительной склонности ребенка, но и конкретного виновника. Им оказался — кто бы вы думали? Радж Капур! Тогда на главных экранах города по второму заходу крутили «Бродягу»...

Если последовательно развить профилактические идеи нашего корреспондента, незрелую молодежь надо оградить не от сложных книг, а от сложной жизни. Оно бы, может, и надо, но как?

Да, порой книга резко обостряет мироощущение подростка, доводит его неприязнь к несовершенствам жизни до высокого накала. Но всегда ли это плохо? Вон, врачи говорят, что повышенную температуру лучше не сбивать, разве что в крайних случаях: она не болезнь, она орудие организма в борьбе с болезнью...

Вот еще история. Отчим семнадцатилетней Наташи время от времени давал ей читать книги, хоть и научные, но по тематике опасные: «Половой вопрос», «Пол и характер» и т. п. Наш корреспондент утверждает, что отчим был нехороший человек, стремился вызвать у девушки повышенную сексуальность, а печатное слово выступало при нем пособником.

Возможно, в данном патологическом случае так оно и было. Но поневоле задумываешься: а когда же Наташе все эти книги читать? В семнадцать, выходит, рано. Может, в двадцать? В двадцать пять? В тридцать? Но ведь в некоторых наших республиках законодательством разрешено замужество шестнадцатилетним!

Охотно допускаю, что сексологическая литература иногда может вызвать у юного читателя отнюдь не предусмотренную реакцию. Но разве лучше, когда сама жизнь обрушивает на совершенно неподготовленного подростка внезапный, ошеломляющий по своей концентрированности урок?

Да, Наташин отчим в своем несправедном деле пытался использовать труды по сексологии. Но напрасно юрист-криминолог записывает в преступники книгу. Вон и карманники предпочитают орудовать в трамвайной толчее. Ну и что с того? Мы ведь боремся с воровством, а не с трамваями...

Цитирую: «Иногда внимание молодого человека направлено не столько на чтение художественной литературы, сколько на чтение литературы «научной»... В дневнике Коли С. фигурируют, например, такие книги, как «Наука, ее смысл, содержание и классификация» проф. Берга, содержащая много неправильных и антинаучных положений; в ней имеется множество цитат из Бергсона, Ницше и других реакционных философов, на которых автор ссылается как на авторитеты. Среди выписок Коли содержится, например, такая: «Он ученый, — говорит Ницше, — а это значит, что он может понимать вещи проще, чем они есть на самом деле». В этом замечании, хотя и ироническом, скрыта похвала, ибо, если не понимать вещи проще, чем они есть, то их вообще нельзя понять». Коля отмечает: «Это очень правильно, полностью мы не можем познать ни одного явления, человеческий разум очень слаб, он только поверхностно, упрощенно познает мир».

Имелся у Коли также выписки из брошюры Карпентера «Современная наука» в переводе А. Н. Толстого. Карпентер отрицал существование какой-либо науки вообще... В дальнейшем Коля познакомился и с произведениями А. Н. Толстого, посвященными этой теме, тщательно их изучив. Логика писателя, простота изложения, его убежденность — все это неотразимо подействовало на юного читателя, и Коля все это принял на веру. В разговоре с Колей нам не удалось сколько-нибудь разубедить его в убежденности о никчемности всех наук. Надо сказать,

что оказался он теоретически чрезвычайно «подкованным» и на каждый наш довод у него тут же находился соответствующий «аргумент», формально опровергающий наше утверждение. Имея весьма отдаленное понятие о марксизме-ленинизме, он ограничивался ссылками на такие «авторитеты», как Бергсон, Ницше, Карпентер и др. «Эрудиция» этого молодого человека оказалась крайне порочной, с огромным изъятием».

Я не случайно привел столь пространную выдержку. Во-первых, хотелось, чтобы позиция оппонента была ясна полностью. Во-вторых, уж очень типичен случай.

Как легко, как спокойно живется воспитателю, когда он — единственный авторитет. Что ни скажешь, все умно, все принимается без возражений. Но вот подросток начинает читать сложные, «трудные» книги — и сразу уйма проблем. Ситуация, как с пресловутой уличной компанией: такой был вежливый, послушный, а вот связался с какими-то во дворе, и на каждое слово гри своих...

Ну, а вообще-то в принципе хорошо ли, когда молодой человек читает философские работы Толстого, Бергсона и даже Ницше?

Мне кажется, нет никакого смысла прятать даже от подростков литературу этого рода. Ведь сама сложность сложной книги является серьезным барьером для читающего. Чтобы до конца одолеть философскую книгу и что-то в ней понять — пусть даже неправильно, — все же надо обладать немалой подготовкой. Для юного верхогляда тот же Бергсон или Ницше будут невыносимо скучны. Самое большее, на что окажется способен такой читатель, это запомнить пару эффектных фраз и регулярно приводить их в разговоре, предворяя солидным предисловием: «Когда я перечитывал Бергсона...»

Словом, обычное возрастное позерство, с которым если и надо бороться, то единственным способом — высмеив хвастуна.

Однако случай, приведенный нашим корреспондентом, иной. Коля С., судя по всему, не хвастун. Из Берга он делает выписки, заинтересовавшись предисловием Толстого, достает другие его произведения на ту же тему и изучает их тщательно. По свидетельству юриста-криминолога, теоретически он достаточно подготовлен, на каждый довод тут же находит соответствующий контрдовод. Словом, речь идет о серьезном интересе к философии.

Допустим, Коля переборщил, чересчур сильно обругал человеческий разум, не так уж кошмарно он слаб. Но какие выводы сделал подросток из этого мрачного умозаключения?

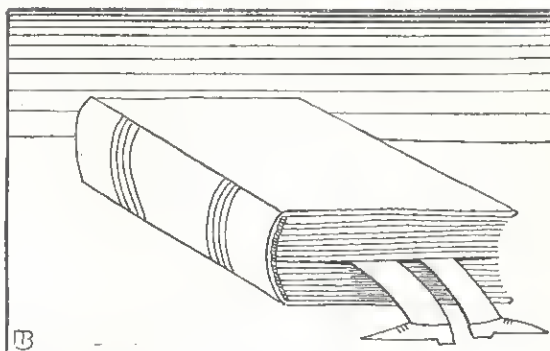
Разум слаб — значит, не надо и пытаться познать мир? Да нет, как раз наоборот: с помощью трудных книг Коля принялся активно познавать мир.

Правда, юрист-криминолог считает, что Коля имел весьма отдаленное представление о марксизме. Возможно, оно и так. Но мне кажется, молодой человек, всерьез занявшийся философией, просто не сможет пройти мимо высших достижений материализма. А вот сам Колин оппонент явно оказался недостаточно «подкованным» в марксизме, в результате чего ему и не удалось «разубедить его в убежденности о никчемности».

Наш корреспондент считает, что приобретенные Колей знания абсолютно и безоговорочно вредны. Но разве это так?

Представьте на момент, что Коля — будущая звезда нашей философии (кстати, такой случай вовсе не исключен). Во сколько лет ему надо читать хотя бы тех же философов-идеалистов?

В семнадцать? В восемнадцать? Да нет, пожалуй, поздновато. В этом возрасте лужно не общее зна-



комство с кривыми и сложными путями познания, а достаточно четкое понимание достоинств и недостатков различных философских систем. Четырнадцать-пятнадцать для первого знакомства, вероятно, в самый раз.

Конечно, ошибочная, но талантливая книга может оказать на подростка влияние куда большее, чем она того заслуживает. Издавна создатели новых школ и течений считали себя — часто искренне — спасителями человечества. И, разумеется, уверенность автора в своей правоте может порой просто загипнотизировать юного читателя.

Что же делать в этом случае? Запереть на ключ дверцы книжного шкафа?

Думаю, наоборот, раскрыть их пошире.

Когда один мыслитель обещает спасти человечество, это действует очень сильно. Но когда то же самое обязуется сделать второй, пятый или пятнадцатый, у подростка невольно начинает развиваться критический взгляд: не слишком ли много спасителей на одно-единственное человечество? Тут уж тянет не к декларациям, а к доказательствам...

Вероятно, большинство людей вполне обходятся историей человеческих открытий. Но специалистам необходимо и другое: история человеческих заблуждений. Далеко не всегда цивилизация сразу выбирает оптимальный путь, наука вместе с сухими ветками (или вместо сухих) порой срезает здоровые. Поэтому часто приходится открывать Америку несколько раз, как и реальную Америку открывали трижды или четырежды...

Так что же, может спросить читатель, автор считает, что воспитание подростка, руководство его чтением надо пустить на самотек? Все и вся доверить опыту самой жизни?

Воспитание молодого ума и чувства — слишком серьезная вещь. Направлять их должны умные воспитатели. Учитель, библиотекарь, лектор, телевидение, радио — из многих источников активно формируется мировоззрение, вкус, нравственный идеал молодого читателя.

Не запретом, а убеждением сильно воспитание.

«У некоторых молодых людей чтение «научной» литературы приобретает патологический, болезненный характер, — утверждает наш корреспондент. предворяя этой как бы аннотацией очередную одиссею. — У Игоря В. отец был профессором криминалистики, имел огромную библиотеку по своему предмету. Игорь получил очень хорошее образование, учился на первом курсе исторического факультета МГУ. От отца он постоянно слышал о различных буржуазных теориях, как социальных, так и юридических, постепенно стал ими интересоваться и почитывать подлинники. Однажды он нашел в отцовской библиотеке сочинения Ломброзо, прочитал их с большим интересом. Известно, что Ломброзо создал реак-

ционную теорию о «врожденном преступнике», к которой Игорь немедленно «присоединился».

Затем в его руки попали произведения крайне реакционного буржуазного криминалиста и статистика Адольфа Кетле... Для того, чтобы иметь представление, насколько для молодого, неокрепшего сознания может оказаться «заманчивой и ошеломляющей» теория Кетле, приведем его высказывания: «Во всем, что касается преступлений, числа повторяются с таким постоянством, что этого нельзя не заметить, и даже в таких преступлениях, каковы убийства... Опыт доказывает, что не только ежегодно убийства совершаются почти в одном и том же числе, но и орудия, которыми они совершаются, употреблены в одних и тех же пропорциях».

Мы уже догадываемся, что чтение столь кошмарных книг не могло не привести к кошмарным результатам. И наши догадки немедленно подтверждаются: «Игорь стал вести себя независимо...»

Да, докатился студент!

Ну, а если серьезно. Разве в навозной куче чужих и ветхих рассуждений не может вдруг блеснуть жемчужное зернышко истины? Разве сегодняшние химики не подтвердили теорией и делом казавшуюся сумасбродной мечту своих наивных средневековых коллег о превращении металла в металл? Разве археологи и историки не открыли целый ряд забытых цивилизаций, опираясь на смутные намеки древних легенд? Разве сегодняшние деловитые медики не изучают пристально полуграмотные рекомендации знахарей и колдунов, отделяя заговоры и заклинания от вполне реальных и очень полезных трав, настоек, компрессов и массажей?

Молодежь и книга — приблизительно так видит проблему своей статьи юрист-криминалог. Но сквозь эту проблему независимо от желания автора явственно просвечивает другая, более острая, более важная: молодежь и воспитатель.

Я не знаю, как занимается воспитанием юношества наш корреспондент — профессионально или на любительских началах, но из всего строя его статьи ясно: в любом случае ему приходится нелегко. То и дело наткнуться на вызывающее упрямство юного книжочка, терпеть поражения в спорах с самоуверенными мальчишками, которые тебе в сыновья годятся, — это хоть кого выведет из равновесия.

Но давайте попробуем разобраться, кто в этом виноват: сами мальчишки или их оппонент?

Я далек от того, чтобы огулом оправдывать начинающих эрудитов — среди них полно демагогов и полужнаек. Да и лучшие из них порой имеют лишь приблизительно представление о предмете, о котором убежденно и напористо говорят. Но что положено быку, не положено Юпитеру: у воспитателя в отличие от подростка нет права на верхоглядство.

Необходимая дистанция между учешком и наставником не дается ни знанием, ни официальным положением — только опытом, знанием, силой мышления, нравственной высотой. А достаточно ли развиты эти качества у нашего корреспондента?

Сегодняшний начитанный десятиклассник верит не репутации, а аргументации... Изясняется наш корреспондент порой недостаточно грамотно. Что же касается критериев нравственных... В статье, предназначенной для печати, он называет по фамилиям не только парней, якобы «выбитых из колеи жизни», но и девушку, виновную лишь в том, что на ее добродетель покушался нехороший человек. Наконец, автор «Криминального чтения» обильно цитирует

(опять-таки с указанием фамилий!) чужие дневники, даже не оговаривая свое право на публикацию столь интимных документов...

Да, для нормальной работы воспитателю нужен авторитет. Но как его создать, как увеличить?

Наш корреспондент предлагает между подростком и книгой поставить забор с бдительным вахтером на проходной. Вероятно, у этого проекта есть свое достоинство; слабому пастырьку жить станет, безусловно, легче. Но есть и недостаток: вместо глубоких, мыслящих, по-современному разносторонних специалистов страна получит работников нетворческих, неспособных, примитивных.

Мне кажется, у задачи есть иное решение, при котором и общество выиграет и воспитатель не постыдится. Может, вместо того, чтобы отбирать книгу у молодежи, наставнику стоит самому сесть за книгу? Нужно читать больше, чем читает подросток, думать логичней, чем он, спорить доказательней. Тогда дистанция между старшим и младшим появится и без запредельных мер.

И неверное суждение начитанного подростка станет казаться воспитателю нормальной ошибкой мыслящего человека, а не преступлением, совершенным при злостном соучастии Федора Достоевского и Джека Лондона...

Так что же читать подростку, десятикласснику, первокурснику? Как добираться до сути прочитанного? С легких или трудных книг начинать?

Рецептов нет — каждому свое. Лишь одно достаточно очевидно: читать все же лучше, чем не читать.

Разумеется, можно и нужно говорить с молодыми о книге. Советовать, помогать разобраться. Нужно спорить — если спорить нужно.

Но не надо грубо и бестактно навязывать свои оценки. Не надо формировать личности, как расторопная хозяйка «формирует» широжки с капустой.

Нынче время сложное, а будет еще сложнее. Виды человеческой деятельности множатся. Традиционные науки то сливаются, то, наоборот, растекаются на десятки отраслей. Традиционные искусства и ремесла преобразуются, делятся, меняют путь и лицо. Спрос на индивидуальность, на разнообразие знаний, на неожиданность таланта растет стремительно. Кто решится сегодня определить, что из прочитанного отзовется благом через десять, пятнадцать, тридцать лет? Чем шире захват, чем своеобразней интересы, тем больше вероятность, что в нужный момент в нужном месте поколение выдвинет личность с необходимым обществу дарованием.

Будем же терпимее к сегодняшним юным упрямам, к пятнадцатилетним «еретикам» и «мизантропам», к розовощеким ниспровергателям научных основ, к их хаотичной, однобокой, смешной «эрудиции».

Давайте осторожнее проводить грань между нездоровым любопытством и здоровой любознательностью.

Первое правило врача — не вреди!

Люди учатся на ошибках — и своих и чужих. А у классиков, даже в самых спорных и неверных главах, все равно есть нечто драгоценное и высокое: сам уровень мышления, поднимающий читателя к пределу его сегодняшних возможностей и пребывающий путь к возможностям завтрашним.

Так пусть уж юные книголюбы учатся на «спорных» мыслях гениев, а не на грамматических ошибках решительного, но неумелого наставника.

На второй и третьей страницах обложки этого номера воспроизведены четыре работы Л. и М. Ройтеров. Представленные здесь рисунки и акварели — лишь небольшая часть широкой ретроспективной выставки двух интересных художников, прошедшей в Центральном доме работников искусств в начале этого года.

Липа Григорьевич и Михаил Григорьевич родные братья, их жизненные пути во многом схожи. Схоже и их отношение к современной теме: они стремятся отразить в своих работах окружающую жизнь и все то новое, что рождается в ней. Схожесть еще и в том, что оба они являются художниками-графиками и, стало быть, чаще всего имеют дело с листом бумаги. Однако творческий подход к этому белому листу у каждого разный, и это различие художнических манер представляет особый интерес для зрителя.

Л. Ройтер сформировался как художник еще в предвоенное время. Читатели старшего поколения помнят популярный литературный журнал «30 дней», выходивший в тридцатые годы. Он был такого же формата, как «Юность», в нем так же было много иллюстраций, он так же, как «Юность», объединял вокруг себя молодых художников.

А молодыми в то время были Кукрыниксы, В. Горяев, Ю. Пименов, Е. Бургуинкер, А. Каневский и другие известные ныне мастера. На страницах этого журнала впервые появились и рисунки студента художественного института Л. Ройтера. Его учителями были В. Фаворский и К. Истомин, его увлечение той поры — торцовая гравюра на дереве, иллюстрации к произведениям М. Салтыкова-Щедрина, А. Островского, В. Маяковского.

Великая Отечественная война прервала работу художника над классиками литературы. Начался другой период и другой отсчет времени: дни и годы тяжелого солдатского ратного труда. Однако и на войне Л. Ройтер был не только солдатом, но и художником. Он не расставался с карандашом и походным блокнотом. Его фронтовые рисунки и по сей день привлекают нас своей острой проницательностью, мастерством, теплым лирическим отношением к «чатуришкам» — солдатам-одиополчанам.

После войны Л. Ройтера, как и многих графиков 50-х годов, захватил эстамп, и главным образом гравюра на линолеуме. В своей ра-

**Юрий
ЦИШЕВСКИЙ**

ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА

боте он всегда находился под благотворным влиянием могучей личности своего учителя Владимира Фаворского, создавшего стройную теорию художественной композиции, неустанно утверждавшего, что искусство художника — это особый метод познания природы, познания природы.

В последнее время Липа Григорьевич уделяет много внимания простому рисунку карандашом. На последней выставке экспонировалось немало его интересных карандашных портретов и пейзажей. Среди этих рисунков — и портреты наших спортсменов. На второй странице обложки этого номера воспроизведен портрет студентки, мастера спорта Ольги Абрамовой, выполненный очень скупыми и лаконичными средствами, но выразительный, оригинальный.



Л. РОЙТЕР.
Мастер спорта Юлия Савельева.

Младший Ройтер — Михаил значительно позднее своего брата окончил Суриковский институт. Много работал в различных техниках эстампа — в линогравюре, офорте, литографии, создал интересный цикл иллюстраций к произведениям Ф. Достоевского. Но больше работ М. Ройтер создал в поездках по нашей стране. Его жажда увидеть все новое и интересное, чем так богата жизнь советских людей, неиссякаема. Он влюблен в молодых строителей Братска, пограничников Камчатки, рыбаков Мурманска. Его трудно заставить в Москве, он всегда где-то в дальних поездках, а если уж и в Москве, то обязательно с блокнотом где-нибудь на стадионе. Спорт — одна из его любимых тем.

На выставке в ЦДРИ было представлено много его акварелей. Акварель — это последняя страсть М. Ройтера. В этой сложнейшей технике он добился больших успехов. Акварель стала любимым занятием многих наших графиков, и если в былые времена она считалась второстепенной по сравнению с живописью масляными красками, то теперь приобрела значение самостоятельного жанра.

Из своих последних поездок по нашей стране и зарубежным странам М. Ройтер привез много интересных акварельных пейзажей. Это и ленинградские белые ночи, и тихие речушки Забайкалья, и каналы Венеции, и чудесная сказка Кижей, и бескрайние степи Монголии, и современные улицы Москвы, и голубые лагуны Адриатики в Югославии.

Оба художника, которых мы сегодня вновь представляем читателям, всегда были близки к «Юности». Их работы много раз публиковались на страницах нашего журнала. Михаил Ройтер имеет особое пристрастие к творческой молодежи. И не случайно Союз художников часто привлекает его к руководству молодежными группами в домах творчества. Некоторые талантливые молодые художники по рекомендации М. Ройтера были представлены «На стендах «Юности».

Хочется пожелать братьям Ройтерам навсегда сохранить присущие им качества — доброту к людям, непосредственность, неиссякаемую жажду творчества.



КРУГ
ЧТЕНИЯ



ПЕЧАТЬ ПОБЕДЫ

Позтов военного поколения невозможно представить вне общего ряда, но в этом ряду все они поразительно разные. В отличие от многих Юрий Левитанский существует для нас только своими послевоенными стихами («Воспоминание о красном снеге», «Художественная литература»), как будто вовсе не было стихов, написанных до войны и на фронте. Момент, с которого начинается отсчет времени его поэзии, четко обозначен строфой:

Пыль очищена, грязь
и — конец войне.
Ничего у меня не скоплено,
все мое — на мне.

Дело вовсе не в том, что ранние стихи слабы и недостойны нашего читательского внимания, вопрос серьезней. Просто Левитанский, мне кажется, взял от войны совсем не то, что другие. Другим она оставила круг тем и негаснущую боль, Левитанскому же — некую верховную позицию, на которой лежит печать не столько собственно войны, сколько Победы. Высшее удовлетворение, которое дается человеку, выполнившему труднейший долг, сформировало музу Юрия Левитанского, предоставив ей высокое право улаживать гармониями стиха дисгармонии текущей действительности. Например: «В Москве меня не прописывали. Загород мне прописывали. ...Поселюсь в лесопарковой зоне. Поселюсь на зеленом газоне. Книжку выну. Не кипжку чеховую, а хорошую книжку, Чехова... А потом усну в тишине. Сон хороший приснится мне. Будто я лежу молодой под Москвой, на передовой. Никакой у меня обиды. Два дружка у меня убиты... Одиа мысль у меня в мозгу: не пушу я врага в Москву...»

Не скажу, что это отрывочно процитированное стихотворение — из лучших у Левитанского, но оно из характернейших. Житейский конфликт гармонично улажен, никто ни на что не обижен, но мы-то помним что почему. Благодушие иаводит на мысли и тант зародыш взрыва.

Собранные под одной обложкой, стихотворения из трех сборников дают возможность проследить за тем, как тает молодое послевоенное благодушие, уступая место иному чувству правоты — зрелому, осознанному, жесткому.

Но на этом зрелом чувстве — все та же печать Победы, то же сознание выполненного долга, которое дается честно прожитой (и не обязательно на фронте) жизнью.

Есть в этой новой книге стихи, которые, едва появившись (не в сборниках даже, а в переподке), сразу легли на сердце и для многих людей вошли в число любимых произведений поэзии. Такой удивительной удачей было у Левитанского поистине хрестоматийное стихотворение:

Собирались наскоро,
обнимались ласково,
пели, балагурили,
пили и курили.
День прошел — как не было.
Не поговорили...

Жаль, нет возможности широко цитировать лучшие стихи книги. Все же заметим, что больше всего таких стихотворений попало в нее из наиболее позднего сборника, «Кинематограф». Несомненно, что в процессе эволюции поэзии Левитанского стихи его менялись в лучшую сторону. Так бывает далеко не у всех поэтов, и нам остается порадоваться за Юрия Левитанского, который пишет сейчас сильнее, чем прежде, а также за себя, потому что впереди у нас новые встречи с его поэзией.

Дмитрий
СУХАРЕВ

ВЫБОР ЦЕЛИ

Современная проза все заметнее приобретает вкус к «деловым разговорам», к изображению тех производственных и профессиональных споров, в которых раскрываются гражданские, нравственные принципы героев.

Столкновение несхожих жизненных позиций четко прорисовано и в романе О. Попцова «Именительный падеж» («Московский рабочий»). По сравнению с основным конфликтом, выполненным художественно полнокровно, второстепенные линии романа проигрывают. Иногда автор излишне скован, суховат, как бы держит себя за руку там, где необходима большая свобода изображительных средств (скажем, разговоры героев на пикнике, на рыбалке немногим отличаются от споров на редакционной летучке, автор не позволяет героям, фигу-

рально говоря, распустить галстук), иногда частная история неоправданно разрастается композиционно (жизнеописание Гречушкина в третьей части романа).

Но главное, ради чего написан роман, автору удалось. Напряженный моральный конфликт Максима Углова с товарищами по работе и прежде всего с самим собой, его растущая готовность сполна ответить за ошибку, допущенную им когда-то, раскрыты Олегом Попцовым изнутри, психологически убедительно. Уверенно чувствует себя прозаик в показе непростых взаимоотношений Максима с Шуваловым и Чередовым. У каждого из этих руководителей крупных печатных изданий, асов журналистики — своя профессиональная и житейская платформа, которая между тем выявляется вовсе не прямолинейно. Автор романа показывает, как столкновение различных моральных принципов является одновременно и борьбой самолюбий, ареной самоутверждения каждого из героев.

Роман читается с интересом и напряжением. В нем немало острых сюжетных коллизий. Но если говорить о кульминации произведения, то, на мой взгляд, она в разговоре Максима Углова с секретарем райкома, когда прозвучали верные и точные слова о том, что подлинный талант способен к высшей степени понимания и доверия. Именно этот разговор придал Максиму силы для того, чтобы признаться в давней ошибке, которая столько лет тяжким грузом лежала на его плечах, и попытаться начать жить по-новому, не заново, но по-новому.

Валерий
ГЕЙДЕКО

АТЛАНТИДА ПОТЕРЯННАЯ И НАЙДЕННАЯ

Этот загадочный остров будоражил воображение человечества много веков. Его называли колыбелью разума, обиталищем наших счастливых и мудрых предков, предтечей современных цивилизаций.

В книге И. Резанова «Атлантида: фантазия или реальность?» («Наука», 1976) прекрасная старая мечта исчезает в просторах Атлантического океана уже навсегда, окончательно, не потому, что океан когда-то безвозвратно поглотил

этот таинственный остров или материк, а потому, что Атлантиды в Атлантике никогда не было.

Самые новейшие факты, результаты длительных исследований, щедро выложенные автором перед читателями, неумолимо и категорично изгоняют и без того туманную и неопределенную в своих очертаниях Атлантиду с привычного, традиционного, можно даже сказать — освященного веками места «за Геракловыми Столпами».

Логика фактов неотразима, и читателю остается только склониться перед ними, равно как и перед эрудицией автора, изучившего гигантские по объему геологические и океанологические материалы, чтобы затем преподнести их читателю в той самой выразительной, простой (но не упрощенной!) форме, которой владеют только убежденные и умеющие убеждать.

Тем более, что, хороня извечные представления о великом острове в Атлантике, И. Резанов тут же воскрешает Атлантиду в районе для нас неожиданном, хотя и хорошо в общем-то знакомом.

И снова — поток аргументов, неизвестных, забытых и совершенно новых фактов, поражающие стройностью логические сопоставления неудержимо увлекают читателя к центру Древнего Эгейского моря, к району островка Санторина, где, по мнению И. Резанова, и покоится та самая легендарная Атлантида.

Возможно, рассуждения И. Резанова, с точки зрения специалистов, в чем-то (если не во многом) уязвимы. Не исключено, что в отдельных вопросах его смогут опровергнуть лингвисты, историки и археологи.

Перед нами не последнее и окончательное слово атлантологии — это было бы обидно и грустно: «последнее слово», а только современный этап древней гипотезы! Не это главное. Написанная серьезно и сдержанно, книга захватывает не менее много детектива, потому что основное в ней — неудержимое движение торжествующей человеческой мысли.

Семен
ГРАВИН

ПОДСКАЗАНО СЕРДЦЕМ

В его стихах — неповторимый «дух» родной Смоленщины, ее густых лесов, травяной запах лугов под солнцем, сиреневый настой сада и терпко-прелого листа под ногами в позднюю

осень. В его стихах — «распахнуто-щедрая» к человеку природа, умеющая безвозмездно одарить красотой восхода и заката, необозримой ширью хлебных угодий, неповторимой трелью малой лесной птиц...

Да, такой уж он, Юрий Пашков, смоленский парень, и все, что прочтем в его книжке («Хлебозор», «Молодая гвардия», 1976), все так и есть на самом деле, в жизни... «И все в одной деревне?» — скажете вы. «Нет, — возражу я, — глядите шире, глубже. В ней, в этой его маленькой книжечке, обязательно найдете вы отзвук собственным сокровенным мыслям, чувствам и подивитесь, какие добрые, точные, а порой неповторимые слова нашел поэт, чтобы рассказать нам о многом и про нас самих».

...На земле все добыто трудом. И в книге Ю. Пашкова лучшие стихи — о труде. Даже гармония в природе, «строй, отработанный чисто, диких гусей в небе, по убеждению поэта, — не прихоть, а труд».

«Работают» в книжке даже сами названия стихов: «Шумит-звонит спучая роса...», «За увалом прорвалась деревня...», «Искусство сажать деревья...», «Перебралась изба в поселок...».

Но земляки поэта и прадедники умеют праздновать, и плясать, да петь от души. И песня — это и воспоминание, и счастливое и грустное. Самое грустное — война. Тогда поэт был совсем маленьким, но он многое сохранил в памяти. Детей, привезенных из голодной блокады: «раненым взрослым солдатам пацаны были в чем-то равны», с ними готовы были делиться деревенские ребята последним сухарем. И того генерала, в котором четыре года кровавой битвы за Родину не убили мирного пахаря, навеки привязанного любовью к полю. И бабушку Настену, которая

...душой сливалась с мятой
И с ромашкой на лужке,
С пухлым облаком, намятым,
С тихой темью в бочаге.

Прост и неизыскан язык поэта. А в том, что Юрию Пашкову стихи подсказаны сердцем, сомневаться не приходится.

Алексей
ТУРБИН



В гербе города Баку — три огня, горящие на черном фоне. Этот фон — нефть. Ее присутствие ощущается повсюду. Нефтяные вышки странным железным лесом стоят до самого горизонта по обе стороны шоссе, которое ведет в город из аэропорта. И когда выходишь из самолета, горячий воздух несет с собой нефтяное дыхание Апшерона.

Само слово «нефть» звучит здесь буквально на каждом шагу. Его встречаешь в газетах и слышишь по телевидению, оно в названии любимой футбольной команды и лучшей улицы города — Нефтичлар, проспекта Нефтяников. Нефть — гордость бакинцев.

Но нефть не только великое благо. Она может обернуться и бедой — для природы, для моря, для человека.

Море и нефть переплелись сегодня в целый узел проблем — человеческих, научных, экономических, государственных. И не случайно девять лет назад специальное постановление о борьбе с загрязнением Каспия принял Совет Министров СССР. А в июне прошлого года в Кремле собрались Постоянные комиссии по охране природы обеих палат Верховного Совета СССР. И главной темой разговора на их совместном заседании снова стал Каспий.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Много столетий жил человек в мире с Каспием, как с большим, своенравным, но очень ручным, по все же более или менее домашним животным. Извлекал из него немалую пользу: ловил в нем красную рыбу, плавал вдоль его берегов на лодках, стругах, фелюгах и корветах...

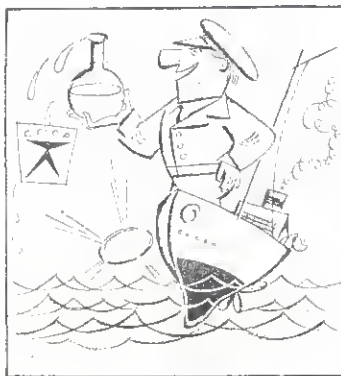
Мирная идиллия кончилась лет сто назад, когда в Баку ударили первые нефтяные фонтаны. Полились в море нефть, керосин, мазут.

Шли десятилетия. Добытую нефть стали мерять уже не пудами, а тысячами тонн. И все больше ее попадало в море. Нефтеперерабатывающая промышленность и нефтеперевозка, балластные воды танкеров, пробужденные морским бурением подводные нефтяные фонтаны-грифоны — целая река нефти полилась в Кас-



Алексей
ИОРДАНСКИЙ,
Александр
ЧАПКОВСКИЙ

ТЫ И ТВОЙ КАСПИЙ



Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

пий. А центр большой химии Азербайджана — Сумгаит в до-полнение к нефти «дарил» Каспию такие вещества, как сульфанол, серная кислота, фенол, даже ртуть...

Радужная нефтяная пленка на воде — это довольно красиво, но смертельно опасно для всего живого, что обитает в море. Пленка не пропускает воздуха, без которого не могут жить ни рыбы, ни крабы, ни зоопланктон. А ведь на поверхности остается только часть нефти. Другая ее часть в виде эмульсии распространяется по всей водной толще — от этого гибнет планктон, необратимо нарушается жизнедеятельность рыбных организмов. Одна десятая грамма нефти загрязняет кубометр воды, а если в том же кубометре наберется грамм нефти, то уцелевшая рыба приобретает стойкий керосиновый запах, избавиться от которого невозможно.

Самые тяжелые фракции нефти садятся на дно, пропитывая ил. От него гибнет живое донное население — бентос, разные моллюски, рачки, черви, которые, между прочим, составляют 80% пищевого рациона осетра.

И начало давать перебои сердце Каспия — его отлаженный тысячелетиями естественный круговорот жизни.

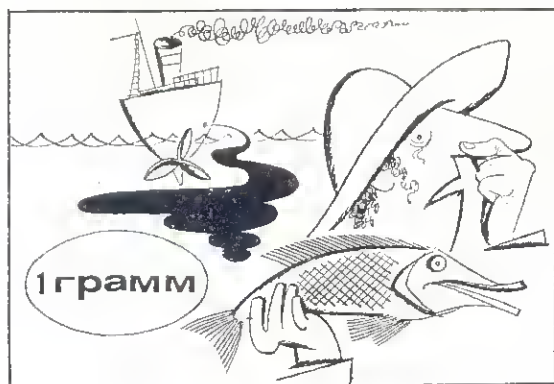
НЕ НАДО БОРЬТЬСЯ ЗА ЧИСТОТУ...

После всего, о чем мы только что рассказали, такой подзаголовок может показаться странным. Но не будем забывать, что это только первая половина известной формулы Н. Ильфа. Вторая же, более конструктивная ее половина гласит: «...надо убирать!» А вот и иллюстрация к этой глубокой истине, почерпнутая из истории одного из сумгаитских предприятий.

Не надо думать, будто сумгаитские химики не знали, что загрязнять море нехорошо. Наверняка знали! И призыв охранять родную природу, несомненно, был им знаком. И все-таки...

Вот что рассказывал корреспондентам в 1968 году очевидец и участник тогдашних событий, заместитель главного инженера сумгаитского завода синтетического каучука А. К. Байрамов:

— Завод наш пустили в 1952 году без всяких очистных сооружений. В те годы все не только привык-



ли к такому положению, по и считали совершенно нормальным, что в море можно спускать и негодное сырье, и бракованную продукцию, и любые отходы. Дошло наконец до того, что положением на заводе занялся Комитет народного контроля СССР. И только после этого, в конце 1967 года, у нас была создана специальная служба сточных вод, которую возглавил заместитель главного инженера. Вначале работать было нелегко... Но, во-первых, на моей стороне был закон: мои распоряжения, касающиеся стоков, обязательны. А во-вторых, дело ведь не только в том, чтобы запретить тот или иной сброс: запрет — это решение не инженерное; важнее было то, что мы с начальниками цехов разрабатывали технические решения, позволявшие предотвращать сбросы.

До сих пор еще многие хозяйственники, когда им предъявляют обвинение в порче природы, оправдываются: все верно, надо, дескать, строить очистные сооружения, да дорого это, денег нет. А раз нет, значит, ничего не поделаешь, пусть идет как идет... Именно так и работал завод синтетического каучука в те времена, о которых рассказывал Байрамов. А результаты такой деятельности — смотри выше.

Очистка стоков обходится недешево. Особенно в химической промышленности — ее технологические процессы дают особо богатый букет чрезвычайно токсичных загрязнений. Именно поэтому все больше сторонников приобретает сейчас идея безотходного производства, которому вообще не нужны очистные сооружения, потому что нет и сточных вод: все отходы и побочные продукты превращаются во что-нибудь нужное и полезное тут же, как только возникают. Химическая промышленность — идеальное поле деятельности для приверженцев этой идеи: сейчас она одна из самых «грязных», но потенциально может стать одной из самых чистых, потому что, как было сказано еще в прошлом веке, «в химии нет грязи: грязь — это химический продукт в неподходящем для него месте». Вспомним хотя бы Первомайский химический комбинат, о котором на страницах «Юности» шла речь два года назад (в № 4).

Когда на заводе синтетического каучука, не дожидаясь посторонней помощи, всерьез взялся за дело, уже за первые два года химическое загрязнение сточных вод удалось уменьшить ни много ни мало в двадцать раз! И главное, на это не потребовалось почти никаких капитальных затрат. Просто вместо того чтобы бороться за чистоту теоретически, работники завода взяли в руки по «метле» и приступили непосредственно к уборке...

— Теперь все изменилось, — говорит сегодня, девять лет спустя, А. К. Байрамов. — Построены и ра-

ботают на полную мощность очистные сооружения. А о чистоте среды заходит речь на всех ответственных совещаниях. Если какой-нибудь цех оказывается виноватым хоть в небольшом загрязнении, то плохо приходится начальнику цеха! И важно, что все об этом думают. Вот сегодня с утра мне звонит рабочий из цеха — говорит, что цех сбрасывает неочищенные стоки. Я приезжаю, смотрю — верно. Ну, конечно, сброс прекратили, все уладили, а я вспомнил, что даже не спросил, кто звонит. Потом выяснил: звонили с комсомольского поста — у нас такие посты почти в каждом цехе, и они чуть что замечают — сообщают мне.

Еще раз: не нужно бороться за чистоту — нужно убирать. Это должны прочувствовать и усвоить и министры, и директора, и буровые мастера нефтепромыслов, и аппаратчики Сумганта, и дошкорманы с танкеров.

Кстати о танкерах. Танкеры Каспийского пароходства внесли немалый «вклад» в отравление моря. Лет десять назад инспектора рыбоохраны даже говорили о них спокойно не могли.

— Ведь что делают! — рассказывала тогда инспектор Южксприбвода И. Г. Мотохова. — Слил танкер балласт — мы капитана штрафует. 50 рублей штрафа — это самое большее, что мы можем. Ну что ему эти полсотни? И то он приходит в Баку — и сразу в пароходство жаловаться, а там ему премию: те же полсотни, а то и больше. План-то он выполнил, а за море с него не спрашивают!

А что было делать капитану? Без балласта, порожняком идти плохо, а если шторм — вообще нельзя. А перед погрузкой нужно же как-то освободить танки.

Считалось, что балласт нужно сдавать на сборный пункт: был один такой пункт, а попросту — слегка пе-



реоборудованный старый танкер. Только пункт этот был всего-навсего один. Хорошо, если он случался поблизости, да и то надо было еще своей очередью дожидаться, как будто бутылки сдаешь. А план торопил...

Многое с тех пор изменилось. Расширены права инспекторов — теперь капитанов, в частности, можно штрафовать уже не на какие-нибудь полсотни, а на очень ощутимые суммы, которые, пожалуй, никакими премиями не покрыть. Да только штрафовать теперь некого. Танкеры не сливают балласт в море, а сдают на сборные пункты. И не потому что капитаны все как один раскаялись и дали страшную морскую клятву больше моря не загрязнять. Просто теперь сборных пунктов много, и расположены сли-

езде, где может понадобиться слить балласт. Вот и не плавают больше по морю ярко-рыжие мазутные блики в сотни и тысячи квадратных метров, какие десять лет назад встречались здесь чуть ли не на каждом шагу.

ДОХОДЫ ОТ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ НЕМНОГО АЛХИМИИ

Мы приносим читателю извинение за то, что вынуждены привнести здесь некоторые цифры. Ничего не поделаешь — дело серьезное, одним восклицаниями тут не обойдешься. А цифры говорят о многом.

98 миллионов рублей вложено в Азербайджане за девятую пятилетку в водоохранные мероприятия. На эти деньги строились очистные сооружения и катера-нефтеборщики, переоборудовались морские нефтяные скважины и сооружались системы оборотного водоснабжения на предприятиях.

Постоянный поиск в этом направлении ведут не только в Баку; о чистоте Каспия думает вся страна. Вот, например, последние работы головной организации по очистке сточных вод ВНИИВОДГЕО — о них рассказал нам видный специалист института профессор И. А. Монгайт.

Одно из самых распространенных очистных сооружений — нефтеловушка, длинный резервуар, похожий на дорожку в плавательном бассейне. Сточная вода медленно протекает по нефтеловушке и разделяется — загрязнения потяжелее оседают на дно, а легкие, в том числе нефть и нефтепродукты, всплывают на поверхность. Остается только снять нефтяную пенку и удалить грязь со дна.

Но такие нефтеловушки громоздки — глубина их обычно около двух метров, да и вода течет по ним очень медленно. Сотрудники ВНИИВОДГЕО разработали новые нефтеловушки, принципиально отличные от прежних. Они, как слоеный пирог, разделены множеством горизонтальных перегородок. И отстаивание воды происходит в каждом тонком слое этого «пирога». Примеси достигают и дна и поверхности гораздо быстрее, их путь стал короче, это уже не два метра, а десять сантиметров! Эффективность нефтеловушки увеличивается в пять-шесть раз, хотя объем ее остался прежним.

Но часть углеводородов, входящих в состав нефти, таким способом нельзя извлечь — они не отстаиваются, потому что растворены в воде. С ними воюют иначе.

Легкие их фракции можно подвергать биологическому разложению. А вязкие углеводороды разлагаются хуже. Приходится значительно увеличивать время обработки, объем сооружений. Вот тут приходят на помощь вещества, способные связывать их — сорбировать. Небольшое добавление к обрабатываемой воде таких веществ — полиэлектролитов, всего пять граммов на кубометр, позволило легко справиться с тяжелыми углеводородами и почти в шесть раз уменьшить время пребывания стоков в аэротенке (сооружении для биологической очистки сточной воды), а это значит, что один аэротенк стал работать за шестерых.

Разработаны и внедрены флотационные методы. Их суть в том, что при увеличении давления повышается растворимость воздуха в воде. Если загрязненную воду сначала насытить воздухом под давлением, а потом выпустить «на свободу», избыточный растворенный воздух начинает мелкими пузырьками тянуться вверх, как в откупоренной бутылке лимо-

нада. Пузырьки увлекают за собой нерастворенные нефтепродукты и выносят их на поверхность, откуда их легко снимают. А чтобы еще улучшить условия флотации, в воду добавляют химические реагенты — те же полиэлектролиты, например.

Новшества, разработанные во ВНИИВОДГЕО, внедряются и на последней стадии очистки — фильтрации. Вместо обычного песка фильтры загружают полиуретановой крошкой. Этот материал очень дешев: ведь полиуретан — это не что иное, как поролон, из которого на мебельных фабриках делают мягкую набивку для кресел и диванов. Довольно много его попадает в отходы. А между тем у полиуретановой крошки есть очень полезное свойство — она способна впитывать в себя нефть. Насытилась крошка нефтью, ее забирают транспортером на вальки, отжимают — и снова в дело!

Так на каждом этапе технологического процесса очистки сточных вод ученые предлагают новые методы, совершенствуют старые. Связь науки и производства становится все крепче.

Сегодня загрязненных стоков в водоемы Азербайджана, а значит, и в главный из них — Каспий попадает намного меньше. На многих, когда-то самых грязных предприятиях заметно улучшилась очистка сточных вод. В Кремлевском зале, где заседали комиссии Верховного Совета, были развешаны разнообразные схемы и диаграммы, в среди них — кривые загрязненности стоков некоторых заводов. Приятно было смотреть на эти круто падающие вниз кривые. 200, 300, 550 и больше миллиграммов нефти в литре в начале прошлой пятилетки — и 10, 20, 45 миллиграммов в 1975 году.

И при этом оказалось, что очистка стоков не такое уж кругом убыточное дело. За это время в Азербайджане извлекли из сточных вод 2 миллиона тонн ценных продуктов, в том числе 1,8 миллиона тонн нефти, целый постоянно действующий нефтяной фонтан! Полезные вещества, добытые из стоков, оценены в 30 миллионов — они окупали почти треть всех затрат на строительство водоохранных объектов!

Получать золото из грязи — вековая мечта алхимиков. И вот практика показывает, что эта мечта не столь уж несбыточна. И даже не только в переносном, но и в самом прямом смысле — из грязи действительно уже добывают, правда, не золото, а серебро.

«Философским камнем» служит для этого новый способ химической очистки пластовых вод. Его предложили азербайджанские нефтяники вместе с сотрудниками Института нефтехимических процессов Академии наук республики.

Способ этот состоит в следующем.

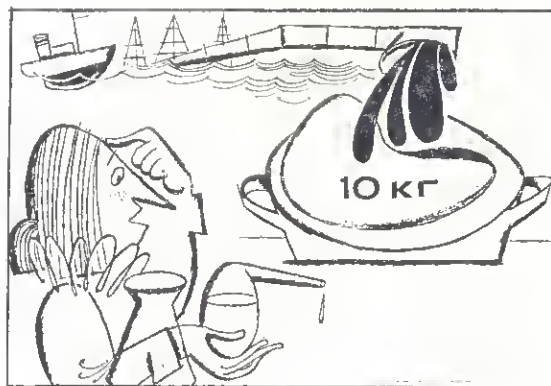
Серебро, а также другие ценнейшие вещества — магний, бор, бром — содержатся в пластовых водах, которые извлекают на поверхность при бурении скважин. Эти воды тоже сильно засоряют водоемы, куда попадают, в том числе и море. А обработка новым способом позволяет не только очистить их от нефти и нефтепродуктов, но и извлечь серебро и другие полезные вещества. Установка для очистки очень проста: насос, отстойник и резервуар для чистой воды. В осадке, который выпадает на дно отстойника, и остается серебро. На одной такой установке в Баку каждый день извлекают из проходящих через нее 10 тысяч кубометров пластовых вод 10 килограммов серебра.

То-то удивлялись бы алхимики!..

Так прокладывает себе дорогу новый подход к производству: утилизировать отходы, превращать их в продукты полезные. В вышешую пятилетку такой подход приобретает особое значение: ведь чистая вс-

да — это качество, качество работы очистных сооружений, а если посмотреть на дело шире — качество среды, в которой мы живем. Безотходное же производство означает повышенную эффективность технологических процессов и разумное, максимально полное использование ресурсов.

Но, помимо производственной необходимости, помимо подсчетов рентабельности, помимо пресловутой дилеммы «нефть или рыба», есть в проблеме Каспия еще одна, пожалуй, самая главная сторона. Естественно, что у нефтяников — свои дела и задачи, у рыбаков — свои. Но, когда речь идет о природе, нельзя отдавать предпочтение интересам одной какой-нибудь отрасли. Да, нефть нужна. Нужна и рыба. Но



еще людям нужно чистое небо, чистые берега, чистое море. Всем людям! И люди могут и должны все это иметь. Море можно и должно эксплуатировать культурно. Так добывать нефть, чтобы не упускать ее в море; так эту нефть перевозить, чтобы не сбрасывать балластные воды; так ее перерабатывать, чтобы не спускать в море отходы... Просто все это нужно делать.

— Новое, коммунистическое отношение к своему краю, — говорит председатель Азербайджанского общества охраны природы академик Г. А. Алиев, — надо, если можно так выразиться, воспитывать комплексно. Создавая в 1963 году наше Общество, мы думали не только о Каспии. Задача была поставлена шире — привить молодежи республики любовь к родному краю, повысить ее общий культурный уровень. В нашем ежеквартальном журнале «Природа Азербайджана» выступают на равных представители науки, культуры, техники. Фотография-обывания, где показаны султаны дыма над заводскими трубами или неочищенные стоки, бегущие в море или озера, соседствуют в нем просто с видами природы Азербайджана, с фотографиями его неповторимых по красоте уголков. Если человек проникнется красотой родной страны, он сам догадается, что ему — именно ему — следует делать, чтобы сохранять ее природу.

Академик не зря говорил в первую очередь о молодежи. И правда, кому, как не ей, бороться за чистоту родного Каспия! Ей, нынешней молодежи, предстоит прожить с ним жизнь, пользоваться его шедеврами благами.

В Совете молодых ученых и специалистов при ЦК АКСМ республики создана специальная секция охраны природы и рационального использования природных богатств. На предприятиях появились комсомольские посты и «пржекторы». Помните, о сигнале одного такого поста говорил А. К. Байрамов?

— Группа молодых ученых под руководством ЦК АКСМ, — рассказывал нам заведующий отделом науки ЦК АКСМ Азербайджана А. М. Алексеев, — выдвинула даже проект очистки бакинской бухты. Ан-ха беда начало! В плане нашей работы стоит проведение всесоюзной конференции по охране окружающей среды. Главный вопрос, конечно, — Каспий. Молодежь других республик наверняка подскажет какие-то свои решения, подкрепят опытом. Проблема стоит того, чтобы над ней поломали головы молодые ученые страны!

И НЕВОЗМОЖНОЕ — ВОЗМОЖНО

Девять лет назад в разговоре с корреспондентом тогдашний заместитель министра нефтедобывающей промышленности Азербайджана А. Б. Сулейманов сказал:

— Постановление Совета Министров СССР — это приказ, который мы все обязаны выполнять. Но самый главный приказ может дать человек только сам себе...

Много воды (в том числе и сточной!) утекло с тех пор. Нет теперь в республике нефтедобывающего министерства — есть два объединения: «Азнефть», которое добывает нефть на суше, и «Каспморнефть», которому отданы все морские промыслы. А Сулейманов по-прежнему работает в Баку, он теперь генеральный директор «Каспморнефти».

— Загрязненной нефтью воды от нас попадает в море в двадцать раз меньше, чем девять лет назад, — говорит сегодня Сулейманов. — А в скором времени морские промыслы вообще покончат со сточными водами.

Добиться таких результатов было совсем непросто. Многие сомневались: а можно ли вообще уберечь море от попадания нефти, если бурение ведется с открытых платформ? Нефть-то, она жидкая, она течет, льется...

Такие сомнения приходится слышать всякий раз, когда нужно сходить с накатанной колеи и придумать что-то новое, непривычное. Те же нефтяники всю жизнь вели разведку на нефть сейсмическим методом: устраивали взрывы и по тому, как пробегает в толще земли взрывающая волна, определяли расположение нефтяных пластов. На первых порах сейсморазведку применяли и в море. А что такое взрыв под водой, знает всякий, кто смотрит «Фитиль» или читает захватывающие очерки о ловле браконьеров. После такого взрыва во всей округе всплывают кверху брюхом и кильки и пудовые осетры. Не один год воевали рыбохозяйственные органы с нефтегазразведчиками и все время слышали в ответ: да разве можно без этого? Оказалось, можно! Взрывы на Каспии были запрещены еще в 1968 году. И ничего, и без взрывов нефтяные вышки шагнули с тех пор далеко в море, нефтяники осваивают все новые и новые морские месторождения...

Так было и с загрязнением моря нефтью. Старые методы здесь явно не годились, нужно было многое менять. И изменяли!

— Наша основная ошибка, — рассказывает заведующий сектором бурения бакинского института «Гипроморнефть» кандидат технических наук Б. А. Гулпиев, — состояла в том, что все буровое оборудование, какое применялось на суше, было механически перенесено на море. Первые морские буровые были похожи на сухопутные, как близнецы.

Что же изменилось теперь в облике скважины?

Все буровое оборудование морских установок на-



дежно защитили поддонами. На платформах устроили герметический настил со специальными воронками — все подтеки уходят в них и собираются в специальную емкость. Это был первый шаг. Потом появились цистерны для сбора излишков бурового раствора. Он содержит много токсичных веществ. Раньше излишки просто выпали в море, а теперь собирают. В цистерны попадают и все другие отходы: буровой шлам, собранное в поддонах масло, отработанная промывная вода. Когда цистерна наполняется, к буровой подходит крановое судно, забирает цистерну и вывозит на берег. Бывает, что судно задерживается, и тогда бурение прекращают, ждут, когда сменят цистерну. На каждой буровой теперь свой ответственный за загрязнение — он ни за что не допустит, чтобы отходы попадали в море.

— Сейчас мы начинаем бурить в море скважину на 5500 метров. И там, я вам скажу, все предусмотрено. Будем бурить как надо, чтобы ничего в море не попало!

Это сказал на заседании комиссии в Кремле И. С. Гусейнов, буровой мастер с Нефтяных Камней, депутат Верховного Совета СССР.

КАК БУДЕТ

Можно научить людей бережному отношению к природе. Но научить саму природу не пасылать стихийные бедствия невозможно. Шторм может снести километры эстакады, и тогда тысячи тонн нефти уйдут в море. Льды могут разрушить буровую...

Борьба с авариями — самое трудное в работе нефтяников. И здесь еще достаточно нерешенных проблем.

Когда нефть попадает в море, прежде всего нужно не дать ей растечься. Для этого используют боновые заграждения — длинные плавающие ленты, вроде тех, какими разделяют дорожки в плавательных бассейнах. Потом к месту аварии подплывает нефтесборщик, который собирает с поверхности моря и увозит воду, перемешанную с нефтью.

Все это выглядит просто, но дело это необычайно трудоемкое.

Существуют и катера-нефтесборщики. Такие катера можно увидеть, например, в Бакинской бухте: они начисто «подметаю» акваторию, собирают с поверхности моря всю грязь: нефть, доски, бумажки, всякий мусор. Для открытого моря они не годятся, нужен специальный танкер. Такой танкер сейчас проектируют в Одессе.

Облаки будущих морских буровых, гарантированных от всяких случайностей и капризов стихии, уже вырисовывается в разработках института «Гипроморнефть». Все скважины будут оборудованы автоматикой.

Если, к примеру, ледяное поле сдвинет платформу, отклонит ее от вертикали хотя бы на 1—2°, скважина автоматически отключается. Сигналы, сообщающие о любой аварии, будут немедленно поступать в Баку. Здесь будет базироваться специальная аварийно-спасательная экспедиция для ликвидации разливов нефти — созданием такой экспедиции занимается сейчас Министерство морского флота СССР в сотрудничестве с американскими специалистами из береговой охраны США. По сигналу с буровых на берег поднимутся в воздух вертолеты с боновыми заграждениями, выйдут к месту аварии суда-нефтесборщики. Аварийные разливы нефти будут ликвидироваться так же быстро, как сейчас городские пожарные команды управляют с большинством пожаров.

Это, правда, пока еще будущее, хоть и не такое уж далекое.

Но уже сегодня ясно видны перемены, наступающие на берегах Каспия. Наглядной их иллюстрацией может служить развернувшееся переоборудование бакинских нефтеперерабатывающих заводов. Конечно, главная его цель — это рост производительности, увеличение мощности единичных агрегатов, улучшение качества выпускаемой ими продукции. Но не забывают проектировщики и о другой стороне проблемы — о необходимости гармоничного сочетания интересов нефтеперерабатывающей индустрии и других отраслей хозяйства, о сохранении окружающей среды.

В декабре прошлого года на Ново-Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Владимира Ильича был введен в действие новый мощный производственный комплекс. И вот что сказал тогда на митинге представителей бакинских трудящихся первый секретарь ЦК КП Азербайджана товарищ Г. А. Алиев: «...Сбудется давнишний мечта нефтепереработчиков — старые установки, загрязняющие наш город, будут снесены, а на их месте раскинутся зеленые массивы, поднимутся новые жилые кварталы. И район Баку, который десятилетиями назывался «Черным городом», станет одним из красивейших и светлых уголков столицы Советского Азербайджана».

На очереди — исполнение и другой мечты, мечты о чистом море. Над претворением ее в жизнь работают сейчас нефтяники и нефтепереработчики, химики и биологи.

И уйдут в прошлое, останутся лишь в воспоминаниях старожилы радужная нефтяная пленка на воде, ярко-рыжие мазутные «блины», коричневые гребешки каспийских волн...



КАК ХОРОШО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ КЛОУНОМ



Есть «Оскар» кинематографический, есть шахматный, а есть и цирковой, который ежегодно вручается артисту, снискавшему наибольший успех на манеже старейшего в Европе Королевского цирка Брюсселя. В прошедшем феврале этот «Оскар» был вручен в Брюсселе двадцативосьмилетнему клоуну Анатолию Марчевскому.

Помните, пять лет назад неожиданно, в возрасте тридцати семи лет, умер блистательный Леонид Енгибаров? Незадолго до этого в Ереване была издана его книга «Первый рауц». Предваряя свои короткие рассказы совсем короткой автобиографией, Енгибаров сообщал читателям, что бонится благополучия, а любит... Винсента Ван-Гога. Так вот, ощущая нарастающую боль в сердце, он успеет сказать, что в тридцать семь лет умер Винсент Ван-Гог...

В тот же вечер — 25 июля 1972 года — Анатолий Марчевский, который работал в программе Свердловского цирка и впервые самостоятельно заполнял паузы между номерами, позвонил в Москву своему педагогу и режиссеру Юрию Павловичу Белову, чтобы сообщить, какой он имеет успех. Тут надо сказать, что в свое время молодой режиссер Белов сделал себе в цирке имя, придумав клоунскую маску

Енгибарова, а в семидесятом году, когда Енгибаров ушел из цирка, они с Беловым решили создать эксцентрический театр — уже выпустили два спектакля и готовили третий...

Позвонив Белову и узнав о случившемся, Марчевский повесил утром за кулисами цирка свою «газету», в которой сообщил о смерти народного артиста Армянской ССР Леонида Георгиевича Енгибарова, и тут же прикрепил его фотографию. Он повесил «газету» напротив своей гардеробной и предупредил всех артистов, что эту фотографию Енгибаров подарил ему лично и он будет очень огорчен, если кто-нибудь возьмет ее на память... Дело и в том, что на обратной стороне своей фотографии Енгибаров написал Марчевскому несколько слов: уходя из цирка, он желал Толе занять на манеже его место.

И вроде бы так оно и случилось. В любом цирке страны Марчевский, как в свое время и Енгибаров, делает полный сбор. Больше того — Марчевский получил «Оскара» (из наших клоунов только Олег Попов был удостоен прежде этой чести), который бы не мог миновать Енгибарова, если бы ему довелось поработать в Королевском цирке Брюсселя, но он там не работал...

Возвратившись из гастрольной поездки в Брюссель и Париж, Марчевский немного отдохнул и отправился в Курск. Он бы хотел по-настоящему отдохнуть, ибо с тех пор, как начал работать соло-клоуном, еще не был в отпуске, но курский цирк «горел» (куряне почему-то не жалуют вниманием цирк), и его стравили спасти программу.

На рекламных щитах города и даже просто на столбах, около автобусных остановок, был наклеен плакат с изображением клоуна Марчевского: ослепительно улыбаясь, он лихо — по всему Курску — катил на моноцикле. «Курская правда» день за днем стала давать объявления: «Впервые в Курске лауреат международной премии «Оскара» АНАТОЛИЙ МАРЧЕВСКИЙ (клоун), в программе ведущих мастеров советского цирка. Принимаются заявки на коллективные посещения».

Марчевский должен был работать в Курске с одиннадцатого марта, но приехал десятого, чтобы ознакомиться с программой и представить, сколько ему предстоит заполнять пауз и между какими номерами. Но в тот вечер за отсутствием зрителей артисты — а среди них и на самом деле были ведущие мастера нашего цирка — на манеж не вышли. Марчевский раскладывал в гардеробной нехитрый свой реквизит и пытался представить, как после шумного успеха в Брюсселе и Париже он с треском провалится в Курске...

Но на следующий вечер жители города Курска вдруг проявили некоторый интерес к древнему цирковому искусству, а двенадцатого марта, в субботу, в цирке уже был аншлаг!

Я приехал в Курск тринадцатого, в воскресенье, посмотрел и оба дневных представления и вечернее. И с каждым разом программа все больше мне нравилась, как, впрочем, и зрителям, которых заманил в цирк клоун Анатолий Марчевский. Он и меня заманил в тот воскресный день в курский цирк, но отнюдь не своим «Оскаром» (в данном случае «Оскар» расценивался лишь как хороший повод для публикации). Уже при нашем первом знакомстве, в Москве, Марчевский сказал: «Моя кумиром был Енгибаров». И этого было достаточно, чтобы мной овладело желание по-настоящему познакомиться с клоуном Анатолием Марчевским.

Но когда закончилось утреннее представление, я был в растерянности. Да, Марчевский работал безукоризненно, а на моноцикле просто творил чудеса. При каждом его появлении в зале не умолкал смех. Все это так, думал я, но если вести отсчет от Енгибарова...

Марчевский появлялся на манеже в облике этакое современного парня, который, следуя общепринятой моде, стремится выглядеть слегка «хипповато»: на его желтой рубашке вышиты цветочки, его расклешенные фиолетовые брюки завершаются бахромой. И те зрители, которые помоложе, сразу признают его за своего: «Ну Толк — дает!»

У Енгибарова же подобного слияния с залом не происходило. К общепринятому он отпоспел проницательно. На манеж выходил напыльным, бесхитростным мальчиком, который вдруг оказывался... современным шутком! Енгибаров говорил: «Ненавижу дежурный смех, оптимизм по любому поводу».

Я сравнивал взаимоотношения Енгибарова и Марчевского со шпрехом — так цирковые артисты называют шпрехшталмейстера, или, иначе говоря, инспектора манежа. Драматургия любой клоунады предполагает конфликт со шпрехом, который является на манеже начальством, отвечающим за порядок, и потому пытается «пресечь» иные выходы клоуна. Енгибаров великолепно дурачил шпреха, но в то же время показывал публике, что бонятся его.

Марчевский, дурача шпреха, совсем его не боится. Шпрех отбирает у него скакалку, он прыгает через шляпу, рубашку, брюки... Нельзя? Он отдает шляпу, рубашку, брюки и прыгает... через шнурки от туфель. Клоун Енгибаров в подобной сцене был столь же изобретателем, но ты до самого конца волиовался, удасться ли ему восторжествовать над шпрехом. А клоун Марчевский от этих волнений тебя избавляет. Он клоун-герой, он всегда торжествует.

Со слов Юрия Белова я знал, что, создавая образ клоуна Марчевского и придумывая для него репризы, он видел на манеже мальчика, который верит в любовь и ни на минуту не сомневается, что найдет ее. Эта линия просматривалась у Марчевского, но лишь пунктирно.

И едва закончилось утреннее представление, я отправился за кулисы и изложил все эти свои соображения Толе Марчевскому. Он сказал на это:

— Енгибаров был самым насыщенным клоуном, и вторым Енгибаровым стать нельзя. Он никогда не изменял своей индивидуальности, не отступался от своих взглядов... Но в отличие от Енгибарова я неудержимый оптимист. Я счастливый клоун. Моя задача — дать зрителям заряд бодрости. Возникающие конфликты мой клоун, как малое дитя, не принимает всерьез. Все будет прекрасно! И это не глупый оптимизм, а уверенность в своих силах. Я не могу быть похожим на Енгибарова. Да и в этом нет смысла. Другое дело — работать на столь же высоком профессиональном уровне.

И на следующем представлении я безотчетно доверился счастливому клоуну и действительно получил отменный заряд бодрости.

Коронный номер Марчевского «Моноцикл» начинается с того, что клоун тщетно пытается овладеть умением езды на одном колесе. Он находит двух помощников, возникает много идиотских и ужасно смешных ситуаций. И уже ловишь себя на том, что начинаешь сочувствовать этому несчастливцу, который попал наконец в такое положение. А в это время он вдруг случайно обретает в седле равновесие и едет — все быстрее, быстрее... Помощники обращаются в бегство, но круг манежа замкнут, и неуемный ездок вот-вот переедет их... Но в самый кульминационный момент клоун вдруг восторженно осознает, что может делать на моноцикле все что угодно. И тут начинается такой каскад трюков, что зал стонет от восхищения.

Специалисты утверждают, что в мире нет сегодня такого циркового артиста, который бы делал более сложные трюки на моноцикле, чем Марчевский. Да и на «катушках», кстати, он работает на самом высшем уровне — стоит на пяти «катушках»!

А на вечернем представлении я вновь стал вспоминать Енгибарова, который говорил, что в его понимании клоун — это не просто профессия, что ты вправе выйти на манеж только в том случае, если видишь мир глазами клоуна. Вспомнил почему-то, как невинно он власт вешей: «Лучше жить в шалаше, только бы не слышать все эти разговоры, кто где добыл какой гарнитур и крышку для унитаза...»

Поздно вечером мы шли с Толей Марчевским по Курску, и он рассказывал, что, когда поступил в цирковое училище, никто не видел в нем клоуна, а на втором курсе он все же добился, что Белов повернул в него — сам Белов, выпустивший Енгибарова!

— Хотя в цирковом мире и поговаривают, что вы работаете в традициях Енгибарова, но, с моей точки зрения, вы совсем другой клоун, — сказал я.

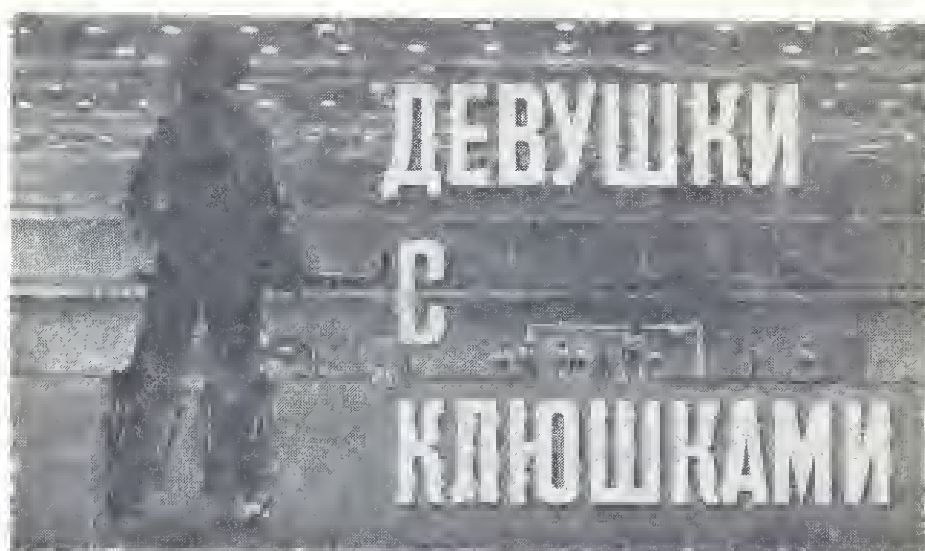
— Да, я — клоун сегодняшнего дня.

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ



Татьяна
ЛЮБЕЦКАЯ

Фото В. АХЛОМОВА.



Когда я впервые занялась хоккеем... Я вполне могла бы начать свой рассказ и так, поскольку для того, чтобы получше разобраться, что это за штука травяной хоккей, рискнула взять в руки клюшку и попробовала немного поиграть. Я не забрала гола и не провела ни одной эффектной комбинации, а лишь попробовала потренироваться. Но и этого оказалось достаточно, чтобы ощутить вкус травяного хоккея.

Как известно, летом прошлого года женский травяной хоккей был впервые включен в программу Олимпийских игр, и если к восьмидесятому году мы подготовим команду, ей будет предоставлено право сразу занять место в финальной шестерке (право хозяев Олимпиады).

И хотя нашим женщинам этот вид спорта знаком мало, однако, по мнению специалистов, уровень женского травяного хоккея сейчас таков, что за два-три года новички вполне могут достичь класса лучших команд мира.

Недавно я листала книгу начала века «Спорт во всех видах» (перевод с французского). Она начинается коротким вступлением от переводчика и редактора русского издания: «Предлагаемая вниманию читателей книга в общедоступной, популярной форме иллюстрирует женский спорт во всех его многообразных видах, как он принят за границей...»

Глава о хоккее, помещенная в разделе «Спорт увеселительный» (в отличие от «Спорта гигиенического»), начинается так: «Хоккей стал почти исключительно женским спортом, и в этом одна из его привлекающих сторон... Спорт этот представляет интересное и красивое зрелище еще и потому, что спортсменки одеваются в хорошие костюмы...» Речь идет о травяном хоккее. Лишь в последнем абзаце главы сообщается, что «в хоккей играют также на льду». Любопытно, что в двадцатые — тридцатые годы наши женщины играли в хоккей на льду. Что же касается женского хоккея на траве, то ходят такие слухи, что в предвоенные годы в Москве был сыгран один матч. Я долго искала его участниц, но пока не нашла.

А знаете, каковы «хорошенькие костюмы» хоккеисток начала века? Свободные белые блузы и длинные темные юбки. Сегодня наши девушки, обратившиеся к травяному хоккею (по заключению медицинской

комиссии МОК — это самая лучшая для женщин спортивная игра), естественно, выходят на поле в коротеньких юбочках.

Тренировку хоккеисток я впервые увидела в Московском областном государственном институте физкультуры в Малаховке, и игра мне сразу понравилась. На следующую тренировку я уже явилась с костюмом и тапочками, а Владимир Александрович Меньшиков — тренер малаховской команды — дополнил мою экипировку клюшкой, кое-какими наставлениями, доступными начинающей, и отправил на поле к новичкам.

Мы послушно «наслысь» по краю поля, разучивая пас, стараясь овладеть «хитрым» ведением мяча с двух сторон, пользуясь при этом лишь одной стороной клюшки — вторая неприкосновенна! — и с завистью поглядывали на азартно играющих хоккеисток. Я всю жизнь занималась фехтованием и привыкла к плenu классических канонов фехтовальной техники, к решетке маски и узости дорожки. А тут такая раскованность, такая пьянящая свобода царил на поле, и в то же время движения играющих были порой столь тонки и изящны, что вскоре я уже готова была предпочесть травяной хоккей всему на свете.

Представляю трех девушек, с которыми я познакомилась на тренировке.

Наташа Морозова раньше занималась легкой атлетикой. О травяном хоккее она говорит: «Эта игра приравнивает нас к мужчинам». А с другой стороны, она считает, что женщины обязательно внесут в хоккей свои, чисто женские качества, например, пластичность, изящество...

Ирина Дильман оставила гимнастику, решив, что для этого вида спорта ей слишком много лет — ей сейчас двадцать, — и занялась хоккеем. Эта «заводная игра» кажется ей очень увлекательной: «От первой до последней минуты ты все время в азарте, в движении...»

А Ирина Кочина, пришедшая в хоккей из фигурного катания, на вопрос, что привлекает ее в новой игре, коротко ответила: «Клюшка».

Потом я присутствовала и на первом Всесоюзном турнире по хоккею на траве среди женщин, который был разыгран в Москве, во Дворце спортивных игр «Спартак», в начале марта.



Приз журнала «Юность» получила
Светлана Рассолова.

В турнире приняли участие четыре команды — сборные Андижана, Ташкента, Горького и Московской области.

С самого начала наиболее впечатляюще выглядела — и впечатление это было общим — команда Андижана, закончившая первые игры со счетом 4:0 и 5:0 и показавшая не только вполне удовлетворительную технику, но и тактическое понимание игры. Были разговоры даже о наигранных вариантах в команде.

Но справедливости ради следует заметить, что хоккей на траве андижанские девушки открыли для себя уже более двух лет назад. А те же хоккеистки Московской области (команда была составлена на базе института физкультуры) тренировались всего лишь два месяца. Но пока хоккеистки из Андижана, побеждая с внушительным перевесом, купались в успехе и журналисты предсказывали им верное первое место, команда Московской области постепенно — с каждой игрой, с каждым забитым голом — обретала уверенность. К решающей встрече с командой Андижана подмосковные девушки готовились очень серьезно, а оптимистичные прогнозы журналистов лишь подогревали их.

Итак, обе команды имели по две победы, и теперь

та, которая выиграет эту последнюю встречу, и должна была стать победительницей турнира.

Я наблюдала эту игру, пытаясь остаться беспристрастной.

Первый гол забил хоккеистки из Андижана, и это, разумеется, никого не удивило, хотя во дворце уже не витала недавняя уверенность в неоспоримом преимуществе этой команды.

А потом счет стал 1:1, и это уже было похоже на бой равных, хотя шеренга фоторепортеров выстроилась все же за воротами команды Московской области, рассчитывая именно там отнять решающий гол.

Но из этого ничего не вышло. Никому не удалось больше взять ворота, и игра закончилась вничью. Победителя пришлось определять по соотношению мячей, которое было в пользу команды Андижана. Вроде бы предсказания сбылись, но не совсем.

Чтобы покончить с турнирной таблицей, скажу, что в борьбе за 3-е место встретились команды Ташкента и Горького. Игра шла довольно азартно, и в конце концов хоккеистки Ташкента забил свой единственный за весь турнир гол... в свои ворота, подарив победу и 3-е призовое место горьковчанкам.

Между тем малаховские девушки были, по-видимому, удовлетворены последней игрой, об этом свидетельствовали их улыбки, тогда как андижанские хоккеистки явно расстроились.

А Светлана Рассолова, получившая приз журнала «Юность», как лучший нападающий турнира, после заключительной игры горько плакала. Вот что такое этот женский хоккей. Попробуйте-ка представить себе плачущего хоккеиста.

Я познакомилась со Светланой уже после первой ее игры, когда она забила три мяча из четырех, сделав тем самым серьезную заявку на титул лучшего нападающего, но разговорить ее мне тогда не удалось. Коротко сообщив о себе кое-какие анкетные данные (ученица 10-го класса андижанской школы № 14, в хоккей пришла из гандбола), она покорно села рядом со мной и слушала, как на мои дальнейшие вопросы отвечает тренер андижанской команды Мирон Дмитриевич Ким. Он рассказал о стиле игры Светланы, о том, что она необыкновенно целеустремленна — если вышла на ударную позицию, так уж ни за что не упустит свой шанс, самоотверженно рискуя, сделает все, чтобы взять ворота, — словом, это настоящий боец.

И вот теперь я сплужу рядом с «бойцом», она обеими руками прижимает к себе подаренную «Юностью» чеканку, и брови ее страдальчески приподняты.

— Ну что ты плачешь? — спросила я наконец.

— Мы плохо сыграли эту игру. Ни одного углового не забил, несколько ударов мимо ворот. Мы как-то неважно настроились, хотя было совершенно ясно, что от малаховских девушек можно ждать гола. Они тоже шли к финишу с очками, и уже в первые минуты было видно, что на предыдущих играх они изучили нас, нашу тактику...

Наконец она немного успокоилась, и я спросила:

— Почему же ты стала хоккеисткой?

— Я стала заниматься хоккеем, потому что наш тренер вместе с двумя своими командами, в одной из которых была я, перешел из гандбола в хоккей. Ну, и кроме того, просто захотелось быть первой. Ведь до нас никто не играл в эту игру...



ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ВАСИ ШИЛОВА

Рисунок
Р. КЛОЧКОВА.

В глазах старшего инженера Шилова отчетливо читалась печаль хозяйки, зря отстоявшей длинную очередь за самоклеющимися обоями.

Хотя Шилов, живя один с сыном-школьником, большую часть свободного времени действительно проводил в очередях, и очень часто зря, причинной печали сейчас являлось нечто другое. Вот уже вторую неделю его сын Василий, ученик четвертого класса, приносил на полях своего дневника трагические записи классной руководительницы Людмилы Ивановны.

Содрогаясь, Шилов читал эти короткие, как телеграммы, сообщения: «Ваш сын держал дверь в учительской и не пускал учителя на урок», «Спрятался под парту и ел пломбир в стаканчике», «Залез на третий этаж по пожарной лестнице», «Выпустил ежей из живого уголка» — с постоянной припиской: «Прошу зайти в школу».

Сегодня Дмитрий Алексеевич наконец решился предпринять что-нибудь в смысле воспитания.

— Нужно поговорить! — стоя спиной к Васе и сосредоточенно помешивая кипящий бульон, сказал Шилов-отец.

Шилов-сын бодро подмел яничницу, отодвинул тарелку и с нагловатой цевинностью глянул на папу.

— Как мужчина с мужчиной? — басом спросил он.

Вася знал, что все эти нудные разговоры по душам сводились к одному — пострадавшая сторона призывала его войти в ее положение, так как ей трудно, поскольку она, видите ли, одна. На

что Василий неизменно отвечал: «Сам виноват!» — и пострадавшая сторона краснела.

На этот раз Вася схватил отца за руку и потащил его к зеркалу.

— Смотри! — властно потребовал он.

Шилов слегка растерялся. Из темной зеркальной рамы на него глядел рыхлый, несмотря на неполные тридцать шесть, человек в дешевом клетчатом пиджаке. Человек, которому явно не мешало постричься.

— Да, не очень... — согласился он.

— Что не очень?! Что не очень?! — возмутился сын. — Да ты классный мужик! Рост один чего стоит! А лицо? Лицо Штирлица!

Шилов внимательно посмотрел на Васю, стараясь прочесть на лице усмешку. Но мальчик был серьезен.

— А теперь подумай, кто она! — сказал Вася. — Если разобьется, что она из себя представляет...

— Кто — она? — не понял Дмитрий Алексеевич.

— Кто, кто! Людмила Ивановна! Думаешь, почему она ко мне придирается?

— Спрятался под парту... Выпустил ежей...

— Ха-ха! — оборвал его Василий. — Ничего ты не понимаешь, она в тебя влюблена! По ушки! Все в классе об этом говорят. Вот она и пишет «Зайдите в школу...» Тут ребенок поймет...

От неожиданности Дмитрий Алексеевич даже вспотел. Было

очевидно, что Вася врал. Классная руководительница Людмила Ивановна, кстати, довольно привлекательная молодая женщина, действительно как-то странно смотрела на Шилова-старшего, когда он приходил в школу, но это все из-за Васки...

— Ну, хватит! — вдруг рассердился Дмитрий Алексеевич, что бызало с ним крайне редко. — Нашел пидота! Ты учишься как следует, и все будет в порядке.

— Вот я и говорю, — подхватил Вася. — Ничего у нее не выйдет. Кто она и кто ты?!

Когда Вася ушел спать, Шилов приоткрыл окно и включил телевизор. Он уткнулся в ящик и попытался отвлечься. Но в голубоватых лучах экрана лицо Дмитрия Алексеевича пылало и казалось сиреневым.

«Глупость какая! — думал Шилов-старший. — Интересная девица, умная... Зачем я ей? Да еще с Васей спавем. А насчет роста Вася правильно заметил: рост у меня метр восемьдесят пять...»

Через пару дней Шилов в новом темно-синем пиджаке с металлическими пуговицами направился в школу, в которой проходил обучение его сын Василий. На перекрестке купил он букет красных гвоздик; проходя мимо витрины, Дмитрий Алексеевич взглянул на свое отражение, и сердце его затрепетало.

«Будь мужчиной!» — приказал себе Дмитрий Алексеевич и вошел в школьные ворота.

Ему повезло — Василина учительница сидела в учительской одна. Шилов решил сразу же приступить к делу:

— Людмила Ивановна... зря вы это... совершенно напрасно... Ну чем я... можно сказать... ну как бы это... за что?.. Короче, вот!

Он криво улыбнулся и протянул учительнице цветы.

— Ах, гвоздики! Мои любимые цветы! — вспыхнула и засуетилась Людмила Ивановна, ища керамическую вазу. Но ваза была занята карандашами.

— Да не волнуйтесь вы так, — бормотала Людмила Ивановна, наливая воду прямо в карандаши и ставя туда цветы. — Ну что поделаешь... Ну успокойтесь... Тяжело, конечно... Я прекрасно вас понимаю...

— А я вас, — осмелел Шилов.

Дмитрий Алексеевич многозначительно взглянул на учительницу и подумал, что она очень милая и на вид ей не больше двадцати пяти. У нее было фарфоровое, немпожко японское лицо, гля-

да на которое он почувствовал, что успокаивается.

— Да нет,— грустно сказала Людмила Ивановна.— Вам меня понять труднее. Вы думаете, что я черствая, вредная... а мне просто трудно одной...

— Теперь вы не одна.

— У меня таких знаете сколько!

— Сколько? — упавшим голосом спросил Шолов.

— Сорок человек!

Пуговицы на блейзере Дмитрия Алексеевича, казалось, мгновенно перестали блестеть.

— И хороших из них человек пять. Остальные — ужас! А я, знаете ли, их еще больше люблю.

— Женщины всегда любят не тех... — сказал Шолов и вспомнил жену. — Нет бы жить с хорошим человеком...

— Вы это о чем? — удивилась учительница.

— А вы?

— Я о детях, — сказала Людмила Ивановна.

— А, вот оно что... У вас уже есть дети?

— Конечно, есть.

— И много? — разочарованно спросил Шолов и подумал: «Если у нее такой сынок, как мой Вася, будет у нас не семья, а сумасшедший дом».

— Я же вам сказала — сорок!

«Господи, — подумала про себя учительница. — Какой бестолковый! Сыну, наверное, в него».

А Шолов вдруг все понял.

— Зачем вызывали? — спросил он сухо.

Но Людмила Ивановна тоже все поняла.

— Вы меня простите, — сказала она. — Мне ваш сын говорил: «Не вызывайте папу, ваш вид причинит ему страдания». Мол, что вы... влюблены в меня, что ли... Я думала, он, как всегда, врет...

Они молча спустились на школьный двор, пересекли улицу и вошли в небольшой скверик. Шолов первым плюхнулся на скамейку. Она вытащила из сумочки пачку «Пегаса» и протянула Шолову. Он взял. Закурил, глядя на этикетку, на которой была нарисована

лошадь с крыльями. Крылышки были бодро подняты, словно советовали не унывать. Дмитрий Алексеевич ждал, что Людмила Ивановна начнет говорить про Васю, а она вдруг спросила:

— А вы умеете пускать кольца из дыма?

У Шолова сразу отлегло на сердце, он затаился и старательно стал пускать кольца. У него ничего не выходило, и Людмила Ивановна весело смеялась.

Домой Шолов вернулся в одионадцать. Вася уже спал, хотя обычно ложился позже. «Притворяется...» — подумал Дмитрий Алексеевич. — Сейчас он у меня за все получит!

Он попытался привести себя в боевое состояние — плотно сжал губы, нахмурил брови... Хотел было включить свет, но рука не послушалась. На душе было ровно и весело.

«Тряпка!» — подумал про себя Шолов и пошел на кухню тренироваться в пускании колец из дыма.

Егора приняли. Он уже слышал о Яблочконой, шел как-то по Трифоновке за Раневской, видел, как Жаров выпил однажды стакан компота.

Он был носат, сутуловат, чуть кривоног, слегка хромал и запкался. В театральное он прошел с триумфом.

Льняные кудри падали на его широкие плечи. Девочки его любили.

Но больше всех поражал Варсонофий.

В убогой комнатке общезнания он появлялся внезапно.

— Морды! — кричал он, запуская дырявым сапогом в венецианское зеркало. — Заразы! Что вы знаете о святом искусстве, рожки! Что вы лыбите, как троглодиты? Пресвятая Маруся, я был невинным! Где у вас туалет? Я играл короля Аира! Я так играл короля Аира, что Михозис хотел бросить сцену. В меня. Не подходите, я вас уроню! Квазимоды! Я хочу в сумасшедший дом, но меня не берут! Балда, ты не читал Баркова... Я талантливый! Поклянитесь, что я вам уже дорог! Сдавайте карты, кретины! Мы встретимся на кладбище. Меня погубила старая стерва Занзибарская. Ее подучил гемморрой-любовник не то из Вологды, не то из Керчи. Вы смотрели «Кубанские казаки»? Там должен был играть я. Морды! Вы меня не забудете? Со святыми упоко-о-ой!

Александр ИВАНОВ

Литературная пародия

ЧИСТЫЕ ГЛАЗА ИСКУССТВА

(Виктор Лихоносов)



Рисунок
Н. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Рожки! Не перебивайте меня, я припадочный!!

Егор икал от удивления. Столица!

— Ты чу-удный! — говорила Аида, целуя его.

Его дела шли блестяще. Поцеловав Аизу, он шел к Наташе. Целуя, она прочила ему славу Николая Сямонова, имея в виду Константина, потому что Евгений уже тогда был у вахтанговцев.

Целуя ее, он мужал.

Потом бросил все и уехал в Сибирь. Оттуда через Мангышлак махнул на Дон. Написал Варсонофию.

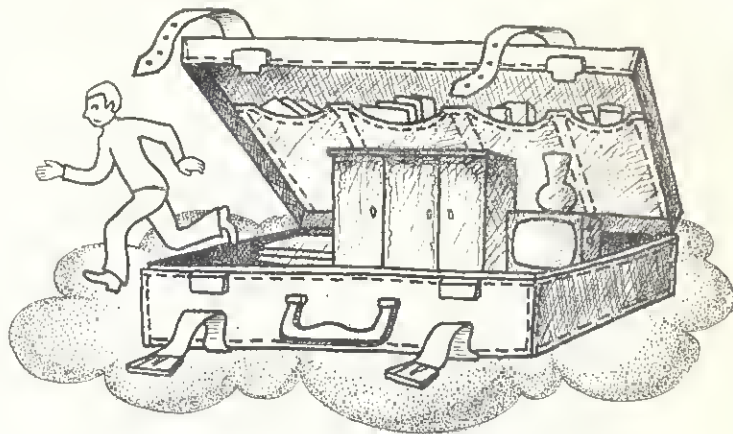
«Морда, — писал он, — ты меня не забудешь? Искусство — это не для меня. Я жить хочу. Наташа любила меня, а я обозвал ее трубадурой. На том свете меня поставят вниз головой. Я хочу быть кочегаром, плотником и монтажником-высотником. Пиши мне, кретин, а я тебе. Потом мы издадим нашу переписку и станем прозаиками. Резервуар, как говорят французы. Целую в диафрагму. Твой Егор».

Прочитав письмо, Варсонофий заплакал.

— Господи, — вздохнул он. — Писали же о нас когда-то... «Театральный роман» вот помню... А теперь?..

РЫЖИЙ ЧЕМОДАН

Рисунок М. ТИШИНОЙ.



Константин снял со шкафа огромный рыжий чемодан, подаренный каким-то неизвестным гостем на его свадьбу много лет назад, и положила чемодан раскрытым на пол посреди комнаты. За что он его любил, так это за вместительность. Сколько раз уезжал он с этим рыжим чемоданом в командировки, в отпуска — и всегда все в нем умещалось.

Сейчас в чемодан полетели рубашки, галстуки, носки, потом костюмы. Ну и барахла нажился он с Веркой за последние годы!

Впервые Константин уезжал из дома навсегда. Уже смеркалось, и надо было успеть до прихода жены и сынишки, которого жена должна взять из садика. Главное, не попасться им на глаза — объясниться запиской. Константин свободно захлопнул объемистый чемодан, присел на прощание на край кушетки, отогнал от себя воспоминания и подумал, не забыл ли чего. Ведь больше он сюда никогда не вернется. Константин оглядел комнату. Детская кроватка... картины... книжки... Книжки! Как мучилась он из-за них, сколько мыкался по черным рынкам! Верка ради библиотеки палец о палец не ударила, а Лелька — та будет довольна. Влезут ли? Ах, что за чемодан! Невольно помянув добрым словом неизвестного гостя, который подарил им этот чемодан, Константин так же свободно захлопнул крышку, как и в первый раз. «А может, и ваза войдет? Ведь мне все-таки ее подарил, не ей...»

Константин приподнял любимый чемодан и удивился тому, что, несмотря на книги и металлическую вазу, тот оставался еще легким. Он снова окинул прощальным взглядом комнату, но ощущение, что он все-

таки что-то здесь забыл, никак не покидало его. Ах, черт! И как это он сразу не сообразил? Телевизор! С его же халтуры куплен. Вот только упаковать как? «А что, если...» — закралась вдруг в голову шальная мысль, — ведь всегда все умещалось. Да нет! — Константин отогнал от себя дурное наваждение. — Это же невозможно. Уж лучше пускай здесь, как память о папе останется». «Нет, ты все-таки попробуй, — напентывал изнутри кто-то, — а Лелька ох как довольна будет!» «Ну, ладно!» — согласился Константин.

На улице было уже совсем темно. Боясь включить свет, чтобы со двора не заметили его действий, на ощупь он подтащил телевизор к чемодану, откинул крышку, поставил телевизор поверх книжек и, к полнейшему своему изумлению, увидел, что крышка свободно закрылась и замки легко защелкнулись.

«Ай да я! Ай да чемодан!» — кричал уж было от восторга Константин, запросто поднял чемодан, как вдруг ему стало страшно. Он понял, что тот снова не потяжелел. «Неужели и шкаф влезет?» — с ужасом подумал Константин.

Крышка открылась сама, и чемодан поглотил четырехстворчатый платяной шкаф — их семейную гордость. На улице за окном включился фонарь, при скудном свете которого Константин увидел, как по голодному глянул на него чемодан своими блестящими застежками и замками.

— На помощь! — завопил Константин и принялся запускать в чемодан чем попало: статуэтками, пуховичками, стульями. При каждом броске чемодан довольно раскрывался, глотал пущенную в не-

го вещь и закрывался, сладко причмокнув.

Скоро в комнате стало пусто. Открытая, надвигающаяся на Константина чавкающая крышка чемодана была похожа на увеличенную во сто крат беззубую пасть. Константин заглянул внутрь чемодана и, к своему ужасу, увидел, что там абсолютно пусто. И тут челюсти чемодана отвратительно лязгнули и поглотили Константина. Наступила полная темнота.

Когда Константин очнулся, он обнаружил себя лежащим поперек кушетки, на полу стоял раскрытый пустой чемодан, вокруг него были разбросаны вещи, которые только что съел рыжий чемодан. Мебель в комнате стояла на своих привычных местах, да и сама комната была ему знакома. Это была его комната.

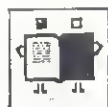
Вошла его жена Вера, ведя за руку его сына Витку, которого она взяла на субботу и воскресенье из садика.

Она оглядела чемодан, разбросанные вещи и спросила:

— Ты что, опять в командировку собрался?

— Отменяется, — сказал Константин, захлопнул чемодан и поставил его на шкаф.

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Иосиф ГЕРАСИМОВ. Миг единый. Рассказ	3
Феликс ВЕТРОВ. Стена. Рассказ	14
ЭЛЬЧИН. Серебристый фургон. Повесть	24
Галина КОРНИЛОВА. Созвездие Рака. Рассказ	68



ПОЭЗИЯ

Аллаберды ХАИДОВ	2
Юрий АДРИАНОВ	13
Александр ЛЕОНТЬЕВ	21
Олег ШЕСТИНСКИЙ	22
Егор МИТАСОВ	23
Евгений ЕВТУШЕНКО. Северная надбавка. Поэма	55
Александр РОМАНОВ	82



КРИТИКА

Вл. ВОРОНОВ. Сверкающий Рубеис	64
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. При соучастии Джека Лондона...	92
Круг чтения	98



ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор ЕРМИЛОВ. Будьте преданы делу	72
Игорь РОМАНОВСКИЙ. Так делается «Наша биография»	76
Поездка в Норильск. (Рассказывают иностранные журналисты)	84



ПОЧТА «ЮНОСТИ»

«Я никогда не испытываю локоя!» (беседа журналистки Людмилы Букиной с артисткой Мариной Неёловой)	80
---	----



ПИСЬМО МЕСЯЦА

Ира НОВИКОВА, Сергей БЕЛЕВИЦКИЙ. Твое свободное время	83
---	----



НАУКА И ТЕХНИКА

Алексей ИОРДАНСКИЙ, Александр ЧАПКОВСКИЙ. Ты и твой Каслий	100
--	-----



ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. Как хорошо быть счастливым клоуном	105
Юрий ЦИШЕВСКИЙ. Жажда творчества	97



СПОРТ

Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ. Девушки с клюшками	107
--	-----



ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Наталья ПОНОМАРЕВА. Челиочная дипломатия Васи Шнлова	109
Александр ИВАНОВ. Литературная пародия	110
Михаил ЗАДОРНОВ. Рыжий чемодан	111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА,
А. С. ПЬЯНОВ,
В. А. ТИТОВ.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский,

Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4-й стр. обложки
рисунок Е. МАЦНЕВСКОГО.

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6,
улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 24/III—1977 г.
А 06686.
Подп. к печ. 10.V—1977 г.
Формат 84×108¹/₁₆.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 1256. Заказ № 368.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Л. РОЙТЕР. В парке.

М. РОЙТЕР. У реки Белой. Из серии «По Уралу»



43-22

Цена 50 коп.

Индекс
71120

